

Новый Журнал

68

THE NEW
REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1960.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 23th day of September, 1961, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Commission Expires March 30, 1963.

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал



Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать первый год издания

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

*NEW REVIEW, June 1962
Quarterly, No. 68*

*2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

О ГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

<i>Из архива Буннина</i>	5
<i>Иван Елагин — В Greenwich Village</i>	11
<i>Т. С. Элиот — Поэмы</i>	13
<i>Д. Кленовский — Стихотворения</i>	26
<i>Сурен Санинян — Продажа</i>	30
<i>А. Величковский — Стихотворения</i>	44
<i>Гайто Газданов — Из блокнота</i>	47
<i>Лидия Алексеева — Стихотворения</i>	65
<i>Ирина Одоевцева — На берегах Невы</i>	66
<i>Гизелла Лахман — Из Эмили Дикinson</i>	91
<i>Михаил Чехонин — Ворон</i>	92
<i>Алексис Раннит — Стихотворения</i>	111
<i>Наталья Ильинская — Диана Вашингтонская</i>	115
<i>Р. Плетнев — Негош, Пушкин и Мицкевич</i>	128
<i>К. Давыдов — М. М. Пришвин</i>	146
<i>Юрий Арбатский — О Бородине</i>	155

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>И. Г. Церетели — Воспоминания о Февральской революции</i>	164
<i>К. Вендзягольский — Савинков</i>	190
<i>Мария Бочарникова — Бой в Зимнем Дворце</i>	215
<i>К. Иренин — В Хибинах</i>	228

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Г. Вернадский — Человек и животный мир в истории России</i>	242
<i>Н. С. Тимашев — Три мнения о России</i>	262
<i>В. Варшавский — Заметки о прочитанном</i>	270
<i>Ю. Денике — Купеческая семья Тихомирновых</i>	280
<i>Д. Н. Иванцов — О сельскохозяйственных затруднениях в СССР</i>	288

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>К. Аренский — С. Л. Бертенсон</i>	298
<i>Э. Рейнольдс Халпуд — С. А. Васильев</i>	299

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>Вяч. Завалишин — The Penguin Book of Russian Verse. В. 3-я.</i>	
<i>Turgenev in English</i>	302
<i>Письмо в редакцию</i>	304

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.



ИЗ АРХИВА И. А. БУНИНА

РИВЬЕРА*

“Hôtel des Palmiers et de la Plage. Rendez-vous du high-life français et étranger, situation unique, vue incomparable, séjour ideal d'hiver et d'été, 300 chambres, dernier confort moderne, cuisine réputée, grand parc, tennis, deux garages, ouvert toute l'année...”

Огромное, пятиэтажное здание, похожее на все отели в мире, безобразно высится над сплошными садами, спускающимися по холмам к берегу моря, синяя равнина которого кажется лежащей за древесными вершинами на их уровне. В нижнем этаже здания все залы не в меру обширны, с колоннами под мрамор. Из пространного вестибюля можно пройти по террасе со столиками и плетеными креслами под оранжевыми зонтами в парк. Он занимает южную часть поместья, бывшего когда-то монастырским, и похож на старый пальмовый лес. Стара в нем и великолепная кипарисовая аллея, покато идущая от террасы к морю, к пляжу. Днем из окон и с балконов верхних этажей видны влево дымчато-сиреневые прибрежья Италии, ночью — розовые огни Бордигеры.

Август, отель полон.

Он кто-то при каком-то министерстве иностранных дел. Она ждет из Парижа мужа. Оба от чего-то отдыхают. Познакомились после обеда в холле, теперь вместе купаются перед зав-

* Рассказ «Ривьера» Иван Алексеевич хотел включить в книгу «Темные аллеи», но потом раздумал. Оставил его в пакете с ненапечатанными рассказами. Л. Зуров.

траком, ездят на автокарах в Монте-Карло, в Тюрби, Сен-Поль, Ванс, на Антибский мыс, на Лоренские острова... В отеле завтракают и обедают порознь, каждый за своим столиком, но после обеда пьют кофе и слушают музыку опять вместе. Потом выходят в парк и к морю — «подышать перед сном воздухом».

Ему лет сорок пять, ей около сорока. Оба высоки и стройны. Он сух, с подстриженными усами, в пенснэ без оправы, которое он, беря перед обедом меню, кончиками пальцев сжимает, чтобы снять. Удивительно приличен и недоступен. Удивительно тонконог в голенях и щиколотках, — это даже поражает, когда он, в смокинге, в бальных туфлях лодочкой с бантиком и в черных шелковых чулках, сидит после обеда в вестибюле, положа ногу на ногу, куря сигару и прихлебывая кофе... Она выходит к обеду, блестая чудесно сделанным цветом лица, голых рук и плечей, подведенными глазами, жемчужным ожерельем, перстнями на пальцах с острыми ногтями, гофрированными платиновыми волосами, в длинном серебристом платье — в нем ее высокое тело изгибается так, точно оно без костей. Вся она, так же, как и ее серебристая сумочка, женственно пахнет пудрой.

Вот уже густо синеет жаркий юный вечер. Уже готова к обеду матово освещенная столовая. И долго идет этот не в меру изысканный обед дурного тона под струнную музыку, в тесноте того нарядного люда, что так зоологически идет на пляж утром в разноцветных халатах, из-под которых мелькают грубые, волосатые ноги мужчин и нежные, круглые женщин.

С час посидев за кофе, после обеда, в холле, они не спеша выходят на террасу, на теплую лунную ночь. Он докуривает сигару, она, захватив левой рукой длинный подол, еще раз взглядывает, приподняв брови, в синеющее от лунного света зеркальце в сумочке, потом, щелкнув ею, говорит, вздыхая:

— Mon Dieu, quelle beauté.

Кипарисовая аллея под террасой высока, черна, неподвижна, в ее коридоре бархатно-темно, только кое-где блещут зелеными змеиными глазами пятна лунного света. Лунное море золотой выпуклостью лежит вдали, за чернотой кипарисовых вершин. Полная теплая луна спокойно стоит над пальмами влево, — в той стороне, где всегда по ночам роятся розовые огни Бордигеры. Он берет по локоть ее обнаженную руку, чувствуя холодок и персиковую нежность ее тела, осторожно сводит ее с террасы в аллею. В дальнем конце ее сумрачного и теплого коридора, упирающегося в море, таинственно, зеркально сияет полоса золотой воды. Всюду тишина, нигде ни души — все в холлах отелей, в барах, в казино... Они молча, под руку доходят до конца аллеи — теперь эта блещущая, чуть переливающаяся золотом вода в десяти шагах от них лежит плоско и низко. По сторонам сказочная пестрота света и тени под черными врозвь раскинутыми султанами пальм. У скамьи в конце аллеи они останавливаются. Он кончиками двух сухих пальцев аккуратно сжимает щипчики пенснэ, кладет его в наружный карманчик смокинга и, щурясь, смотрит невидящими глазами. Она с томным вздохом поднимает руки, кладет ему на плечи и, наслаждаясь изяществом своего любовного счастья, проводит по его губам бархатистой нежностью щеки, потом притворно-страстно впивается в них и дает ему влажный кончик языка.

Ив. Бунин

Т У Ч И

От засухи всё выгорело. Уже около двух месяцев не было дождя, а когда дождя так долго нет, каждое существо, каждое растение всем нутром своим ждет его и даже далекий от природы человек бессознательно томится и скучает.

Мой сосед Федор Петрович почти совсем глух, отвечая ему нужно кричать в самое ухо, поэтому он больше любит говорить сам, чем слушать других. Сегодня он с самого утра «завел шар-

манку» — говорит и говорит; то тише, то громче всё об одном и том же: ментиках, парадах, атаках; о том, кто черный гусар, кто голубой; рассказывает похабные еще при Ное известные анекдоты; вспоминает свою работу на такси в Париже, о которой болтает с такой же нежностью, как и о своей полковой уже давно не существующей, крепко, навеки, любимой жизни.

Иногда после обеда, под болтовню его приятно подремать, она разнеживает и усыпляет, но сегодня мне нужно было написать деловое, очень важное для меня письмо и разговор его мешал мне взяться за работу.

— Может быть, он устанет и скоро замолчит, может быть, слушатели заснут, думал я, делая нетерпеливые жесты, но глухой, казалось, не замечал моего нетерпения, наоборот, его прорвало и несло всё дальше и дальше, голос делался громче и громче, назойливее и назойливее.

— Эй, — подумал я, — тебя не дождешься и взялся за письмо. Вскоре, однако, перечеркнул первую фразу, начал иначе, снова перечеркнул, наконец, смял весь лист и бросил в корзинку. Но и этот мой, довольно резкий поступок, не произвел на глухого никакого впечатления: он продолжал болтать.

«И как ты можешь?», думал я, со злорадством узнавая давно уже знакомую мне историю, — «как ты можешь, как не надоест тебе, повторять слово в слово, с одними и теми же интонациями, как по писаному, сколько угодно раз, одно и то же, одно и то же, одно и то же». И мне стало казаться, что от его надоедливого голоса липнет рубаха к телу, жалят злые осенние мухи, мысли не идут в голову, воздух делается душным, солнце жжет и без того выгоревший луг; словом, всё соединилось в нем одном, во что-то враждебное, мешающее заниматься мне моим делом, и я стал его всё сильнее и сильнее ненавидеть.

С кем только не сравнивал я его, слушая эту длиннейшую историю про полковое учение? То мне казалось, что он наполненный до краев сосуд, куда не войдет больше ни одна новая капля. То виделось мне огражденное каменной стеной крошеч-

ное место, где никогда не дунет свежий ветер, то видел я кусок говядины, над которым никогда не веял дух Божий.

Успокоив себя мысленно я опять взялся за перо, и, снова повторилась та же история: не писалось, смятый лист полетел в корзинку.

Тут я окончательно извелся и возненавидел, ничего не подозревавшего Федора Петровича, лютою ненавистью.

Между тем солнце распустило в нашу сторону веер длинных косых, тающих на половине дороги, малиновых лучей и стало закрываться ослепительно белым краем, идущей с юго-запада, тяжелой, свинцовой тучи.

Над бледно-желтым лугом, стрельнули в разных направлениях ласточки.

Воздух замер в ожидании, все стебельки сухого бурьяна, как будто бы по команде, выравнялись и застыли; только глухой говорил. Теперь я верил в то, что он никогда уже не окончит свой рассказ.

Вдруг сильный порыв ветра закачал деревья, отсохшие листья сорвались с веток, другие опавшие поднялись с земли и закружились в общем смятении.

Сад зашумел, полным надежды, оживленным шумом.

Заметив качанье веток и столб вьющихся листвьев глухой, наконец, замолчал.

На лице его изобразилось оживление, он поднял на меня, устремленные в картины прошлого глаза и я видел, как они, перебежав оттуда сюда, радостно заблестели.

— Не правда ли, гром гремит? — спросил он каким-то удивленным помолодевшим голосом.

Чтобы отомстить ему я крикнул в самое его ухо:

— Это вам показалось!

Глаза его внимателю забегали и снова ушли отсюда туда, где лежал конец его длинного рассказа. Лицо омрачилось.

«Бедный!» — подумал я и сразу же простил ему всё то, что вызвало во мне мою глупую к нему ненависть.

Посылая в редакцию «Н. Ж.» рассказ «Тучи», я должен отметить, что рассказ этот я нашел среди неопубликованных произведений Ивана Алексеевича Бунина. Написан он от руки, по новой орфографии, подписи под ним нет. Л. Зуров.

В GREENWICH VILLAGE

Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму,
И тени, по волчьему, сзади,
На плечи кидались ему.

Себя самого растревожа,
Он несся в какой-то провал
И нежно во влажное ложе
Протяжные звуки вливал.

Здесь всякий приятель со всяким,
И всякий здесь всякому рад.
Артисты, пропойцы, гуляки.
Толкаются, пытят, говорят.

Над столиком тонкий светильник
Мелькает в зеленом стекле,
Привет тебе, мой сомогильник,
Еще ты со мной на земле.

Привет тебе, мой современник,
Еще ты такой же, как я,
Дневной неурядицы пленник
Над рюмкой ночного питья.

Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла,
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

Картины кострами сложите
И небо забейте доской!
Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской.

Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит.
Тут девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит.

Я пальцами в такт барабаню,
Я в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то яму лечу.

Иван Елагин

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ ДЖ. АЛЬФРЕДА ПРУФРОКА*

(1915)

*Еслиб я думал, что отвечаю человеку,
Который когда-нибудь сможет вернуться
на землю,*

Это пламя не дрожало бы.

*Но так как никто, как я слышал,
Никогда не вернулся из этих глубин,
Я отвечаю тебе, не боясь бесчестия.*

Ад. Песнь 27, ст. 61-66.

Что-ж, пошли, вы да я,
В час, когда на небе вечер разлегся,
Как на столе пациент под эфиром.
Что-ж, пошли по пустынным кварталам,
Убежищам беспокойно бормочущих ночей,
В дешевые номера, что сдаются «на ночь»,
В усыпанные устричными раковинами пивные.
Улицы тянутся, как надоевшие доводы,

* Печатается с любезного разрешения Т. С. Элиота и издательства Фабер и Фабер в Лондоне. РЕД.

Томас Стернс Элиот родился в США в 1888 г. Первая его книга стихов вышла в 1917 г., в Англии, где вместе с Эзра Паундом и другими молодыми английскими и американскими поэтами он создал направление, названное «имажизмом». С 1914 г. Элиот постоянно живет в Англии, только изредка наезжая в Америку. Его поэма «Бесплодная земля» (1922) считается одним из наиболее значительных литературных произведений нашего столетия. В 1948 г. Элиоту была присуждена Нобелевская премия. Кроме стихов, он известен и театральными пьесами (написанными стихами), а также как литературный критик. Влияние его статей на современную англо-американскую критическую мысль велико. Произведения Элиота переведены на 24 языка.

Н. Б.

Коварно кра́дутся от дома к дому,
 Ведут к проклятому вопросу...
 Ох, не спрашивайте: какому?
 Пошли, навестили, кого следует.

По комнатам женщины — туда и назад —
 О Микельанджело говорят.

Желтый туман чешет спину о стекла,
 Желтый дым трет о стекла нос,
 Черной ночи углы зализаны,
 Он медлит в канаве, он в лужу врос,
 Сажа труб его обволокла,
 Он залез под балкон и оттуда прядает,
 Но заметив, что октябрьская ночь тепла,
 Вокруг дома свернулся, и засыпает.

И в самом деле: есть еще время
 Туману желтому красться вдоль домов,
 Почесывая спину о выступы углов.
 Есть еще время, есть еще время,
 Для встречи новых лиц создать себе лицо,
 Есть время и убить, и вновь создать,
 Есть время для трудов и дней тех рук,
 Что пред тобой вопрос на стол роняют.
 Час — для вас, и час — для нас,
 И час для тысячи шатаний,
 Для тысячи смотрóв и пересмóтров, —
 Пока не взял я в руки чашку и печенье.

По комнатам женщины — туда и назад —
 О Микельанджело говорят.

И в самом деле: есть еще время
 Спросить себя: Посмею я? Посмею?

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Успею повернуться к ним спиной
И — вниз по лестнице, сияя плестью.
(«Однако, как он облысел!»)
На мне пиджак, воротничок тугой
И галстук — скромный, но с булавкой.
(«Однако, до чего-ж он похудел!»)
Посмею ль я
Обеспокоить космос?
Одной минуты мне довольно
Для всех смотрóв и пересмóтров. Но миг всё вновь
перерешит.

Затем, что я их всех познал, да, всех.
Познал утра, и вечера, и ночи,
Я вымерил кофейной ложкой жизнь,
Познал их голосá, и смех,
Под музыку, игравшую за стенкой.
Но как мне приступить?

И я познал глаза, познал их все,
Взгляд пристальный, одновременно с фразой,
Когда я сформулирован, дрожу
Булавкою проколот и приколот на обоях.
Но как начать?
Как выплюнуть окурки прошлых дней?
И как мне приступить?

И я познал объятья рук их всех,
Тех голых рук, предплечья и запястья,
(Под лампой в смуглом, ласковом пушке).
Что это, кажется духи
Меня заставят отступиться?
Тех рук, что вдоль стола лежат, иль кутаются в шаль...
Что-ж, значит приступить?
Но как начать?

Сказать: я в сумерках по улицам бродил
 И всё смотрел, как дым летел из трубок
 Курильщиков, с тоской глядящих в окна...

Родиться б мне шуршащими клешнями,
 Скребущими по дну морей безмолвных.

А день, текущий в вечер, мирно дремлет,
 Разглаженный изящными руками.
 Заснул... устал... А, может, притворился?
 Разлегся здесь он между мной и вами.
 Так как же? После чая и пирожных
 Собраться с духом? Вызвать кризис?
 Но несмотря на то, что я молился, каялся, постился,
 И видел голову свою (и плешь!) на блюде, —
 Я не пророк. Да это и неважно.
 Я видел миг ущерба своего величья:
 С усмешкой Страж Дверей мне дал пальто.
 Так — коротко сказать — я испугался.

В конце концов, игра навряд ли стоит свеч!
 И после всех варений и печений,
 Средь серебра, фарфора, разговора
 О вас и обо мне, — игра не стоит свеч.
 Не стоит, отстранив все темы,
 Сжать космос в мяч
 И покатить его к проклятой теореме,
 Сказав: «Я — Лазарь воскрешённый,
 Пришел поведать обо всем, что видел там», —
 Когда она, разлегшись на подушках,
 Проговорит: «Совсем не то. Как жаль!
 Совсем не то, чего я так хотела.»

В конце концов, игра навряд ли стоит свеч!
 Не стоит свеч игра после закатов,

И тех дворов, и мокрых улиц, после
 Всех книг прочитанных, и чашек чая,
 Скользящих по паркету шлейфов и так далее.
 Немыслимо сказать, что я хочу сказать!
 А весь чертеж — рисунок нервной сети
 Моей — отбросил на экран фонарь волшебный.
 Игра не стоит свеч, когда она
 Разлегшись на подушках, сбросив шаль,
 Смотря в окно вдруг скажет: «Нет, не то. Как жаль!
 Совсем не то, чего я так хотела.»

Нет, я не Датский принц, и не хотел им быть.
 Я на вторых ролях, один из тех,
 Кто двинет действие, начнет явленье,
 Дасть Гамлету совет. Не трудно это,
 А он и рад, что пригодился в дело.
 Он аккуратен, вежлив и приличен,
 Он полон важных слов, немного туп,
 Порой — сказать? — слегка комичен,
 Порой — почти что Шут.

Старею я... Старею...
 Не заказать ли брюки покороче?

Не сделать ли пробор? А можно съесть мне персик?
 Надену белые фланелевые брюки и пойду гулять на берег.
 Я слышал, как русалки пели песнь друг дружке,
 Но, думаю, едва ль они пропели б мне.

Я видел, как они, верхом на волнах,
 Неслись, расчесывая пряди волн седых,
 Летящие по ветру пеной из черной тьмы.

Бродили долго мы по дну морей,
 У дев морских в венках из красных водорослей,
 Пока людские голоса не разбудили нас. И тонем мы.

ПОЛЫЕ ЛЮДИ

(1925)

*— Барин Кури, он помер.**Д. Конрад**— Подайте старому пугалу!*

1

Мы полые люди,
 Набитые чучела,
 Сошлись в одном месте, —
 Солома в башках!
 Шелестят голоса сухие,
 Когда мы шепчемся вместе,
 Без смысла шуршим,
 Словно в траве суховей.
 Словно в старом подвале крысы большие
 Побитым стеклам снуют.

Образ без черт. Тень без движенья.
 Бесцветность. Бессилие. Паралич.

Вы, что с глазами открытыми
 Перешагнули, не дрогнув,
 В иное Царство смерти,
 Помяните нас (если вспомните):
 Мы не сильные духом погибшие,
 Мы полые люди,
 Соломой набитые чучела.

2

Те глаза, что не смеют сниться,
В сонном царстве смерти
Мне не являются:
Там глаза отражены снопом лучей
На сломанной колонне,
Там шумят деревья,
Там голоса
Летят по ветру песней
Торжественно и далеко,
Как падающая звезда.

Не позволяйте мне приближаться
К сонному царству смерти.
Дайте мне носить
Подобающую здесь одежду:
Рыбий мех, вороньи перья, палка
с перекладиной, —
В чистом поле пугалом стоять:
Куда ветер — туда и я!
Не пускайте меня, —

Не пускайте на последнее свидание
В сумеречное царство.

3

Эта страна мертва.
Это — колючек и кактусов страна.
Здесь каменные стоят изваянья,
Здесь к ним подняты мертвые руки,
Умоляющие о прощении
Под мерцаньем летящей звезды.

А бывает в ином царстве смерти,
 Что проснешься один,
 В час, когда
 Весь трепещешь от нежности,
 И готовы уста целовать другие уста,
 А только бормочут молитвы разбитому камню?

4

Глаза не здесь.
 Здесь нету глаз,
 В этой долине мертвых звезд,
 В этой пустой долине
 Лежат разбитые кости наших погибших царств.

В этом последнем месте встреч
 Мы ощупью ищем друг друга,
 Избегаем слов
 На берегах вспухших рек.

Без глаз. Разве только
 Вернутся глаза,
 Как вечные звезды,
 Как вечная роза
 Сумеречного царства смерти?
 — Единственная надежда
 Опустошенных!

5

— «В нашем садочке
 Много колючих кустов.
 Мы водим там хороводы,
 Утром, в пять часов».

Между идеей
И действительностью,
Между намереньем
И поступком,
Падает тень.

Яко Твое есть Царство.

Между замыслом
И созданием,
Между переживанием
И ответностью,
Падает тень.

Жизнь очень длинна.

Между желанием
И соитием,
Между порывом
И существованием,
Между сущностью
И возникновением,
Падает тень.

Яко Твое есть Царство.

Яко Твое...
Жизнь очень...
Яко Твое есть...

— «Так пришел конец вселенной,
Так пришел конец вселенной,
Так пришел конец вселенной, —
Да не с громом, а со всхлипом!»

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

(1927)

«Ледяные ночи — наше шествие.
Холодней ночей не бывает в году.
Долог был путь, наш путь в непогоду,
В ветер, в буран, по темным дорогам,
В самое сердце зимы».
Злые верблюды отшибли копыта,
Упрямо ложились в тающий снег,
Мы жалели о днях солнечного лета,
О дворцах, садах, теплых ступенях,
О ласковых девах, несущих шербет.
Погонщики ругались, ворчали, уходили,
Требовали женщин, вина.
Гасли наши костры. Куда было деться?
Города были грозны, села враждебны,
Деревни грязны и вороваты.
Трудно нам было. А под конец
Мы стали двигаться и днем, и ночью,
Спали урывками, и сквозь дремоту
Слушали: гудят кругом голоса,
Говорят, что это безумие.

И вот на рассвете мы сошли в долину
Сырую, теплую, где пахло весной.
Там прыгал ручей, стучала мельница,
На фоне низкого неба стояли три дерева
И куда-то проскакал старый, белый конь.
Мы вошли в трактир, завитый виноградом,
Шестеро кости метали, и пусты

Были мехи, что валялись тут-же.
 Никто ничего не знал. Мы тогда
 Продолжали наш путь и к ночи явились.
 (Как говорится: все были рады).

Это было давным-давно, но я помню.
 Я опять пошел бы той-же дорогой,
 Но решив сначала вот этот вопрос,
 Да, вот этот вопрос: вело нас по свету
 В Смерть или в Рождение? Там было Рождение,
 Нет сомнений. Когда я видел Смерть и Рождение
 Я думал, что они не похожи. Рождение то
 Стало страшною, горькою смертью для нас. Нашей
 смертью.

И вот мы вернулись к себе, в наши Царства,
 Но здесь нам нет места средь старых законов,
 Меж чуждых людей, что цепляются за своих богов.
 И я хотел бы умереть вторично.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСТА

(1930)

1

Затем, что нет надежды снова быть,
 Затем, что нет надежды,
 Затем, что нет надежды быть,
 Желать успехов одного и гения — другого,
 Я больше не стремлюсь стремиться их иметь.
 (Старому орлу к чему простирать свои крылья?)

К чему оплакивать
Исчезнувшую силу жалкой власти?

Затем, что нет надежды вновь узнать
Зыбкое величие судьбоносного часа,
Затем, что я не думаю,
Затем, что знаю я, что не узнаю вновь
Истинную, но временную мощь,
Затем, что я не припаду к ключу
Там, где в цвету деревья, где весна. Затем, что
ничего не будет снова.

Затем, что знаю я, что время есть только время,
Что пространство всегда только пространство,
И то, что живо — живет для данного часа
И для данного места,
Я ликую, что всё есть так, как оно есть, и
Я отвергаю благословенное лицо,
Я отрекаюсь от голоса.
Затем, что нет надежды снова быть,
Я ликую: мне надо создать хоть что-нибудь,
О чем я мог бы ликоватъ.

Молитесь Богу о милосердии для нас,
И я молюсь, чтобы я мог забыть
Всё то, о чём я слишком много говорю наедине
И что себе пытаюсь объяснить.
Затем, что нет надежды снова быть,
Пускай слова мои ответят
За всё, что было, но не будет вновь.
Да будет суд для нас не слишком тяжек!

Затем, что эти крылья не поднимут
Меня, а только воздух бьют,

Тот воздух, что стал редок и горяч,
И горячей, и суще, чем желанья,
Научи нас сочувствию и безразличию,
Научи нас смирению.

Молитесь за нас, грешных, ныне, и в час смерти,
Молитесь за нас ныне, и в час смерти.

Томас Стернс Элиот

Переводы Н. Берберовой

* * *

Сижу в кафе весною,
Сижу ничуть не пьян,
Стоит передо мною
На блюдечке стакан.

Стакан простого чая,
И, для других незрим,
В нем ложечкой мешает
Залётный херувим.

И чай мой всё крепчает,
Меняет цвет и вкус,
И вот уже не чай он —
Нектár для жадных уст.

Я пью его, пьянея,
И я пою, пою,
И с песнею моею
В совсем ином краю.

Но спáла навожденья
Взметнувшая струя,
В немом недоуменьи
Сижу, очнувшись, я.

И чай в моем стакане,
Как ложкой ни мешай,
Не жгучий и не пряный —
Обыкновенный чай.

Когда ты мне солгало,
Проклятое стекло?
Когда ты просияло
И песней обожгло?

Иль в этот вот бесстрастный
И равнодушный миг,
Когда я так напрасно
К краям твоим приник?

Ах, я судить не смею
(Сужу — так на авось...),
Ведь в маленьком кафе я
Всего лишь мелкий гость.

Уйду и перестану
(Так проще может быть!)
Из страшного стакана
В недоуменьи пить.

* * *

Всего-бы проще было жить
Не шаря по больным вопросам,
О непонятном не судить,
Клевать и разумом и носом.

Но не напрасно райский плод
Нас напоил запретным соком:
В нас навсегда мечта живет
О невозможном и далеком.

Нас слово тающее «там»
 Томит прикосновеньем рая,
 Мы к ускользнувшим берегам
 Так жадно руки простираем.

И мы зовем — в который раз!
 Нам нужды нет, что небо немо!
 О, как он крепко бродит в нас,
 Квасок антоновки Эдема!

* * *

Я много молчал и ждал,
 То верил, а то не верил.
 Я словно всю жизнь стоял
 У плотно закрытой двери.

Я знал, что за ней ответ
 На всё, что во мне боролось.
 Сквозь щель пробивался свет
 И слышался чей-то голос.

Но я уловить не мог,
 Как я ни хотел, ни слова.
 Таким и в могилу лег —
 К нездешнему неготовый.

Так дети порой молчат,
 Прислушиваясь напрасно,
 Как взрослые говорят
 О чем-то для них неясном.

Но вот обернулись к ним
И что-то должно случиться —
А кончится всё одним:
Что спать им велят ложиться.

* * *

Как трудно на живой душе
Носить мертвееющее тело,
Душою даже хорошеть,
А тело знать окаменелым.

А в юности, наоборот,
Душа за ним не поспевала,
И если подытожить счет —
Побыть вдвоем пришлось им мало.

Почти всегда, везде, во всем
Их разлучало расстоянье,
И кратко было в мире сем
Их благодатное слиянье.

1962

Д. Кленовский

ПРОДАЖА*

1

Мы прокладывали дорогу в тайге. Весна. Помню, этот день был какой-то замечательный. Мне казалось, что солнце не грело из одного круга, нет, оно будто растворилось во всем воздухе, во всей вселенной, и проникало сейчас всюду. Оно было везде. И вот дошло до Сибири, даже до нас, до рабов. И залило своим светом мрачную тайгу.

В тайге в этот день под деревьями не было уже обычной темноты. И этот цвет солнечного света заставлял меня улыбаться. Хотел я или не хотел, но я улыбался. И мне казалось, что улыбаются все. И всё живет какой-то особенной жизнью. Деревья, кусты, ветви, листья, даже мертвый мох всё как будто ожило. Ветра не было. Но во всем было какое-то легкое движенье. Я увидел божьих коровок, которых тут раньше никогда не видал. В солнечных лучах даже белая бабочка летала, опускалась, поднималась и за ней появлялись откуда-то другие.

Я рубил кедр, крепкий, как сталь. Я бросил топор, сел. Не хотелось работать. Хотел кричать от радости. Но что это за радость, откуда она пришла, — я сам еще не знал. Мне казалось, что не всё еще потеряно. Не потеряно, если солнце такое хорошее. Не потеряно, когда соком налитые почки кустов раскрываются почти на моих глазах.

* Мы печатаем в переводе с армянского третий отрывок из «Я совершил преступление» Сурена Санияна. Два первых см. в кн. 64 и 66 «Н. Ж.». РЕД.

Вдруг я вздрогнул. Эта мысль никогда не была такой ясной и резкой. В это мгновенье мое решение стало для меня необходимостью. «Бежать...», прорезало меня.

Я осмотрелся кругом. Шагах в ста стоял солдат с неизменной винтовкой. Пчела, жужжа, крутилась вокруг моей головы — ззззз.... Воздух теплый. От елей, берез, сосен, кедров шел опьяняющий аромат. Сердце билось. Свобода показалось мне — так близко, так достижима, что если я сейчас протяну руку, я схвачу ее...

Я взял топор, и начал рубить. Я рубил всё то же кедровое дерево. И так я рубил его до так называемого «обеда». Но после «обеда» небо внезапно потемнело. По верхушкам деревьев пошел ветер. Он все крепчал и крепчал. Наконец громадные стволы начали под ветром скрипеть и качаться, будто охваченные каким-то землетрясением. Это бывало очень редко здесь, в Сибири, — но блеснула молния и после нее небо загремело таким громом, словно всё оно раскололось надвое. Это была первая гроза, которую я здесь увидел. Вместе с громом по деревьям зашелестел белый проливной дождь. И ливень пошел такой силы, будто с неба падали тысячи водопадов.

2

Мне надо было знать, где стоят часовые. Но сквозь дождь ничего не видно. А если бы я неосмотрительно двинулся, ошибка могла бы стать роковой. Расстрела я как-то не боялся. Я боялся, что погибнет моя мечта об освобождении, о свободе. «Отсрочить?» Мне было стыдно перед самим собой. «Свобода не дается даром», повторял и повторял я сам себе.

Я отделился от ствола кедра, защищавшего меня от дождя. Потом на четвереньках пополз вдоль соседнего, мною же поваленного дерева, ветви которого были еще не обрублены.

У конца дерева я приостановился. Взглянул вправо, сделал несколько ползков, прижался к земле и стал слушать. Вдруг чувство радости захлестнуло меня. Я полз, быстро полз. Может удастся. Я сделаю всё, чтоб удалось. Никогда еще рабство не казалось мне таким омерзительным, как в эти минуты.

Буря и ливень не переставали. Я был мокрый, как опущенный в воду. Вода, глина, хвоя, дождь. Казалось буря хочет выкорчевать всю эту тайгу и разбросать ее по белу свету. Тайга была охвачена ужасом. Она дрожала всем своим телом, стонала и кричала.

Но под ее защитой я чувствовал себя безопаснее. Как будто я был не один. У моих хозяев — часовые и собаки. А у меня была природа, помогающая мне бежать.

Беги, беги, как будто слышал я. И я полз, прижимаясь к земле. Где же я? Разве я переполз уже линию часовых? Я поднял голову, осмотрелся вокруг. Ничего нельзя было увидеть. Только стонала и шумела тайга, в этот день превратившаяся в ревущий океан.

Вдруг я безотчетно вскочил на ноги и бросился бежать. Я падал, вставал, бежал. Бежал, ударяясь о деревья, кусты царя-пали мне лицо, руки. Так я бежал пока вдруг не попал по колено в болото. Я вылез на левую сторону болота. Уже темнело. Уже был вечер. Но весной здесь, в Сибири не бывает ночи. По моим расчетам от часовых я был уже километров за шесть. Но я не мог считать себя в безопасности. И я опять бежал. Упал. Мне показалось, что кто-то крепко схватил меня за ногу и тянет вниз. Я пережил минуты ужаса. Перевернулся на спину. Нога была схвачена развиликой двух веток какого-то куста. Я с трудом освободил ногу. Нога — болит, я захромал. Это были минуты отчаяния. Еле двигаясь я дошел до большого куста и лег.

А когда я проснулся не было уже бури и дождя. Опять было солнце и в лесу с земли белымн волнам поднимался туман.

3

Я шел на север потому, что знал: они будут искать меня на юге. Я должен был идти долго на север, потом свернуть на запад. А потом уже — к югу, чтобы выйти на железную дорогу. До нее идти мне надо было месяцев шесть.

На север я шел параллельно большой темной реке, но далеко держась от нее. Все населенные пункты в Сибири — по берегам рек. Если села — русские, это было не так опасно, но если — монгольские — я знал, что меня поймают и сдадут.

Нет леса скуче и негостеприимнее сибирской тайги. В это весеннее время в тайге нет ничего. К зиме хоть появляются, как уксус кислые ягоды, но весной они еще только цветут. В первые дни я голод не чувствовал. Но когда голод дал себя знать, я начал есть грибы, хоть от них и тошнило. Тайга мрачна. Ужасно мрачна. Верхушки деревьев, кажется, концами доходят до облаков. А внизу — болота и зелень. Если же нет болот — хвоя, сушняк, ржавая земля. Молчит тайга. И нет ей конца. Таинственная. Человек чувствует себя в тайге ничтожным.

4

Шел, шел как в лихорадке, бездумно, наугад. Когда видел следы человеческих ног со страхом бросался в сторону. Сам не знал, куда иду и куда приду? Одно было хорошо, что был свободен, что уже был не рабом, а беглым.

Но вскоре я так ослабел, что с трудом двигался. Грибов больше есть не мог. Один вид их вызывал у меня тошноту. В это время я уже шел на запад, чтобы выйти к большой реке, где должны были быть населенные пункты.

Вечером, прижавшись спиной к широкому громадному стволу кедра, я заснул. Во сне кто-то грубо толкнул меня в плечо.

— Встань! — услышал я тяжелый, короткий окрик.

Я открыл глаза. Передо мной стоял человек, прижавший дуло своего ружья к моей груди. Другой стоял рядом. Во время побега, когда я засыпал, я почти всегда видел этот сон: меня поймали. Я вздрагивал, просыпался, вскакивал бежать, но потом к этим снам я привык. «Опять сон», подумал я и закрыл глаза.

— Эй! Кому говорю! — услышал я тот же грубый голос. И сразу почувствовал удар ногой в бок.

Стало-быть, это был не сон, это действительно поймали. Сначала меня охватила ярость, что побег сорвался, и от отчаяния глаза мои наполнились слезами.

— Что вы хотите от меня? — сказал я, и закрыл лицо руками, чтобы эти люди не видели моих слез.

— Вставай!

Когда я поднялся, я разглядел обоих монголов. Тот, который держал ружье у моей груди — молодой. У него безволосое, широкое, как деревянное, лицо. Глаза — узкие, и, как у рыси, полные злости. Другой был — старый. Вместо бороды у него на подбородке висел пучек редких, седых волос и усы были у него, как у лошади.

— Что вам от меня надо?

— Шагай! — отрезал молодой.

Старик пошел впереди. Молодой концом ружья толкнул меня в спину, чтобы я шел за стариком. Не отдавая себе отчета, я вдруг схватил старика за плечи и бросил его на землю, стараясь у него вырвать ружье. Но молодой ударил меня прикладом по голове. И я увидел, как перевернулась тайга, а я полетел в бездну. Когда я открыл глаза, мои руки были связаны за спиной. Молодой монгол стоял у моих ног, а старик сидел рядом и улыбался беззубым ртом. Эта улыбка могла меня свести с ума.

— Чему ты смеешься, собака! — закричал я.

Старик засмеялся пуще.

- Для такой большой дичи смеюсь, — сказал он.
- Я не дичь, я человек... — и я заплакал.
- И мы тоже люди, — сказал старик.
- Отвернись, чудовище, что-б я не видел твою грязную харю, — еще сильней закричал я.
- Встань! — крикнул молодой и стал толкать меня дулом ружья.
- Я попробовал подняться на колени, но голова так болела, что встать я не мог и упал на бок.
- Вставай! — крикнул молодой монгол и начал бить меня ногами по ногам.

5

Всю дорогу монголы молчали. Старик хорошо знал тайгу. Он шел по ней так, как будто по ровной большой знакомой дороге. После трех-четырех часов ходьбы мы вышли к берегу реки, у которой виднелись несколько землянок и старых изб. У села на опушке паслись четыре тощих коровы. Около коров сидел мальчишка лет десяти, который увидев меня побежал к берегу и стал кричать. На его крик выбежало несколько полуугольных ребятишек. Они смотрели на меня так, как смотрели бы на пойманного волка. На своем языке они что-то кричали молодому монголу. В «центре» села нас встретили несколько неописуемо грязных и уродливых женщин. Они также, как и дети, смотрели на меня. Одна девушка радостно улыбнулась молодому монголу. И эта улыбка не прошла для меня даром. Под ее улыбкой, монгол ни с того ни с сего прикладом ударил меня в спину.

— Скотина! — крикнул я ему.

Он ударили меня вторично так, что шапка моя слетела и я упал на колени. Попробовал встать, но руки связаны за спиной — и я не мог. И вдруг увидев мои усилия, один из полуугольных ребятишек, подбежал, схватил меня за пазуху и, кряхтя, помог мне встать. На своем языке молодой монгол что-то крик-

нул на него. Но мальчик не обратил внимания. Поднял с земли мою шапку, подпрыгнул и кое-как надел ее на меня. И когда мы двинулись, мальчик своими черными косыми глазами внимательно смотрел нам вслед, а потом быстро убежал. То, что сделал мальчик принесло мне бесконечное облегчение. В меня внезапно вошло какое-то необыкновенное спокойствие.

6

Во дворе деревянной, покосившейся избы старуха-монголка в большом черном от копоти котле что-то варила. Когда мы вошли во двор, старик подошел к ней, положив ей руку на спину. Женщина безразлично посмотрела на старика и опять нагнулась над котлом. Старик толкнул ее в спину. На этот раз старуха обернулась, и старик весело показал на меня. Когда старуха увидела меня, ее лицо ведьмы приняло радостное выражение. Она подошла к сыну, обняла его и что-то ему сказала на своем языке. Потом втроем они подошли к котлу и поочереди одной и той же ложкой пробовали кушанье.

Старик и сын сели у огня. А старуха всё мешала в кotle и что-то без конца бормотала. Потом, что-то говоря им, она показывала на свое грязное, рваное платье. Хоть я ни одного слова не понимал, но я догадывался, что из выручки за продажу меня, она хочет купить себе новое платье. Старик как-то виновато поглядывал на сына и чесал в затылке. Сын поднялся с места и произнес какие-то, повидимому, злые слова. Старуха начала плакать, утирая глаза грязным подолом. Я понимал, что деньги за меня сын хочет истратить по своему усмотрению. После, сердитые друг на друга, все трое замолчали.

Когда кушанье было готово, старуха своим подолом взялась за край котла и, кряхтя, потащила его в избу. Старик пошел за ней. Молодой, не глядя на меня, рукой показал, чтоб я шел в избу тоже.

В избе было сумеречно. Мне указали на лавку. Постепенно мои глаза стали привыкать к полутемноте, и я увидел ужа-

сающую нищету этой избы. В ней не было ничего кроме русской печки, сплошь покрытой тараканами. Посредине была на валена солома. Пока хозяева не начинали есть, я попросил развязать мне руки. От долгой связанности руки страшно болели и ныли. Старуха как-то подозрительно посмотрела на меня. Старик стал смеяться сам с собой, будто я сказал что-то очень смешное. Молодой подошел и развязал мне руки.

Мне показалось, что такого облегчения я не испытывал во всей моей жизни. Теперь стало хорошо. Я тёр руки одна о другую. Потом, не думая ни о чем, лег и вытянулся на лавке.

Хозяева сели на соломе посреди избы, вокруг котла. Они хлебали уху, не обращая на меня никакого внимания. От этой ухи шла какая-то невыносимая вонь на всю избу.

— Исссс, — тянул из ложки горячую уху молодой монгол.

Усссс, — тянул отец.

Чамп-чамп-чамп-чамп, — чавкала старуха.

Слыша такую «музыку» я, несмотря на острый голод, чувствовал к их еде полное отвращение. Я хотел спать, но не мог заснуть. Они ели долго, пока не опорожнили весь котел. Тогда они стали облизывать свои ложки. В это время в избу вошла та девушка-монголка, которая посреди села улыбалась молодому монголу. Лицо старухи сразу исказилось, она что-то зло пробормотала. Но сын строго ответил матери и, показав отцу на меня, что-то сказал и вышел из избы с девушкой. Я догадался, что он сказал отцу, чтоб тот присматривал за мной.

После ухода сына старуха сразу громко заговорила. Я думаю, ей очень хотелось, чтобы ей купили новое платье. Старик что-то отвечал ей, часто указывая на меня. Мне казалось, что он говорил своей старухе, что сейчас, когда они меня продадут, на

эти деньги купят то, что надо невесте, а вот поймают другого и тогда купят ей. Может, он говорил и что-нибудь другое, но я был уверен, что он говорил ей именно это.

Дверь в избу опять распахнулась. На этот раз вошел молодой монгол, лет тридцати, в высоких сапогах и в новых телогрейке и штанах, какие носили мы, заключенные. Через плечо у него висела винтовка.

— Добрый вечер, — сказал он чисто по-русски, что меня поразило.

— Добрый вечер, — с сильным акцентом ответили хозяева.

— Старик, — проговорил, улыбаясь, вошедший, — я слышал, у тебя дичь есть?

— Есть, — сказал старик, указав на меня.

Вошедший подошел ко мне, посмотрел и спросил:

— Эй! Из какого концлагеря?!

Не получив ответа, он пристально поглядел на меня и сел на лавку около моих ног.

— Он не любит разговаривать, — проговорил старик и затрясся от смеха.

— Ты по чем их продаешь, Ашар? — спросила старуха, стоя против монгола как-то смешно подбоченясь.

Ашар усмехнулся.

— Мои цены другие.

— Почему?

— Очень просто, — усмехался Ашар, — вы за целый год только двух и поймали, а у меня девятый сейчас в избе. А правительство платит хорошо тому, кто хорошо работает.

— Пускай к черту пойдет такое правительство, которое за человека платит как за собаку, — начала ругаться старуха.

— Собаку? — смеялся Ашар. — Да я одному русскому за собаку восемьдесят рублей отдал. А эти — кивнул он головой в мою сторону, — только двое стоят одной собаки.

Старуха задумалась и стала что-то считать на пальцах.

— Значит, сорок рублей?

— Вам заплатят сорок, а мне больше, — самоуверенно сказал Ашар.

— Сдавай и нашего, чтоб больше получить.

— Я затем и пришел! Чего вы хотите, муку, иль деньги?

— Надо сына спросить, — с опаской вмешался старик, — он для невесты ситца хочет.

Услышав о невесте, старуха опять начала ругаться на своем языке.

— Да, подожди ты, — недовольно остановил ее Ашар, — я его только что встретил, он двадцать рублей хочет, а на остальное ситца.

— А остального сколько?

— На двадцать рублей.

— На двадцать? Значит, всего сорок? — сердилась старуха и опять начала что-то считать на пальцах.

— А ты чего хочешь? Сорок рублей иль сорок фунтов муки? — как купец, спрашивал Ашар.

— Не надо мне ничего, пускай лучше наши сами сдадут, — обиделась старуха и отошла от Ашара.

— Ну, пускай сдадут, больше того, что я даю всё равно не получат, только сапоги зря соблют, — и Ашар хотел уже встать. Но старик остановил его.

— Постой, Ашар, — проговорил он. — Деньги и ситец получит сын, а ты мне со старухой что дашь?

— А чего дать? Что сверх сорока получу, это мой барыш, за работу. У меня в избе тоже шестеро ребятишек есть хотят...

Старик засмеялся.

— А ты раздели барыш с нами. Я тебе всех, которых поймаю, буду сдавать.

Ашар немного подумал.

— Больше сорока я много не получу. Мне он нужен потому, что у меня в этом году он десятый будет, мне премию дадут, бутылку водки. Ну, пускай водка будет ваша.

Услышав о водке и старик и старуха вдруг беспокойно за-двигались и зачавкали беззубыми ртами.

— А когда ты вернешься? — спросил старик.

— Дня через два.

— Через два? — застонала старуха, — да я сейчас пить хочу...

— А можно и сейчас, — спокойно ответил Ашар, — у меня бутылка есть, хочешь принесу?

Когда Ашар ушел, старуха от нетерпенья открыла дверь избы и все вглядывалась в светлую ночь. Старик что-то говорил ей. Наконец Ашар вернулся и из телогрейки вынул бутылку водки.

— Что, водой долил? — недоверчиво и хитро спросила старуха и протянула руку к бутылке.

— А ты не видишь, что запечатанная...

— Печатанная водка! Сколько лет не пили! Дай посмотреть! — от радости привскочил старик, протянув руку к бутылке.

Но старуха не дала ему. Обеими руками она прижала бутылку к груди, на лице ее появилось какое-то благоговейное выраженье.

— Товар чека, — облизывая губы, сказал Ашар.

— Откупори, откупори, — нетерпеливо твердил старик и он в первый раз за весь день рассердился на старуху.

Дрожащими когтями старуха сорвала сургучную печать, и попробовала вытащить из бутылки пробку. Пробовала, старалась, но не могла. Тогда старик выхватил у нее бутылку и

сам стал откупоривать с каким-то кряхтением и стоном. Но и у него не выходило.

— Дай-ка, — с улыбкой знатока взял Ашар. Он вонзился своими белыми зубами в край слегка торчащей пробки и очень осторожно, будто делая опасную операцию, медленно вытащил пробку с тихим приятным звуком. Старуха заслонила старика, взяла у Ашара бутылку, долго ее нюхала и в каком-то упоении почти запела: — ааа....

— Аааа, — проговорил за ней и старик. Стал против старухи, потянул носом, чтоб как следует почувствовать запах. Но старуха грубо оттолкнув его, поднесла бутылку к своему большому беззубому рту: — бульк, бульк, бульк... Было слышно, как жидкость медленно вливалась в горло старухи.

Старик и Ашар жадно следили за ней.

— Довольно тебе, — не вытерпел старик.

Старуха посмотрела на него поверх бутылки, отняла ее от рта и провела рукой по груди: — аааа.... — простонала она. Воспользовавшись этой священной минутой, старик вырвал бутылку, запрокинул голову и поднес ко рту: бульк, бульк, бульк...

— Довольно, ты, пристыл... — прокричала старуха и своими когтистыми руками схватила бутылку. Старик не выпускал бутылку, но она все-таки вырвала ее и начала ругать старика за то, что он много отпил.

— Пьяница ты, собака, всегда такой был...

— Дай мне попробовать, — проговорил Ашар.

Старуха удивилась: — Тебя не хватало!

Дай в долг.

— Насколько?

— На один палец.

Старуха прижала палец к боку бутылки и сама поднесла горлышко ко рту Ашара, и тут же быстро оторвала.

— Что ж ты делаешь? Я глотка еще не выпил, — рассердился Ашар.

Ты ж, сказал — палец, и выпил палец.

— Дай еще один.

— Хорошо, только запомни, будет два пальца.

Потом началась какая-то болтливая беседа. На меня внимания не обращали. Я лежал и думал: чей же я товар, — стариков или Ашара.

9

Отхлебывая из бутылки, старуха всякий раз жадно прижимала ее к груди.

— Дай еще глоток, — просил старик.

— Хватит, и так пьяный...

— Дай еще палец...

— Это уж четвертый палец...

— Нет, с этим три.

— Четыре! — закричал старик, поддерживая жену, чтобы к ней подлизнуться.

— Хорошо, пусть четыре... — и Ашар выпил из рук старухи; — дай за мой счет глоток старику.

— Значит, пять пальцев?

— Глоток — не палец.

— Его глоток больше пальца.

Допили. Опьянели. Старик жаловался: — Я его поймал, а водку жена пьет.

Пьяная старуха всё спрашивала Ашара, зачем он из русского села в их село перешел?

Ашар смеялся.

— Здесь для дичи удобнее.

— Много ловишь? — с завистью спрашивала старуха.

— Хватает.

— Каждый день водку пьешь?

— Захочу — каждый день пью, — смеялся Ашар.

Вдруг пьяная старуха заплакала. — Ашар, зачем ты не мой муж?

— Потому что ты не моя жена, — смеялся Ашар, — но хотя ты и старше меня вдвое, ты еще ничего, годишься...

Старик весело затрясся от смеха.

— Не смотри на ее толстоту, Ашар, она моя жена, я ее знаю, ни к чему она не годится.

Ашар громко запел — ууууу... ууууу... — И его песня была похожа на вой лисы. Старуха подхватила песню, подошла к Ашару, обняла его, они расцеловались и стали петь: ууу... ууу... ууу...

Вдруг дверь избы сильно распахнулась, вбежала молодая монголка. Ашар быстро оттолкнул старуху.

— Ашар, беглый убежал!

Ашар вскочил, как пружина.

— Убежал?

— Убежал, — заплакала женщина. — Я на улице была, вернулась, а его нет. — И от страха перед мужем женщина дрожала всем телом.

Ашар с винтовкой бросился бегом из избы.

Пьяный старик стал что-то весело говорить старухе и смеяться. Старуха отвечала ему резко крича. Я поднялся с лавки.

— Куда?! — хотела встать на ноги старуха, но не смогла и грузно осела опять на солому.

Я быстро вышел. И когда снаружи запирал дверь, слышал, как старуха кричала, как ведьма, а старик громко смеялся.

Сурен Саннинян

*

Памяти В. А. Смоленского

Всё хорошо и, всё прекрасно.
Подумаю, и жутко мне.
Какая чистота и ясность,
Какая вера — в глубине —
Души измученной звучала.
Как я любил его, когда,
В улыбке горькой отражалась
Его грядущая беда.
О, как лицо его менялось,
Когда он нам стихи читал,
Каким сияньем озарялось...
Как, в нем поэт торжествовал
Над страшной, мелочной, убогой
Действительностью. Свой венец
Он нес, как долгую тревогу,
За свой трагический конец.

*

Выше горла окружены делами
В незнакомой, дальней стороне.
Помнит он себя за облаками —
Бронзовым на бронзовом коне.
А, живые люди мимо ходят,
Кланяются, руки подают,
Говорят, смеются, грусть наводят,
Носят флаги, песенки поют.

Строят, сеют, веют, разоряют.
Верят: каждый своему уму.
Почему-то часто выражают
Соболезнование ему.
И своих не видят эпидемий:
Прописных советов и микстур.
Потому, что заменяет время
Неподвижность бронзовых фигур.

*

И альбатросы над китом
Летят по небу золотому.
И весь огромный водоем
Усеян золотой соломой.
Соломенки уходят вдаль
И новые со дна всплывают
И волн бесчувственная сталь
Как поле плещет урожаем.

*

Нас обманула правда. Не спроста
Поход в ничто надеждой обеспечен.
И дождь спадает с мертвого листа
Чтоб оживить своею влагой вечность.
И падает беда на старый след.
Затвердевает день из мутной смеси
Всего, что было в миллионах лет,
Что б вышивки свои опять развесить.
И розовея, утром облака
Бегут в смятеныи, быстро расступаясь,
Что б луч упал на золото песка,
Что б вспыхнул свет в росинках отражаясь.

*

Вечером осины огнестрельны:
Залпами последние лучи
Падают на низкорослый ельник
(Свет и тень). Среди лесной парчи
Все мерцает от движенья веток.
Светится крупинками роса.
Полон трепета вечерний ветер.
Неподвижны только небеса.

A. Величковский

ИЗ БЛОКНОТА

* * *

Председатель русской благотворительной организации рассказывает:

— В тридцатых годах, среди других просителей и профессиональных стрелков с классическим — «находясь временно в затруднительном положении...» — является ко мне пожилой, небритый, оборванный человек. Середина октября, холод, дождь. На нем рваные штаны, башмаки с отстающими подошвами, рваный пиджак, рваная шляпа и рубашка неопределенного цвета. Говорит хрипловатым голосом: — Мне сказали, что у вас благотворительная организация? — Да. — И что здесь можно получить кое-какую одежду? — Да. — Так вот, не можете ли вы дать мне пиджак? Мой, как видите, износился. — Смотрю на него внимательно. Хмурое лицо, человеческое выражение выцветших глаз. Чем-то он не похож на обыкновенного стрелка. Знаете, когда у вас такой огромный опыт общения с людьми, как у нас, глаз становится наметанным. Есть какая-то, так сказать нивелирующая сила в нищете и пороке. Огромное большинство нищих и пьяниц постепенно становятся похожи друг на друга. Это нечто вроде братства в несчастье, если хотите. Как-то незаметно стираются различия — и получается средний тип пьяницы, средний тип стрелка, вообще человека, который ушел из мира тех этических понятий, которые мы считаем обязательными или нормальными.

Мы сидим с ним в кабинете его квартиры; теперь тоже октябрь. В этом году кончилась война. За окном холодный дождь

— как тогда, когда к нему приходил этот проситель. Слушаю его спокойный голос, в кабинете тепло, горит печь, сквозь ее слюдяное оконце виден огонь. Что-то диккенсовское в этом вечере. Мой собеседник продолжает:

— Я его спросил: вы говорите, вам нужен пиджак? Только пиджак? — Да, благодарю вас, только пиджак. — Но, простите пожалуйста, ваши штаны не в лучшем состоянии. А кроме того, я вижу, у вас нет пальто, а теперь не лето. — Нет, пожалуйста, ни штанов, ни пальто не давайте. — Почему? — Продам и пропью. Вы их кому-нибудь другому отдайте, а мне не стоит. — Как же так? Непременно продадите и пропьете? Это так неизбежно? — Да, — говорит задумчиво. — Я, знаете, алкоголик. — Где вы живете? — Нигде. — То есть как нигде? У вас нет своего угла? — Давно нет. Я бродяга. — Но как же вы существете? — Неинтересно рассказывать, зачем я у вас время буду отнимать? Дайте только мне пиджак, и я пойду дальше. — Нет, нет, я очень хотел бы знать... — Так вот, видите ли, я уже много лет хожу. Знаете, как в прежнее время по России ходили странники, богомольцы. Хожу по Франции, из деревни в деревню. Французские крестьяне не знают, что я русский. — А как же акцент? — У меня нет акцента. — Каким образом? — Всю жизнь, всегда говорил по-французски, с детства. — И что же? — Ну, вот, иду. Вхожу, принимают. Народ скуповатый, французские крестьяне... Помните Мопассана? Он их правильно описывал. Попросите хлеба — откажут. А вот в стакане красного вина — никогда. Ну, а к вину и сыр и кусок хлеба. Переночую в амбаре или на сеновале, а утром дальше. Опять дорога, поля, леса. Летом хорошо, а вот осенью и зимой тяжеловато. — И давно вы так ходите? — Много лет уже. — И вас никогда никто не останавливал? Полиция иль жандармерия?.. — Останавливали. Сидел в тюрьме за бродяжничество. Но теперь все это кончено, узаконено.

— Как узаконено? — Да так вышло. Ну, первый раз меня задержали, отсидел день в тюрьме, выпустили. Второй раз — три дня тюрьмы. Третий — неделя. И так дальше. Предпо-

следний раз, когда меня арестовали, я отсидел в Орлеанской тюрьме три месяца. Но я, признаться, был даже доволен; январь, февраль, март — самое холодное время. Ну вот. А в апреле, недалеко от Лиона, опять останавливают на дороге; спрашивают адрес и есть ли деньги. — Нет, говорю, ии адреса, ни денег. — Значит бродяга? — Бродяга, говорю.

Посадили меня в тюрьму. Потом вызывают к следователю — молодой человек. — Ты русский? — Русский. — Бродяга? — Бродяга. — Ты пробовал найти работу? — Нет, говорю, какой из меня работник. Вы, говорю, господин следователь, и я, мы живем в двух совсем разных мирах, основные понятия которых не совпадают. — Он нахмурился и спрашивает: вы действительно русский? — Действительно. — Почему ж вы говорите по-французски без ошибок и без акцента? Вы получили образование во Франции? — Нет. Я окончил университет в России. — Как же могло случиться, что вы стали бродягой? — Я алкоголик. — Вас уже не первый раз арестовывают, и не первый раз вы в тюрьме? — О, далеко не первый. — Но ведь каждый раз срок заключения автоматически удлиняется. И кончится дело тем, что вас продержат в тюрьме год, а потом вышлют из Франции. — Вероятнее всего так и будет. — Нет, так нельзя, надо что-то сделать. — Что ж тут делать? — А об этом надо подумать. Но скажите, как же вы можете так жить? — Я говорю: — извините меня, господин следователь, вы человек молодой и может быть вам не приходилось задумываться над тем, как чудовищно многообразны пути человеческих существований. Вы этого не знаете. Мы знаем только направление. Мы все, одни медленно, другие быстро, одни в кабинетах судебных следователей, другие на дорогах той или иной страны, третьи еще где-нибудь — мы все идем к смерти. И если вы себе представите, что что бы вы ии делали, как бы вы ни жили, здесь или там, в таких или других условиях, все равно и вам и мне суждены может-быть разные пути, но и у вас и у меня всегда одно и то же назначение — если вы себе представите это,

то логически из этого вытекает другая мысль: не все ли равно, какой дорогой мы дойдем до неизбежного конца нашего земного странствования? Конечно, это может быть сомнительная философия бродяги, философия, на которой лежит отпечаток того, что вы, французы, называете *déformation professionnelle*. Но я готов был бы защищать эту философию, если бы считал, что в мире вообще есть философские системы, которые стоит защищать. — Следователь покачал головой и сказал: — А все-таки, хоть я с вами и не согласен, сделать что-то нужно. И я об этом подумаю.

Через три дня он меня вызвал. Выражение глаз у него было веселое. — Нашел выход! — сказал он. — Я же вам говорил, надо только подумать. Вот ваше новое удостоверение личности. Видите, в этой графе: профессия? Видите? Теперь тут написано: «кочевник». Понимаете? И теперь вас арестовать уже больше не могут. Вы — кочевник и не обязаны иметь постоянного местожительства. А сейчас — вы свободны. Счастливого пути. — Я искренно поблагодарил его и ушел.

— Хорошо, говорю я, — продолжал свой рассказ мой собеседник, — ну, дам я вам пиджак, а что дальше? Опять пойдете странствовать? — Нет — сказал он. — больше не могу, сил нет. Раньше, еще несколько лет тому назад, мне все было ни почем: холод, жара, дождь, снег, расстояние. А теперь устаю, муть в глазах, деревья передо мной качаются, поля точно в тумане уплывают из-под ног, а когда холодно, то мне кажется, что я несу в себе какую-то ледянную тяжесть. Не могу больше. И вот недавно я прочел в газете, что в русскую церковь, в одном из городов на побережье Средиземного моря, назначен дьяконом отец Василий Сидоров. И приведена его биография, — родился, дескать, в Твери, учился там-то и там-то и так дальше. Я сразу догадался — да ведь это же Васька Сидоров, я его с детства знаю, я тоже из Твери. Ну, думаю, старый товарищ, он меня в беде не оставит. И вот я решил, — пойду-ка туда, прямо к нему, и скажу: устрой меня, Васька, где-нибудь там при церкви. Много мне не надо,

только бы угол, да поесть чего время от времени. А климат там мягкий, — пальмы, тепло. Вот это и будет концом моего пути, вернее его последним этапом. Только пиджак мне все-таки нужен.

— А как же вы попадете из Парижа на Ривьеру? Ведь это около тысячи километров. — Как всегда, пешком. Месяца за три дойду, если не упаду по дороге. — Нет, говорю я, это не дело. Я вам дам пиджак, брюки, башмаки, пальто и железнодорожный билет до места назначения, почти что до самой церкви. — Боже вас сохрани! — говорит он. — Все пропью... — Нет, говорю, не пропьете. Не удастся. Всё получите в последний день и я сам вас посаджу в поезд. — Так я и сделал. Сел он в поезд — неузнаваемый, другой человек — бритый, прилично одетый. Но те же печальные глаза, то же выражение лица.

— Где, говорит, ближайшая остановка поезда? — Я называю остановку. — Далеко, говорит, не купят билета. Вы правы, не удастся пропить. Спасибо, прощайте.

Председатель благотворительной организации говорит:

— .. .Было это в конце октября, дождь как теперь. И когда поезд ушел, знаете, что я вспомнил? Андрея Белого:

Поезд плачется в дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные
Пролетаю в поля: умереть.

И потом он сказал:

— Не знаю уж, что стало с моим клиентом. Доехать то он доехал, наверное, и Ваську Сидорова, я думаю, нашел. Так, вероятно, и суждено ему было окончить свои дни не на дорогах Франции, а в непосредственном соседстве с русской церковью, рядом с изображениями святых и угодников — тех самых, на поклонение которым когда-то ходили наши странники, иногда может быть, и такие, как мой парижский кочевник.

* * *

Объявление в русской газете: «Натираю полы, всё чищу и привожу в порядок, могу по телефону. Александр». Спрашиваю одного приятеля, который знает весь «нижний этаж» русской колонии в Париже, — что это за телефонный полотер?

— Блестящий человек, все его коллеги ему бешено за-видуют.

— Почему?

— Он работает со своей пылью.

— Как со своей пылью?

— Нанимается натирать полы, скажем, в такой-то квартире, за определенную сумму. Приходит на работу и приносит с собой кожаный мешок. А в этом мешке у него пыль. Кончит работу — и высыпает целую гору этой пыли у порога. Потом показывает хозяйке и говорит — смотрите, мадам, как я усердно трудился, видите сколько пыли? Может, прибавите что-нибудь? Хозяйка видит — действительно, подумать только, как должен был работать этот человек. И прибавляет — без от-казу. Как он до этого додумался, непонятно. Никому это в го-лову не пришло, а он изобрел: блестящий человек.

Потом добавляет: — Ньютон открыл закон притяжения, Гарвей — систему кровообращения, Эйнштейн — теорию относительности. А полотер Александр — собственную пыль: каждому свое. «Ибо земля еси и в землю отыдиши». Другими словами, прах. И вот, в день страшного суда, кто знает? Мы придем туда с пустыми руками, а Александр подымется на небо со своим кожаным мешком и своей пылью. На всякий случай: может быть там тоже полотеры требуются?

* * *

Глухая парижская провинция 15-го «аррондисмана». Летним вечером, у русской пожилой дамы, Анны Васильевны Морозовой, мой знакомый пьет чай. Муж дамы, почтенный чело-

век лет шестидесяти, когда-то бывший военный, только что прощался и ушел на работу.

— Грех жаловаться, — говорит она, — место у Михаила Петровича хорошее, не каждый такое может получить. Ночной сторож в гараже. А какое ему доверие! Нет, что ни говорите, где бы человек ни был, рано или поздно его оценят по достоинствам.

Потом вздыхает и прибавляет:

— Вот, Бог даст, большевиков свергнут, поедем в Россию и Михаил Петрович будет одесским губернатором.

— Почему же именно губернатором?

— Как почему? Что же вы думаете, мало мы страдали?

Знакомый говорит задумчиво:

— За страдания, Анна Васильевна, это в угодники попадают, а не в губернаторы.

* * *

Зима, глубокая ночь, кафе на Монпарнасе. У стойки небритый, плохо одетый человек в пальто явно с чужого плеча — рукава длиннее рук, полы чуть не до земли. Перед ним пустая чашка, в которой было кофе. С ним спорит пожилая женщина в черном балахоне, похожая на заблудившуюся кухарку. В руках у нее клеенчатая сумка для провизии. Эта внешность однако обманчива: женщина занимается проституцией. Спор идет о том, какая из двух стран имеет право называться передовой — Франция или Россия. Женщина говорит на простонародном французском языке, ее собеседник с сильнейшим русским акцентом едва объясняется по-французски при помощи глаголов в неопределенном наклонении и существительных неизвестно какого рода. Исчерпав все свои аргументы (он доказывает, что Россия всегда была передовым государством, а Франция, как всем известно, страна отсталая) — он обращается ко мне за поддержкой. Отвечаю по-русски. Денег на вторую чашку кофе у него нет. Заказываю гарсону для него кофе с молоком

и бутерброд. Он объясняет: — Я, знаете, временно без работы. — А что вы делали в России? — Командовал батареей. Моя фамилия Смирнов, полковник артиллерии. А здесь работаю электротехником. Но дело не регулярное — работаешь — хорошо, а потом гуляй себе по улицам, если работы нет. — А где вы живете? — Где придётся. До октября жил на кладбище, тут недалеко, там один знакомый предприниматель сдавал походные кровати с одеялами. А зимой холодно все-таки, потом, если дождь тоже нехорошо.

Выпив кофе с молоком, съев бутерброд и закурив папиросу, полковник Смирнов говорит:

— Вы человек молодой, так что у вас наверное еще может быть есть какие-нибудь сомнения. А мы, — наша песенка спета. Что осталось? Воспоминания и жизненная труха, ничего больше. История, как говорится, нам подложила свинью. И теперь я твердо знаю, в чем дело, и какая должна быть правильная философия.

— Какая же?

— А вот. Разная там политика, благо родины, такая партия, другая партия, — всё это баракло. Это еще Соломон понимал — дескать суета суэт и ничего больше. Единственное, что важно — это личная жизнь и ход времени.

Потом долго думает о чем-то и прибавляет, точно произносит цитату:

— И горячий взгляд женских глаз.

— Это вы откуда?

— Мои собственные слова только переделанные. Это я такое стихотворение написал, когда был влюблен, еще в России.

— В размер как-то не укладывается.

Ну, чудак вы человек, в стихотворении моем было иначе. Разве можно в стихах так выражаться «и горячий взгляд женских глаз»? Это последняя проза, ерунда, ничего поэтического.

А как же у вас было в стихотворении?
Он закрывает глаза и цитирует:

И пламенный взор твоих глаз,
Который в моих отражался.

Потом опять читает:

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот,
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

— Но это уже не мое...

Мне почему-то неловко сказать, что я знаю эти стихи. Думаю о том, как всё это нелепо: ночь, Париж, старый оборванец у стойки кафе цитирует Блока. Спрашиваю, не нужно ли ему денег?

— Конечно нужно. Всем деньги нужны, даже Ротшильду или Рокфеллеру. Им даже больше, чем мне. Потому что, — что такое Ротшильд без денег? — дырка, ничто. А я — такой, как я есть, и с деньгами и без денег. Спасибо за предложение, но я у вас не возьму. Обойдусь.

Проходит несколько дней — опять встречаю его у стойки, опять ночной разговор. Говорит он, я слушаю. Говорит о том, что воспоминания обычно неподвижны. И потом прибавляет:

— Но не всегда, конечно. Жил я не так давно в небольшом городке, здесь, во Франции. Работал на фабрике. И вот как-то выпил я и вышел за город, в поле. Солнце уже заходило, лето, тепло. И вот иду я и что-то со мной странное, не могу понять. Потом останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу: за мной, как в строю, беззвучно идут люди, десятки людей: товарищи, которые давно убиты, другие, о которых я ничего не знаю, — как будто вот, я двигаюсь и вся моя жизнь волнами льется за мной. Ну, думаю, допился.

Страшно было, знаете. Не дай Бог, когда воспоминания приходят в движение.

Так прошла зима. Я его встречал раз в неделю, раз в две недели, — все такой же, без работы, в том же пальто. Но крепкий человек, — ясные глаза, уверенный взгляд. Прошла весна, наступило лето. И вот однажды, совсем под утро, когда я вошел в кафе, он точно из-под земли вынырнул и оказался рядом со мной.

— Я вас всю ночь ждал. Предлагают работу в провинции. На билет, чтобы доехать, нужны деньги, там комнату снять и прожить неделю, — тоже надо заплатить. Помните, вы мне предлагали? Теперь я у вас могу попросить, — знаю, что верну.

Я дал ему деньги, он пожал мою руку, ушел — и пропал.

Проходили недели, месяцы, — как в воду канул. Отять наступила зима. И вот, как-то в январе иль феврале, я вошел ночью в кафе и увидел его: котелок, черное пальто, бритое лицо, воротничок, галстук.

— Разрешите вас приветствовать шампанским и, кстати, вернуть вам мой долг.

— Как работа?

— Ничего, благодарю вас. Провинция только, знаете, скучновато. Люблю Париж.

— Но зарабатываете-то вы прилично?

Пожимает плечами. — Какое это имеет значение?

Мы вышли с ним из кафе, он небрежным жестом остановил проезжавшее такси — и уехал на вокзал.

А еще через полгода он опять появился — в таком же виде, в каком я его встретил первый раз.

— Что случилось?

— Да все то же самое. — Он морщится, ему явно не ловко. — Как это в Библии сказано? «Возвращается ветер на круги своя». Сколько раз уже было. Живешь, работаешь. А потом, в один прекрасный день — вдруг та же самая мысль:

для чего? И зальешься. А потом придешь в себя, — всё ухнуло, всё пошло к чортовой матери.

Потом полковник Смирнов снова исчез. Опять прошло много месяцев. Однажды днем иду по бульвару Пор Руа-яль, слышу кто-то бежит за мной. Оборачиваюсь — он: и опять в совершенно приличном виде. — Нашел работу. — Где, какую? — Как всегда. Я ведь по специальности инженер-электротехник.

Об этом он мне сказал только на третий год знакомства.

Потом я видел его много раз. Он знал мой адрес и время от времени приходил ко мне. Как-то явился ранней осенью и сказал, что ему нужно тридцать франков.

— Можно узнать, почему именно тридцать?

Он посмотрел на меня, выражение глаз у него было такое, точно он смотрел куда то вдали. Потом сказал:

— До зарезу. Букет цветов, обед, комната в гостинице: сегодня вечером из Ниццы приезжает Нина. Вы можете себе это представить: Нина!

— Я не знал, что она приезжает. Простите, а кто такая Нина?

Он покачал головой и ответил:

— Этого вы никогда не поймете. Но без тридцати франков я не уйду.

Потом он вышел, потом опять позвонил и, не переступив порога, сказал:

— Никто так не умел любить, как она.

И бросился бегом вниз по лестнице.

За год до начала войны — давно ушел поезд, в котором Нина уехала из Парижа, — он пришел попрощаться: он уезжал, как он сказал, к «чухне», то-есть, в какое-то балтийское государство, — куда его будто бы пригласили преподавать баллистику в военном училище.

* * *

Ходит по Парижу стариок-калмык, с узкими монгольскими глазами и бесчисленными морщинами на желтом, широком лице. Обращается к прохожим и бормочет:

— Мелочи имеете? Мелочи имеете?

Никто, кроме русских, его, конечно, не понимает, пожимают плечами, считают, вероятно, тихо помешанным. Когда он задает мне свой обычный вопрос: — мелочи имеете? — я спрашиваю: — Почему мелочи? — Крупные не дашь.

Проходит несколько месяцев. Зимой он появляется в чем-то похожем на длинную ватную кофту, точно это и не Париж, а Оренбургская степь. И опять этот виляющий взгляд узких монгольских глаз, и древнее лицо: я сразу вижу перед собой безводные степи, юрту, тень Чингисхана. — Мелочи имеете? мелочи имеете? — Свои несложные фразы он всегда повторяет почему-то два раза.

— Что, стариk, трудно жить? — Трудно, трудно, мелочь надо, кушать надо, мелочь надо, кушать надо. И сквозь это его бормотанье на чужом языке, которое я потом долго вспоминаю, всегда возникает — точно через степные столетия — это древнее желтое лицо. — Читать умеешь? — Кому читать нужно? Кому читать нужно? Жить нужно, читать не нужно.

Действительно, что же ему читать? Зачем?

Проходит несколько лет. Рассказываю одному знакомому о калмыке. Он спрашивает: — А вы знаете, чем он занимался и чем все это кончилось? Не читали в газетах года два тому назад? — Нет. Знаю, что просил милостыню. — Не только это.

И вот оказалось, что калмык давал таким же нищим как он, деньги в рост, под какие-то чудовищные проценты. Был богат и все свое состояние носил с собой, довольно крупную сумму. Какой-то юноша, незадолго до этого выпущенный из тюрьмы, ночью зарезал старика-калмыка и сбежал с его деньгами, но через несколько часов был пойман, снова посажен в тюрьму и позднее гильотинирован.

* * *

В трудные времена, первые послевоенные годы, звонок; отворяю дверь, на пороге высокий, очень пожилой человек. — Разрешите войти? — Пожалуйста. — Он курит папиросу с длинным мундштуком. Когда начинает говорить, у него всё время то съезжают, то поднимаются вверх плохо сделанные вставные зубы какого-то редкого лиловатого цвета. Через некоторое время выясняется, что он ошибся адресом — он думал, что я имею какое-то отношение к благотворительному обществу. — Нет, я никакого отношения к благотворительным организациям не имею. — Но у вас есть знакомства? — Конечно, у кого их нет? — Так вот, дело в следующем. — За этим идет длиннейший рассказ о его жизни. Он бывший присяжный поверенный, что, впрочем, видно по его любви к метафорическому стилю: «в вихре революционных событий», «в огне гражданской войны», «на фоне этой исторической трагедии». Вспоминаю фразу, которую я читал в Воспоминаниях какого-то знаменитого адвоката, что-то вроде этого: «И на мрачном фоне зарождающейся реформы ярко горела персональным факелом индивидуальная совесть молодого помощника присяжного поверенного...» Словом «жизнь прошла». В подтверждение этого он приводит цитату в стихах. Средств никаких. Сын его давно в Америке, но денег не присыпает и на письма не отвечает. Нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Даю адрес благотворительной организации, который случайно знаю. Он благодарит и уходит.

А через несколько месяцев является опять, такой же длинный, с тем же мундштуком, с тем же выражением глаз. — Вы знаете, я всегда любил Ривьеру. Мне надо жить на Ривьере. Климат для меня подходящий, у меня больное сердце, тяжелый груз личных воспоминаний, как у всех, кого волны жестоко трепали в житейском море. Кроме того, боли в желудке, вы сами понимаете. Надо что-то сделать. Необходимо поехать на Ривьеру, там нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Что вы думаете? Как нужно дей-

ствовать? — Не знаю, как вам помочь. — Он вздыхает и говорит:

— Я давно пришел к убеждению, что энергия побеждает в жизни всё. Я всегда надеялся только на свою собственную энергию и вот, смотрите, другой бы на моем месте может быть давно умер, а я жив и у меня даже сын в Америке — а какой с него толк? Ну, простите, что я вас побеспокоил. Я бедный человек, вы знаете, бедный, старый человек и всё что у меня осталось, это немного воспоминаний и немного энергии. Но разве на это можно прожить и поехать на Ривьеру?

Ничего не могу сказать о его воспоминаниях. Но если у него их столько же, сколько энергии, он мог бы написать много томов. Он обходит все благотворительные общества, по многу раз рассказывает свою жизнь, объясняет, что у него боли в желудке, говорит, что он любил Ривьеру еще до первой мировой войны, что ему так мало надо, и в конце концов добивается своего: ему дают деньги на дорогу, на комнату, на жизнь, и он уезжает наконец в Juan les Pins, где поселяется в гостинице. И, прожив там два месяца, скоропостижно умирает.

* * *

37-38 год, опять зима, ночь и то же кафе против монпарнасского вокзала, в котором я бывал много лет подряд и где знал всех, начиная с хохляки и гарсонов и кончая посетителями, очень малопочтеными: сутенеры, проститутки, воры. Время от времени перед кафе останавливаются полицейские машины. Это — облава: обычно в несколько минут забирают почти всех. И потом в кафе остаются четверо: хохляка, гарсон, мой собеседник, которого я описал в книге «Ночные дороги» под именем Платона, и я. А на следующую ночь кафе опять полно, — отпущенные посетители возвращаются.

И вот, раза два в неделю в кафе ночью приходит небольшой человек лет тридцати, с неизменно грустными глазами, хмуро глядящими из-под кепки. У него покатые плечи и уди-

вительные руки, руки музыканта или гравера. Приходит он всегда в перчатках и только потом их снимает. Мы знаем друг друга уже несколько лет. Разговорчивостью он не отличается — здравствуй, как поживаешь? как дела? Пьет, в отличие от других, не коньяк, не вино, а пиво. Зовут его Дэдэ.

Как-то раз, я спросил его:

— Почему ты всегда такой грустный?

Я?

— Ты.

— Я? Грустный? Если бы ты занимался моим ремеслом, тоже был бы грустный.

— А какое твое ремесло?

Он смотрит на меня недоверчиво. — Хочешь сказать, что не знаешь?

— Понятия не имею.

— Смеешься?

Мне удается его убедить, что я действительно не знаю каким ремеслом он занимается.

— Тебе повезло с работой, — говорит он, — а моя — хуже не бывает.

И он объясняет мне, что по специальности он взломщик несгораемых шкафов.

— Выгодное дело, — говорю я.

Он начинает сердиться.

— Выгодное дело! Не говори о том, чего не знаешь. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты этим занимался. Попробуй, и увидишь выгоду.

— Хорошо, — говорю я, — предположим, ты вскрыл, скажем, где-то там шкаф. В нем на миллион драгоценностей. Сколько ты на этом заработаешь?

А сколько ты думаешь?

— Не знаю, тысяч шестьсот, пятьсот?

Он качает головой. Ему жаль меня, моего невежества. И он насмешливо спрашивает, верю ли я в деда мороза?

— Почему? Меньше половины?

— А восемьдесят тысяч не хочешь? Да-да, восемьдесят тысяч. Ты не понимаешь, не понесу же я товар (все, что он достает из вскрытых несгораемых шкафов он называет товаром) на *rue de la Paix*? Тогда лучше прямо в тюрьму. Значит, надо нести к скупщику. А он что говорит? Это товар непродажный, я у тебя его возьму только по дружбе, потому что у меня доброе сердце, и я знаю, ты хороший парень, и не забудь на какой риск я иду...

Дэдэ смотрит на меня сердито и говорит с упреком:

— А работа, это ты не считаешь? А инструменты? а расходы? а время на подготовку дела? А ты спрашиваешь, почему я грустный.

И потом, посасывая холодное пиво, он говорит нравоучительно:

— Так-то, брат, устроена жизнь. Одним везет, другим нет. Есть люди, которым суждено быть счастливыми, а есть такие, как я. От работы я не отказываюсь, никто не скажет, что я лентяй. Но есть люди, у которых всегда много денег и которые никогда не работают, а есть, как я, которые всегда работают и всегда в дураках.

Он говорит на непереводимом французском языке, смесь простонародного говора с арго. «Total — j'suis toujours choco-colat».

— Теперь понимаешь, почему я грустный?

Потом он куда-то исчез, и появился только года через два — пришел ночью в кафе. Та же кепка, те же хмурые глаза.

— Как дела, Дэдэ?

— Плохо, — говорит. Только недавно на свободе.

Он говорит это иначе, но это непереводимо:

— Il n'y a pas longtemps que j'suis *dehors*.

Я знаю язык, на котором он говорит, я знаю мир, в котором он живет, печальный, убогий, преступный. Я знаю много, чего он не знает и что отделяет меня от него. Но я знаю его жизнь: родители — алкоголики, восемь человек детей в одной комнате, мрачный и нищий квартал Парижа, голод, вонь, потом — приют для малолетних преступников — вот биография Дэдэ.

— Теперь ты понимаешь почему я грустный?

Гайто Газданов

**
*

Так взлетает по стеклу оса,
И звения скользит, скользя взлетает, —
Но стекло заклятое не тает,
Но стоит запрета полоса.

Вверх и вниз, как в безысходном сне,
Нетерпенье звоном выдыхая,
Чтобы стать, — легчая, высыхая, —
Летним сором на чужом окне.

**
*

Слоятся дыма голубые складки.
Опал костер. Мерцает рыхлый жар.
Но подметенных листьев отпечатки
Еще хранит осенний тротуар.

Сгорело все, что эта жизнь дала мне.
Подметено. И пепел сер и чист.
И лишь стихов прозрачный след — на камне
Запечатленный лист.

**

Мальчик бросил камень в пруд.
По воде круги идут:

Кольца зыби золотой
На воде его густой.

Кто о камне пожалел?
Камню — каменный удел.

Пусть лежит себе на дне
В беспощадной тишине.

**

Собирать слова, как в поле маки,
Что зовут и тех, кто не искал?
Нет, в подводном пробираясь мраке,
Отдирать, как ракушки от скал,

Чтобы в окровавленных ладонях,
Задыхаясь, вынести на свет:
Даже если их никто не тронет,
Даже если в них жемчужин нет.

Лидия Алексеева

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

..... *На берегах Невы
Несется ветер разрушеньем вея.*

Георгий Иванов

I

Как это ни странно меня «открыл» не мой учитель Гумилев, а Георгий Иванов. Произошло это, такое важное в моей жизни событие, 30-го апреля 1920 года.

Гумилев за несколько дней сообщил мне, что у него в будущую субботу в 7 часов вечера прием в честь, приехавшего из Москвы, Андрея Белого. С «поэтическим смотром». Выступят Оцуп, Рождественский и я.

И Оцуп и Рождественский, хотя и молодые, но настоящие поэты. Я же только — студистка. Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно.

В субботу я прихожу к Гумилеву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь. Оба, как и я, взволнованные.

«Смотр» почему-то происходил не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула — для нас. На пороге столовой — два кресла — для Гумилева и Белого.

Гумилев распоряжается, как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп.

— Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем.

И мы репетируем стихи по выбору Гумилева.

— Громче. Отчетливее, — говорит Гумилев. — Не смотрите ни на потолок, ни себе под ноги. Держитесь прямо. Голову выше.

Я чувствую себя на сцене. Мной овладевает актерский трак. Мое волнение все растет.

Напряженное ожидание. Наконец раздается стук в кухонную дверь.

— Андрей Белый прибыл! — громко объявляет Гумилев.

Прибыл. В дворцовой карете с ливрейными лакеями или, по крайней мере, в сверкающем, длинном Бенце, а не пришел пешком.

Гумилев спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу.

Мы все трое, как по команде, встаем.

Об Андрее Белом ходит столько легенд, что для меня он сам превратился в легенду. Мне не совсем верится, что он сейчас действительно появится здесь.

В Студии рассказывают, что он похож на ангела. Волосы его, как золотое сиянье. Глаза — в мире нет подобных глаз. В него все влюблены. Нельзя не влюбиться в него. — Вот увидите сами! Он — гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступают ему дорогу. В Москве, задолго до войны, все превозносили его. Но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнах, строил «Гетеанум». С доктором Штейнером.

Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.

Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги.

Гумилев весь какой-то особенно чопорный и накрахмаленный с церемонным поклоном пропускает перед собой... Но разве это Андрей Белый? Не может быть!

Маленький. Худой. Седые, легкие как пух локоны до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину.

Морщинистое, бледное лицо. И большие, светло-голубые сияющие, сверкающие, безумные глаза.

— Борис Николаевич, — голос Гумилева звучит особенно торжественно, — позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.

Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются.

Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.

— Так это вы, Оцуп? Я слыхал. Я читал. Оцуп! Как-же! Как-же... — И не докончив фразы бросается к Рождественскому.

— Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног — Рождественский. Я так рад.

Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом.

— А это — моя ученица.

Без фамилии. Без имени.

Сияющие безумные глаза останавливаются на мне.

— Вы — ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей!

Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.

Он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Кажется, что их слишком много.

Он весь движение — руки простерты, как крылья для полета, острые колени согнуты, будто готовы пуститься в присядку и вдруг он неожиданно застывает в какой-то напряженной исступленной неподвижности.

Гумилев пододвигает ему кресло.

— А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов.

Белый кивает несколько раз.

— Стихи? Да, да. Непременно стихи.

Он садится, вытягивает шею, поворачивает ее в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание.

Первым, как было условлено читает Оцуп. Очень хорошо читает. Спокойно. Внятно. Уверенно.

Элегия

О, жизнь моя. Под говорливым кленом
И солнцем проливным и легким небосклоном
Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь...
Быть может, ты сейчас, как облако растаешь...

и, кончив, сразу начинает второе.

Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить:

— Я был уверен... Я ждал... И все-же я удивлен — лучше, еще лучше, чем я думал...

Но я не слушаю. Я зажмурившись повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.

Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.

— Теперь вы.

Я встаю — мы все всегда читали стихи стоя — и сейчас же начинаю.

Всегда, всему я здесь была чужая
Уж вечность без меня жила земля...

Прочитав первое стихотворение я делаю паузу и перевожу дух.

Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения.

Он снова весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:

— Инструментовка... Аллитерация... Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всегда всему я» Ведь это а-у-я. А-у-я! И вдруг подняв к потолку руку уже поет: — А-у-я! Аллилуйя! Он поворачивает к Гумилеву бледное восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза. — Как она могла? Сразу же, без подготовки. В первой же строчке — Аллилуйя! Осанна Вышнему! Осанна Учителю!

Я слушаю. Казалось-бы я должна испытывать радость от этих похвал. Но нет. Мне по прежнему неловко. Мне от этих аллилуй и осанн стыдно — за себя, за него, за Гумилева. Не надо. Не надо...

Ведь я чувствую, он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку.

Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли он видит меня. Я для него просто не существую. Как впрочем и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть: Аллилуйя! Осанна Андрею Белому!

Торжественно-официальный голос Гумилева:

— Читайте еще!

И я читаю «Птицу». И дочитав, покорно жду.

Но видно Белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что Белый о «Птице» ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому.

Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить нараспев прелестное, — всех, даже Луначарского восхищавшее стихотворение:

Что о-ни с то-бою сде-ла-ли
Бедная мо-я Мос-ква!

Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком.

Новый взрыв восторга Белого. И я опять понимаю, что он не слушал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами.

— Замечательно находчиво! Это они — они. О-ни! О — эллипсис. О — дыра. Дыра — отсутствие содержания. Дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности. О — ноль! Ноль — моль. Моль съедает драгоценные меха — царственный горностай, соболь, бобер. — И вдруг понизив голос до шепота. — У меня у самого котиковая молью травленная шапка, там на кухне осталась. И сердце тоже, тоже травленное!..

Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое:

Это Лондон, лэди. Узнаете?

Но можно-ли прервать словесный каскад Белого? Гумилев незаметно качает головой и Рождественский, вздохнув, снова занимает свое место.

А Белый, разбрасывая фонтаном брызги и блестки, поднимается в доступные ему одному, заоблачные высоты.

— Мое бедное сердце травленное молью! А ведь сердце — лев. И значит — травленный молью котик на голове и травленный молью лев в груди. — Всплеск рук — *Un lion mité!* И я сам — *un lion mité*. Ужас! Ужас! Но ведь у меня, как у каждого человека, не только сердце, но и печень, желудок, легкие. Печень — волк, желудок — пантера, легкие — лебедь, раскинувший легко крылья, двукрылый лебедь. Мое тело — лес где все они живут. Я чувствую их в себе. Они все еще здоровые, только вот сердце — лев, бедный лев, бедный *lion mité*. Они загрызут его. Я боюсь за него. Очень боюсь! — неожиданно перебивает он себя. — А вы Николай Степанович тоже чувствуете их в себе?

Гумилев совершенно серьезно соглашается.

Конечно. Часто чувствую. Особенно в полнолуние ночи.

И Гумилев начинает выкладывать какие-то обрывки схоластических познаний о соотношении органов человеческого тела с зверьми и птицами, согласно утверждениям оккультистов.

— Гусь, например.

Белый болезненно морщится и вежливо поправляет: — Не совсем так. Нет, совсем не так. Гусь тут не при чем. Гусь, тот сыграл свою роль при сотворении мира в древне-египетском мифе. Помните? В начале был только остров в океане. На острове четыре лягушки. И четыре змеи. И яйцо. — Белый привстает, простирает руки вперед, на мгновение он застывает, кажется что он висит в воздухе. Лицо его перекаивается. Он почти кричит. — Яйцо лопнуло! Лопнуло! Из яйца вылупился большой гусь. Гусь полетел прямо в небо и... — он весь съеживается, прижимает руки к груди. — Гусь стал солнцем! Солнцем! — Он с минуту молчит, закрыв глаза, будто ослепленный гусем-солнцем! Потом поворачивается к Гумилеву и внимательно пристально смотрит на него, как-бы изучая его лицо.

— Если человек похож на гуся, вот, скажем, как вы, Николай Степанович, это значит, что он отмечен Солнцем. Символом солнца!

Гумилев улыбается смущенно и в то же время гордо. Ему приятно быть отмеченным солнцем. Хотя сходство с гусем скорее обидно. Но он не спорит.

Я смотрю на Белого. Кого он мне напоминает? И вдруг вспоминаю — профессора Тинтэ из сказки Гофмана «Золотой Горшок».

Как я сразу не догадалась? Ведь Белый вылитый профессор Тинтэ, превращавшийся в большую, черную жужжащую муху. Меня бы не очень удивило, если-бы Белый вдруг зажужжал черной мухой под потолком.

Гумилев встает.

— А теперь Борис Николаевич, пожалуйте чай пить. — Полукивок в сторону наших стульев. — И вы, господа.

Как будто без этого пригласительного полукивка нас троих могли оставить в прихожей, как зонтик или калоши.

В столовой на столе покрытом белой скатертью чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухарики и ярко-начищенный клокочущий самовар. Полный парад.

Обыкновенно Гумилев пьет чай прямо на пестрой изрезанной kleenке, из помятого аллюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз. Я впервые присутствую на приеме у Гумилева.

Мы рассаживаемся в том-же порядке — с одной стороны стола Оцуп, я и Рождественский, с другой Белый и Гумилев у самовара.

Я очень боялась, что Гумилев заставит меня разливать чай. Но нет. Он сам занялся этим.

Белый вскакивает, подбегает к самовару, смотрится в него, как в зеркало, строя гримасы.

— Самовар! — блаженно вздыхает он. — Настоящий томпаковый, пузатый! С детства люблю глядеться в него — так чудовищно и волшебно. Не узнаешь себя. А вдруг я действительно такой урод и все другие видят меня таким и только я не знаю? — и оторвавшись от самовара, вернувшись на свое место. — С детства страстно люблю чай. Горячий. Сладкий-пресладкий. И еще с вареньем.

Он накладывает себе в чашку варенья, сухарики хрустят на его зубах. Он жмурится от удовольствия. От удовольствия? Или от желания показать, какое невероятное удовольствие он сейчас испытывает?

— Ведь я в Москве — глаза его ширятся, становятся пустыми — почти голодаю. Нет, не почти, а просто голодаю. Хвосты! Всюду хвосты! Но я не умею стоять в хвостах. Я не могу хвоститься. Я — писатель. Я должен писать. Мне некогда писать. И негде — с ужасом — Негде! У меня ведь нет комнаты. Только темная, тесная, грязная каморка. И за стеной слева пронзительное з-з-з-з! — пила, а справа трах, трах, трах! — топор. Дуэт, перекличка через мою голову, через мой мозг

— пилы и топора. Мозг мой пилят и рубят. А я должен писать!

Гумилев пододвигает Белому изюм.

— Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена.

Белый отталкивает вазочку с изюмом.

— Трудные? Нет, нет. Совсем не трудные! — вскрикивает он. — Трудные времена благословенны. Времена полные труда. Я хочу трудиться, а мне не дают, — как самовар шумит и клокочет Белый. — Поймите, мне не дают. Скажите, что мне делать? Что? Что мне делать, Николай Степанович?

Гумилев недоумевающе и скорбно разводит руками.

— Право, Борис Николаевич...

И вдруг, как бы в ответ раздается дробный стук в кухонную дверь. Лицо Гумилева сразу светлеет. — Это Георгий Иванов, — говорит он с облегчением.

Гумилев встает. Без официальной церемонности. С гостеприимной улыбкой. Два шага навстречу уже входящему Георгию Иванову.

— Как хорошо, что ты пришел Жоржик! Я уже боялся, что ты за обедом у Башкирова забудешь о нас.

Да, хорошо, очень хорошо, что Георгий Иванов в тот вечер не остался у Башкирова. Не столько для Гумилева, как для меня. Если бы в тот вечер... Но не стоит гадать о том, что было бы если бы не было...

Георгий Иванов здоровается с Белым и Белый уже сияющий восторгом встречи рассыпается радостными восклицаниями: — Как я рад! Так страшно давно... Наконец-то!

Отулыбавшись и сказав несколько приветственных слов Белому, Георгий Иванов кивает Оцупу: — Здравствуй, Авдей!

Авдей — это удивляет меня. Ведь Оцупа зовут Николай. Николай Авдеевич.

Я молча подаю руку Георгию Иванову. В первый раз в жизни. Нет. Без всякого предчувствия.

Георгия Иванова я уже видела на улице, возвращаясь с Гумилевым из Студии и в самой Студии, где он, изредка, мимо-летно появлялся.

Он высокий и тонкий, матово-бледный с удивительно-красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И... черная челка до самых бровей. Эту челку, как мне рассказал Гумилев, придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По моему — хотя Гумилев и не согласился со мной — очень неудачно придумал.

Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по «трудным временам». Темно синий, прекрасно скроенный костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизной. Недавно маленькая девочка из нашего дома сказала про свое плохо выстиранное платьице — оно темно-белое, а мне хочется светло-белое!

У Георгия Иванова и рубашка и манжеты и выглядывающий из кармана носовой платок, как раз светло-белые. У Гумилева все это темно-белое. У Рождественского — темно-белое.

На Оцуле ловко сидящий френч без признаков какой-быто ни было белизны и ловкие ярко-желтые высокие сапоги, вызывающие зависть не только поэтов.

Белый же весь, начиная со своих волос и своего псевдонима — Белый, сияюще-, а не только светло-белый. Впрочем, рубашка на нем защитного цвета. Но она не защищает его от природной белизны.

Георгий Иванов садится напротив меня, но я отвожу глаза, не решаясь смотреть на него. Я знаю от Гумилева, что он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали «общественное мнение». — Вам непременно надо будет постараться понравиться ему. Для вас это, помните, очень важно, настаивал Гумилев.

Георгий Иванов весело рассказывал, что он только что обедал у Башкирова, у поэта Башкирова-Верина. И тот прочел ему свои стихи, за супом.

... И я воскликнул, как в бреду:
Моя любовь к тебе возмездие,
Бежим скорее на звезду!..

— Я посвятил эти стихи одной восхитительной баронессе, — вдохновенно объявил Башкиров-Верин. — С ней действительно хочется подняться к звездам. — А подававшая пирог курносая девчонка-горничная громко фыркнула. — Полно врать, Борис Николаевич. Какая там еще баронесса. Ведь вы это мне написали!

Все смеются. Белый особенно заливчato и звонко — Полно врать Борис Николаевич! повторяет он. — Это и мне часто следует говорить. Как правильно! Как мудро! Ах, если бы у меня была такая курносая девчонка-горничная! — И уже совсем другим тоном, грустно и серьезно — Ведь я вру. Я постоянно вру. Не только другим. Но и себе. И это страшно. Очень страшно.

Снова тягостное молчание. Всем неловко. Гумилев старается спасти положение.

— Ты опоздал Жоржик. Мы здесь с Борисом Николаевичем слушали без тебя стихи, — и как утопающий хватается за соломинку — Может быть послушаем еще?

Георгию Иванову, повидимому, не очень хочется слушать стихи. Но он соглашается:

— Отлично. С удовольствием. Стихи Николая Авдеевича и Всеволода Александровича я впрочем и сам могу наизусть прочитать. А вот твою ученицу, — он кивает мне, улыбаясь, — еще ни разу слышать не пришлось.

Я холодаю от страха. Неужели же мне еще придется читать?

— Прочтите что-нибудь, — говорит Гумилев.

Но я решительно не знаю, что. Я растерянно моргаю. И ничего не могу вспомнить.

Гумилев недоволен. Он стучит папиросой по крышке своего черепахового портсигара. Он терпеть не может, когда поэты ломаются.

— У вас же так много стихов. Какое-нибудь. Все равно какое.

Но я продолжаю молчать.

— Ну, хотя бы, — уже раздраженно говорит он — хотя бы эту вашу «Балладу о Толченом Стекле».

Балладу? Неужели он хочет, чтобы я прочла ее? Ведь я написала ее еще в октябре. Я была уверена, что мне наконец удалось сочинить что-то стоящее, что-то свое. Я принесла ее ему чисто переписанной. Но Гумилев прочитав ее нахмурился:

— Что-ж? Очень хорошо. Только сейчас никому ненужно. Никому не понравится. Большие, эпические вещи сейчас ни к чему. Больше семи строф современный читатель не воспринимает. Сейчас нужна лирика и только лирика. А жаль — ваша баллада совсем недурна. И оригинальна. Давайте ее сюда. Уложим ее в братскую могилу неудачников. — И он спрятал мою балладу в толстую папку своих забракованных им стихов. Это было в октябре. И с тех пор он ни разу не вспоминал о ней.

— Если не помните наизусть я принесу вам рукопись, — предлагаёт он.

— Нет, я помню.

И я не задумываясь начинаю решительно:

Баллада о Толченом Стекле

Солдат пришел к себе домой
Считает барыши...

Я произношу громко и отчетливо каждое слово. Я так переволновалась, не зная какие стихи прочесть, что сейчас чувствую себя почти спокойно.

Гумилев слушает с благодушно-снисходительной улыбкой. И значит все в порядке.

... Настала ночь. Взошла луна
Солдат ложится спать.
Как гроб тверда и холодна
Двухспальная кровать...

Гумилев продолжает все так же благодушно-снисходительно улыбаться и я решаюсь взглянуть на Георгия Иванова.

Он тоже слушает. Но совсем иначе. Без снисходительной улыбки. Он смотрит на меня во все глаза с острым, даже каким-то колючим любопытством. — Наверно, хочет разглядеть и запомнить «ученицу Гумилева» во всех подробностях. И завтра же начнет высмеивать мой бант, мои веснушки, мою карватость и, главное, мою злосчастную балладу, моих семь ворон. Зачем только Гумилев заставил меня читать их? Ведь он сам предупреждал меня: — Бойтесь попасть на зубок Георгию Иванову — съест! И вот сам отдал меня на съедение ему.

Мне становится страшно. Я с трудом, дрожащим голосом:

И семь ворон подняли труп
И положили в гроб.

Георгий Иванов резко наклоняется ко мне через стол.

— Это вы написали? Действительно вы? Вы сами?

Что за нелепый, что за издевательский вопрос.

— Конечно, я. И, конечно, сама, — обиженно отвечаю я.

— Правда, вы? — Не унимается он. — Мне, простите, не верится, глядя на вас.

Теперь не только он, но и Оцуп и Рождественский с любопытством уставляются на меня. У Гумилева недоумевающий, даже слегка растерянный вид. Наверно ему стыдно за меня.

Я чувствую, что краснею. От смущения, от обиды. Мне хочется встать, убежать, провалиться сквозь пол, выброситься в окно. Но я продолжаю сидеть. И слушать.

— Это замечательно, — неожиданно заявляет Георгий Иванов. — Вы даже не понимаете до чего замечательно. Когда вы это написали?

Отвечать мне не приходится. За меня отвечает Гумилев.

— Еще в начале октября. Когда я — помнишь — в Бежецк ездил. Только чего ты, Жоржик, так горячишься?

Георгий Иванов накидывается на него.

— Как чего? Почему ты так долго молчал, так долго скрывал? Это то что сейчас нужно — современная баллада! Какое широкое эпическое дыхание, как все просто и точно...

Георгий Иванов — о чем я узнала много позже — был великим открывателем молодых талантов. Делал он это с совершенно не свойственной ему страстью и увлечением. И даже с пристрастием и преувеличением. Но сейчас его странное поведение окончательно сбивает меня с толку. Он продолжает расхваливать мою «современную балладу».

— Современной балладе принадлежит огромная будущность. Вот увидите, — предсказывает он. — Вся эта смесь будничной повседневности с мистикой...

Но тут Белый — ему, повидимому, давно надоело молчать и ему, конечно, нет никакого дела до моей баллады — не выдерживает:

— Мистика, — подхватывает он. — Символика ворон. Так и слышишь в каждой строфе зловещее карканье. Кра-кра-кра! Но египетский Бог Солнца Ра...

— В особенности в таком картавом исполнении, — насмешливо бросает Георгий Иванов.

— Бог Солнца Ра, — не слушая продолжает Белый с увлечением.

От смущения я плохо понимаю. Но слава Богу! Слава Солнечному Богу Ра, я уже не в центре общего любопытства.

Разговор, вернее монолог Белого, прерываемый остротами Георгия Иванова, течет пенящимся горным ручьем.

Чаепитие окончено. Все встают и переходят в кабинет.

Я незаметно выскользываю на кухню. Гумилев нагоняет меня в ней.

— Неужели вы уже уходите? Можете уйти?

— Меня ждут дома. Я обещала.

Он помогает мне надеть пальто.

— Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, что произошло. Признаюсь, я не думал, что это случится так скоро. Запомните дату сегодняшнего дня — 30-ое апреля 1920 года. Я ошибся. Но я от души поздравляю вас.

Поздравляет? с чем? Я не спрашиваю. Я подаю ему руку.

— Спасибо, Николай Степанович. Спокойной ночи.

— Счастливой ночи, — говорит он.

И я выхожу на лестницу.

II

Весна 1921-го года. Последняя весна жизни Гумилева. Помню, Гумилев говорил:

— Никогда еще не было такой волшебной весны. Никогда Петербург не был еще так прекрасен. И никогда еще я не был так счастлив.

— Тыфу, тыфу, чтоб не сглазить! Сухо дерево! — перевивает Георгий Иванов.

— Брось, Жоржик! Ты еще суевернее меня. — Гумилев пожимает плечами. — Я сейчас совершенно убежден в своей удаче. В удаче во всем. Мне даже в карты стало чертовски везти, а раньше я всё проигрывался. Я достиг полноты сил, полноты таланта. Я сейчас на полдороге странствия земного. В кульмиационной его точке. Я так и хочу назвать мой сборник стихов: На середине странствия земного, — как у Данте. Впрочем, я еще не решил. Но такой весны всё-таки никогда ие было.

Да, я согласна. Никогда еще не было такой волшебной весны. И никогда ие только Гумилев, ио и я, и Георгий Иваинов

— не были так счастливы. И, конечно, нам всем во всем неслыханно везет. И всегда во всем будет везти. А как же иначе?

Мы втроем — Гумилев, Георгий Иванов и я — возвращаемся из «Звучащей Раковины». Сначала Гумилев читал лекцию и вся «Звучащая Раковина» чинно и благоговейно слушала своего метра. Потом читали и разбирали стихи. Потом, как почти всегда, стали играть в театр. В новый род театра для себя, по определению Гумилева. Театр без зрителей, с одними актерами и только для актеров. Гумилев тут же придумывает пьесы, и все с увлечением их разыгрывают.

Сегодня было особенно весело и шумно. Хохотали так, что не могли подавать реплик. Один Гумилев сохранял завидное самообладание, на зависть мне. Впрочем, ему и не приходилось по роли говорить — он изображал мустанга в прерии: брыкался, скакал и ржал, стараясь не дать ковбоям набросить на себя лассо.

Мы спускаемся по Бассейной. Они оба идут меня провожать. Расстоянием мы в те дни не стеснялись. Гумилев живет в «Доме искусств» на Мойке, Георгий Иванов — на Петербургской Стороне. Но разве это далеко? По дороге мы заходим в «Дом литераторов». Снаружи обыкновенный особнячек. Но за ним зеленый запущенный сад. Чудный, душистый, совсем деревенский сад. Мы садимся на скамейку под липой. Гумилев улыбается. Он очень доволен. Георгий Иванов хвалит его манеру обращаться с учениками.

— Как это ты сумел, Николай Степанович? Ты не только их учитель и друг. Они просто влюблены в тебя.

Гумилев кивает:

— Да, теперь я, наконец, нашел правильную манеру. Играя с ними, я приношу им не меньше пользы, чем лекциями. Поэт непременно должен уметь радоваться и веселиться. Веселье и радость вдохновляют. Я же сам писал:

Пленительно поет печаль,
Но радость говорит чудесней.

Вот я и стараюсь дать им побольше этого чудесного разговора. Ведь печали у них и так достаточно.

Он задумывается на минуту, вынимает из кармана свой большой черепаховый портсигар и закуривает папиросу.

— А до чего я вначале не умел обращаться со своими учениками! До чего я был резок и даже бесчеловечен. Оттого-то я и был тогда так непопулярен. Сейчас у меня много способных учеников. Я их сам создаю сочувствием и поощрением. А прежде резал их, как армянин барашка. Чик — голова долой! Как им было не ненавидеть меня?

— Неужели ты их действительно — чик! голова долой? Как не похоже на тебя. И как забавно.

Георгий Иванов смеется, но мне совсем не смешно. Мне — на минуту — становится очень грустно, очень больно. Ведь и меня Гумилев чуть было чик! голова долой, чуть не зарезал, как барашка. И чудо, что не зарезал. Это было давно — больше двух лет тому назад. Два года — огромный срок в молодости. К тому же эти два года, с хвостиком, были совсем особенные, до неузнаваемости изменившие и меня и мою жизнь. Да и была ли у меня какая-нибудь жизнь, то, что можно считать жизнью, до поступления в «Живое Слово»?

Январь 1919-го года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело. В «Живом Слове», обосновавшемся на Знаменской в бывшем Павловском институте, под руководством Всеволодского-Гернгросса, лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял Ораторское отделение, но гостеприимно приглашал всех на свои лекции и практические занятия.

Я поступила, конечно, на Литературное отделение — к Гумилеву. Но до сих пор занималась всем, чем угодно, кроме литературы: слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского и делала ритмическую гимнастику. Гумилев, со времени своей лекции, еще перед Рождеством, в Тенишевском училище ни разу не показывался.

И как я его ждала! — в «Живом Слове». Не мог решиться, как я от него узнала.

Независимо от отделения, на которое они поступили, всем слушателям ставили голос и всех учили театральной дикции актеры Александринского театра — Железнова, Студенцов и, главное, Всеволодский. Я благодаря своей кардинальности попала в дефективную группу к «великому исправителю речевых недостатков» актеру Берлину. Он при первом же знакомстве со мной, желая, должно быть, заставить меня энергичнее взяться за работу, заявил мне:

— Посмотреть на вас, пока молчите — да, конечно... А как заговорите, вы просто для меня горбунья, хромоножка. Одним словом — уродка. Но не впадайте в отчаяние. Я помогу вам. Я переделаю вас. Обещаю. Я вами специально займусь.

Обещание свое ему выполнить не удалось. Я так на всю жизнь и осталась «горбуньей, хромоножкой, одним словом — уродкой». Впрочем, скорее по своей, чем по его вине. К «исправительным упражнениям» я относилась без должной настойчивости и не соглашалась сто раз подряд выкрикивать звонко: де-же-те-де, де-те-же-де-раа-рак, рыба, роза-ра! — в то время, как рядом со мной другие «дефективники» по-зменному шипели: ш-ш-ш-шило-шут! Или распевали: ло-ло-ло-ла-лу-лук-луиа-ложь!

Я, к огорчению махнувшего на меня рукой Берлина, ограничилась только постановкой голоса, скандируя гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит велелепиый». Но и тут не вполне преуспела. Что, кстати, меня нисколько не печалило. Ведь я не собиралась стать актрисой. Я хотела быть поэтом. И только поэтом. Ничто, кроме поэзии, меня серьезно не интересовало.

Мы — слушатели «Живого Слова», живословцы — успели за это время не только перезнакомиться, но и передружиться. Я же успела даже обзавестись «толпой поклонников и поклонниц» и стала считаться первой поэтессой «Живого

Слова». Первой и единственной. Кроме меня, было несколько поэтов, но ни одной «поэтессы».

Самый заметный из поэтов, Тимофеев, жил в одном доме со мной на Бассейной 60 и, возвращаясь со мной домой, поворял мне свои мечты и надежды, как брату, вернее, сестре-поэту.

Он был так глубоко убежден в своей гениальности, что нашел необходимым оповестить о ней великолепными ямбами не только современников, но и потомков:

— Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву —
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу!

И пусть на хартии вековой
Имен народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой,
Начертан будет Тимофеев!

На «хартии вековой» начертать Тимофеев ему, конечно, не удалось. Всё же такой грандиозный напор не мог пропасть совсем даром. Это он, много лет спустя, сочинил знаменитые «Бублички», под которые танцевали фокстрот во всех странах цивилизованного мира:

Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички
Ко мне скорей!
И в ночь ненастную
Меня несчастную,
Торговку частную
Ты пожалей.

Отец мой пьяница,
Он этим чванится,
Ко гробу тянятся
И всё же пьет!

А мать гулящая,
Сестра пропаща,
А я курящая —
Смотрите — вот!

«Бублички» действительно — и вполне справедливо — прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лирика его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музы именно императрицу Феодору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Эфрана, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом.

Понятно, мои «кружевые» стихи пользовались у слушателей и, в особенности, у слушательниц несравненно большим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Верны Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:

Дама с тонким профилем ноги
Выломала жемчуг из серьги...

и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:

Я сегодня не я. Я сегодня маркиза.
Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.

Все они чувствовали себя маркизами, капризио повторяя:

И мне хочется крикнуть тебе — осторожно!
Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!

Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои «поклонницы» пришли в волнение.

Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант — я. Было решено удивить, огородить его, заставить его пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец, выбор пал на «Мирамарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки:

Мирамарские таверны,
Где гитаны пляшут по ночам...

или:

Воздух душен и пьянящ.
Я надену черное сомбреро,
Я надену красный плащ...

Эти «Таверны», калиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих «поклонников» будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.

В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.

— Я поражен, — скажет он. — Эти стихи настоящего, большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.

И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.

— Поздравляю вас.

И все зааплодируют.

В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петrarки на Форуме — всё же в миниатюре. Я не сомневалась,

что всё произойдет именно так. Или почти именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается всё, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?

В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бантик в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было. Дома, как и в «Живом Слове», все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, как и там, никто не сомневался в нем.

Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит «автора этих прекрасных стихов» выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.

На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту, не то, что на первую лекцию. «Живое Слово» очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто-медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, свой пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опервшись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.

Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.

Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя, в главных чертах, содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи.

Лица слушателей вытянулись. Оставалось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев всё говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону. — Не пора ли заняться этим? — и указывает своим непомерно длинным, похожим на бамбуковую палочку, указательным пальцем на листы со стихами. — Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?

Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои «Таверны»!

Гумилев в раздумья раскладывает листы веером.

— Начнем с первого, заявляет он. — Конечно, он не спроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?

Он подносит лист с «Мирамарскими Тавернами» к самым глазам.

— Печерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.

Я чувствую, что холдею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец, он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски:

— Так, — произносит он протяжно. — Так! Подражание Кузьмы Прутковскому «Желанию быть испанцем». Тореадор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!

Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, — язвительно, как мне кажется, даже кровожадно. В ответ — робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает:

— До чего красиво! До чего картинно!

Я надену черное сомбреро,
Я надену красный плащ...

— Но, может быть, автор настоящий испанец?

Теперь уже громко смеются. Смеются почти все. Не удивленно, а предательски. Неужели у меня хватит сил вынести эту пытку? Неужели я не провалюсь сквозь пол, не разорвусь на куски? Не упаду в обморок? Нет, сил, как всегда, больше, чем думаешь. И я продолжаю слушать. Гумилев отодвигает рукав пиджака и смотрит на свои большие никелированные часы.

— К сожалению, время в Испании летит стрелой, — говорит он с комическим вздохом. — Приходится спешно покинуть гитан и гидалго. Аривидерче! Буано noche! Или как это у вас, испанцев! — Он прищелкивает пальцами: — Олэ! Олэ! До следующей корриды!

Теперь хоочут все. До слез. До колик. — Олэ! Олэ! — несется отовсюду. Гумилев с презрением отбрасывает мой листок и вынимает новый из середины стопки.

— Посмотрим, что тут такое?

Я сквозь шум в ушах слышу:

Осенний ветр шумит в дубах,
Дубы шуршат, дубы вздыхают...

Пять очень медленно прочитанных строф. И я их все выслушаю.

— Что же? Довольно грамотно, — произносит Гумилев будто с сожалением. — Только скучное о скучном. И хотя и шуршащие, но дубовые стихи. — И он начинает критиковать их. Снова смеются. Но — или это мне только кажется — не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало:

— Скука убивает поэзию. А остальное разберем, если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит — в следующий раз.

Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыжеинькой с бантом».

Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев ни разу не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня — как барашка. Чик! Голова долой! — свою лучшую ученицу. Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.

Я научилась смотреть на себя, ту прежнюю, —

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

Разве это была я? И всё-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как я в тот снежный вечер возвращалась домой.

Ирина Одоевцева

ИЗ ЭМИЛИ ДИКИНСОН

RECUERDO

EDNA ST. VINCENT MILLAY

Мы очень устали, мы много смеялись,
Мы целую ночь на пароме катались.
Там пахло конюшней, нам было тепло,
В огонь мы смотрели, горевший светло,
Лежали на горке у лунной реки;
Заря приближалась, гудели гудки.

Мы очень устали, мы много смеялись, —
Мы целую ночь на пароме катались.
А небо бледнело, неслись облака...
Из груш, что купили мы где-то с лотка,
Я съела одну, а ты яблоко грыз,
И солнце нас облило золотом брызг.

Мы очень устали, мы много смеялись, —
Мы целую ночь на пароме катались.
Мы кликнули «Матушка!» старенькой шали,
Газету купили — ее не читали;
За яблоки, груши в бумажном мешке
Нам счастье сулила старушка в платке,
И всё, что осталось у нас в кошельке,
Мы отдали ей, кроме мелких монет —
Мне и тебе на трамвайный билет.

Перевела Гизелла Лахман

ВОРОН*

1

Улицы Нью Йорка — еще сравнительно молодого города — не отличаются богатством исторических памятников; вернее, они есть, но темп жизни этого грандиознейшего города таков, что исторические памятники, не выдерживая напора современности, постепенно исчезают со своих мест. Хотелось бы сказать — оставляя по себе только воспоминания, но беда в том, что даже воспоминания не всегда остаются в человеческой памяти. Одно из таких интересных воспоминаний хранит, совершенно того не подозревая, угол восемьдесят четвертой улицы и Бродвея.

Пересечение этих улиц на редкость неинтересно. На одном углу — просторная аптека, одна из тех американских аптек о которых европейцы любят рассказывать забавные истории, на другом — дешевый ресторан, на третьем — право не знаю, как называются такие магазины — вся витрина которых завалена корсетами, резинками, таинственными подушечками... Место деловое, шумное. Наискосок от аптеки — огромный кинематограф. Одним словом, картина американского большого города, будь то Кливленд, Сан Франциско, Чикаго или Детройт.

Приблизительно сто лет тому назад, эта картина была, конечно, совершенно иной. Там, где сейчас блестит неоновыми глазами Бродвей и из-под земли раздается грохот подземной

* Этот рассказ об Эдгаре По внезапно скончавшегося поэта М. Г. Чехонина нам передан его вдовой А. Г. Чехониной. РЕД.

дороги, тогда проходила широкая, пыльная дорога в Олбани, по которой бежали неуклюжие дилижансы, везли почту и пассажиров в столицу штата Нью Иорк. Вокруг зеленели леса и сады окрестных ферм. А там где сейчас — на 84-й улице — стоит кинематограф — тогда возвышалась одинокая скала, окруженная чахлыми кустиками неизвестных растений. На скале была ферма бедной ирландской семьи, многочисленной шумной и трудолюбивой. Летом 1844 года у этих фермеров поселились городские жители, только что приехавшие из Филадельфии — молодой человек военной выправки, с необыкновенно красивой головой, его жена, болезненная женщина, казавшаяся несмотря на свои двадцать четыре года совсем ребенком и ее мать, медлительная, высокая дама, носившая по обычаю пуританских вдов того времени, белый капор. Багаж у них был небольшой. Несмотря на частые поездки в деловую часть города молодой человек и его семья испытывали, по всей видимости, финансовые затруднения. Имя его ничего не говорило ирландской семье. Звали молодого человека — Эдгар Аллан По. Здесь, на скале, на одинокой ферме, среди фруктовых садов и деревенских огородов, им был написан (вернее, обработан в той форме, в которой он впоследствии разошелся по всему миру) его знаменитый «Ворон». В Нью Иорке началась последняя фаза жизни замечательного поэта Эдгара По. Но прежде чем рассказывать об этом таинственном человеке, следует бросить хотя бы беглый взгляд на Нью Иорк 1844 года.

Красив был остров Манхэттен, теперешнее сердце города, сто лет тому назад. Он был покрыт буйной зеленью. Местами лес был непроходим. То тут то там протекали живописные речушки возле которых белели уютные домики англо-саксонских поселенцев молодой республики; отсюда шел рост новой страны. Еще свежо было воспоминание о борьбе с «красными мундирами» — солдатами английского короля. Здесь была стычка с гессенцами, там — переправа под пушечным обстрелом, тут сожгли ферму вместе с семьей, а там — в деревянном блокхаузе, отсиживались неделями от краснокожих — неудачных союзников того же английского короля. Много

было рассказов о памятном прошлом у еще немногочисленных жителей Манхэттена. Под влиянием этих рассказов и красочной природы нового края, а отчасти раздраженный неумением тогдашних английских романистов писать «как следует», то есть, как Вальтер Скотт, молодой помещик из Нью Джерси начал писать тогда свои романы, впоследствии также разошедшиеся по всему миру. Звали его Джеймс Фенимор Купер. К 1844 году он уже был известным писателем.

Город рос, а с ним росли и его потребности; одинокие фермы уже не удовлетворяли потребностей городского населения, — покупали землю в Лонг Айленде, Бронксе, Бруклине. Хотя земля стоила там дешевле, но и жизнь там, в деревне была далеко небезопасна; рассказывали о беглых неграх и непременно с ножами за пазухой, зимой были страшные заносы; бывали случаи, когда на одиноких путников нападали голодающие волки. В тавернах пили портвайн, обсуждали новости дня: постройку грандиозного моста через Гарлемскую речку, новый резервуар и опасность войны с Мексикой. Какой-то здоровяк из Бруклина, по имени Уолт Уитман, произносил громовые речи о том, что Америка должна силой оружия, если это потребуется, распространить демократию по всему миру. По Гудзону ходил — последнее слово техники — колесный пароход «Клеопатра», обдавая паром и черной гарью дам в кринолинах и джентельменов в трубообразных цилиндрах. Вообще же, восточное было в моде, оно шло из Англии королевы Виктории; богачи строили себе пагоды в «савитанском стиле». В порту пили джин и какие-то подозрительные люди утверждали, что видели Эльдорадо собственными глазами. Ходили смутные слухи о какой-то Калифорнии, но между Калифорнией и восточными штатами лежала дикая местность, населенная индейцами и стадами великолепных буйволов. Это дикое поле было куплено еще у Наполеона, но для чего оно было куплено, как его заселять и кем — это знали только политики в Вашингтоне. Находились смельчаки: запрягали волов в повозку крытую брезентом, брали запас сущеной говядины, пороха и пуль, и отправлялись в далекое путешествие.

Назад они не возвращались. То ли находили они Эльдорадо, то ли погибали в соляных пустынях?

О Калифорнии знали, что она мексиканская, а хояйничают в ней верные слуги русского царя, о котором знали, что он живет в Санкт-Петербурге, ездит на оленях, а когда недоволен своим обедом, то ссылает повара со всей прислугой в Сибирь. Впрочем, отдаленные страны мало интересовали нью-йоркскую публику. Вот торговля — другое дело! Продавали, покупали всё, что могли. Из Азии — шелк и чай, из Африки рабы, из Европы вина, моды, книги; сами вывозили меха, табак, жиры; один китоловный флот насчитывал до тысячи судов, ибо китовым жиром освещались тогда лампы половины земного шара, он же шел на еще примитивные, но уже многочисленные машины того времени. В литературе царствовали Торо, Хаторн, Эмерсон и целая плеяда английских поэтов и писателей во главе со звездами первой величины — покойным Байроном и живым Диккенсом. И вот в этот, несколько хаотический, но энергичный мир, оставив тихую Филадельфию, приехал уже порядочно изнуренный своими болезнями, нуждой и литературными неудачами, Эдгар Аллан По. Приехал он в Нью-Йорк довольно скоропалительно; наверно, в Филадельфии были долги (когда их у него не было), и в Нью-Йорке он надеялся еще раз попытать свое счастье. А может быть им владела давнишняя мечта об издании своего литературного журнала. Еще в Филадельфии у него был проект будущего издания. Эдгар По приехал в Нью-Йорк с женой, Вирджинией. Ему было тридцать пять лет.

Остановившись в гостинице, По тотчас же написал в Филадельфию, миссис Клемм, своей теще (она же была его теткой по отцовской линии) обстоятельное и успокоительное письмо. Это самое любимое письмо американских биографов По. Вот оно почти дословно.

«Нью Йорк, воскресенье, утром.

7 апреля, 1844 г.

Сразу после завтрака.

Моя дорогая Модди (семейное прозвище миссис Клемм. М. Ч.):

Мы только что позавтракали и я сижу за столом для того, чтобы описать тебе наше путешествие. Сегодня Почта закрыта и я не мог заплатить за письмо. Мы благополучно прибыли в Нью Йорк. Вышли на пристани, что на Уолнат стрит, где извозчик потребовал с меня целый доллар, но я ему не дал. Всё-таки пришлось заплатить кое-что мальчишке за перенос наших вещей из багажного отделения. Затем я отвел Сис (Сис или Сисси, то есть сестренка, — так звал свою жену По. М. Ч.) в Отель Депо. Там мы видели Леджер и Таймс — ничего интересного, разве что несколько незначительных новостей в Кроникл. (Так как американского Таймса еще не существовало, то повидимому это был лондонский Таймс. М. Ч.) Сисси совсем не кашляла. Когда мы сошли с парохода то пошел дождь. Сисси осталась на пароходе а я, спрятав багаж в дамской каюте, отправился на поиски гостиницы. Пришлось купить зонтик за двадцать пять центов. Довольно скоро нашел гостиницу на Гринич стрит, это не доходя Седар стрит; дом с каменной лестницей и с коричневыми столбами на веранде. На дверях имя «Моррисон». Я сторговался в несколько минут, Сис была удивлена, что я устроил всё так скоро, впрочем, она не очень скучала на пароходе — там были две дамы. Нам пришлось подождать полчаса, пока приготовляли нашу комнату. Дом старый и по-моему — изрядный клоповник, но хозяйка очень приятная и разговорчивая женщина. Со столом — семь долларов за две недели, мне кажется, самая дешевая плата, которую я когда-либо слышал — принимая во внимание современную дороговизну жизни. Если бы Катарина увидела всё это — она упала бы в обморок от изумления (Катарина — кошка Вирджинии. М. Ч.). Вчера, за ужином, мы пили самый лучший чай — крепкий и горячий, едва ли ты пила такой чай когда-либо, затем подали

ржаной и пшеничный хлеб, сыр, бисквиты; огромная миска элегантной ветчины, (это было тогда очень модное слово — элегант. М. Ч.); две миски с холодной телятиной нарезанной толстыми ломтями, три миски с пирожками — и всё это в изобилии. Голод нам теперь не страшен. Хозяйка так угощала нас, что мы сразу почувствовали себя, как дома. Ее муж — добродушный толстяк. В гостинице было человек десять, несколько дам со слугами. Утром, на завтрак, нам подали превосходное кофе со сливками, правда немного мутный, телячьи котлеты, элегантную ветчину, яйца и чудесный хлеб с маслом. Ах, если бы ты видела всё это! Это был наш первый завтрак с того момента, как мы покинули наш дом. Сис в восторге и мы оба чувствуем себя прекрасно. Она почти не кашляла и не потела ночью. (В точности неизвестно чем болела Вирджиния всю свою жизнь. Кажется это был туберкулез, осложненный каким-то таинственным «недугом вен». Почти все героини рассказов По больны таинственным недугом. М. Ч.).

Сейчас она зашивает мои брюки, которые я разорвал о гвоздь. Вчера я купил моток шелка, простые нитки, две пуговицы, ночные туфли и жестянную сковороду. Огонь в печке здесь поддерживают всю ночь. Теперь у нас осталось ровно четыре с половиной доллара. Завтра попробую занять еще три, так чтобы мы смогли прожить еще две недели. Я в превосходном состоянии и поверь — не пил ни капельки. Думаю покончить со своими слабостями раз навсегда. (Модди наверное только горестно качала головой, читая эти строчки бедного Эдди. М. Ч.). Как только я соберу кое-что, я немедленно вышлю тебе; ты не можешь себе представить, как мы скучаем без тебя. Сисси немножко всплакнула вчера вечером по тебе и по Катарине. Пока мы довольны тем, что у нас имеется, но мы должны найти две комнаты, как можно скорее. Как будто по светлело, дождь кажется перестает. Не забудь зайти на почту и взять мои письма. Статью для Лоуелла я вышлю тебе, как только напишу. Займи немного денег у Гrahама. И передай наш сердечный привет Катарине».

Итак, По — в Нью Иорке, за спиной у него порядочный редакторский стаж, несколько сборников стихов и рассказов, в голове проект «Нового Современника», а в кармане ровно четыре с половиной доллара. Надо было действовать и По решился на дерзкую шутку. В тогдашней прессе подобного рода шутки были очень популярны. Теперь это не прошло бы безнаказанно, как для автора так и для редакции газеты. По принес в газету «Солнце» свой новый рассказ, под названием «Утка о воздушном шаре». Через некоторое время жители Нью Иорка прочли в газете «Солнце» следующее объявление:

**«Поразительные новости
поездом из Норфолка:
Атлантический океан пересечен в три дня!»**

Много было интересного и сенсационного в этом объявлении. Газета «Солнце» стоила один цент и читатели, пораженные необычайной новостью, бросились раскупать газету. По хорошо знал психологию толпы, большинство читателей приняло рассказ за чистую монету. Город был полон необыкновенных слухов. Редакция ликовала. К чести ее, автор «Утки» не был разоблачен. Наверное, не одну тарелку с «элегантной ветчиной» уничтожил он после опубликования этого рассказа.

В своем рассказе По не случайно выбрал местом высадки воображаемой летательной машины остров Солливан. Этот остров Солливан был прекрасно описан им в другом рассказе — «Золотой Жук». Дело в том, что на этом острове По провел несколько лет своей армейской службы и он произвел на поэта огромное впечатление. Длинный, песчаный берег, океан, близость Нового Орлеана с его экзотикой — всё это заставило По вторично обратиться к этому месту в процессе писания своего фантастического рассказа. Неизвестно сколько По получил за свою оригинальную шутку. Наверно, гроши. Наверно, он оказал газете «Солнце» еще кое-какие услуги; По был не только поэт и писатель, он был также и опытный критик и фельетонист или, как тогда называли, «механический параг-

рафист». Нужно отдать ему должное — никогда в жизни он не занимался ничем кроме литературы. Была ли то корректура хроники в газете, исправление плохих стихов богатой барыньки (было много таких случаев в его жизни), собирание новостей или критическая статья — все это По делал с любовью и добросовестностью, которой мог позавидовать любой человек. Одновременно с «Уткой» им был помещен в другом журнале один из его замогильных рассказов «Продолговатый ящик». Таким образом ему удалось слегка поправить материальные дела. Были посланы деньги и в Филадельфию и миссис Клемм с кошкой Катариной приехала в Нью Йорк. Устроились в двух комнатах гостиницы Моррисон, 130 Гринич стрит.

Как-то, проходя по Гринич стрит, я решил посмотреть существует ли всё еще этот дом? Улицу я знал хорошо. Это была когда то красивая и уютная, хранящая исторические даты, но с течением времени совсем заброшенная улица. Крохотные, убогие домишкы по обеим сторонам улицы, словно призывали в свидетели своего несчастья небоскребы соседней Уолл стрит. Я без труда нашел номер 130.

Передо мной стоял узкий, четырехэтажный дом с грязными, серыми стенами и почерневшими от пыли окнами. Если бы не железная лестница, висящая на каждом американском доме на «всякий пожарный случай», дому легко можно было бы дать лет сто, полтораста. Ни веранды, ни коричневых столбов, конечно, не было. Я спустился в темный полуподвалчик-бар и, вспоминая бедного Эдгара, попросил у небритого бармена рюмку портвейна.

Парень оказался не особенно разговорчивым. На мои вопросы отвечал нехотя и когда я поинтересовался относительно возраста дома, ответил старой американской шуткой:

— В этом доме спал сам Джордж Вашингтон.

Но кое-как я добился от него названия конторы, которой теперь принадлежал дом номер 130. Внутри мне там очень понравилось. Пол был досчатый и крашеный, слева на стене ви-

села лестница на второй этаж, в глубине комнаты виднелась дверь во двор, на двери было оконце с решеткой — темные углы, скрип половиц и затхлый запах застарелого пива определенно создавали атмосферу столетней давности... Уходя, я сказал бармену:

— В этом доме жил Эдгар Аллан По.

Тот только махнул рукой, как бы говоря: многие тут были.

В кабинете, куда я позвонил, со мной обошлись чуточку лучше чем в кабачке. Только никто не знал — сколько их дому лет? А так как я настаивал, то может быть для того, чтобы отвязаться от меня, наконец сказали: — «Да, действительно, этому дому будет лет сто-сто тридцать...» Я поблагодарил и прекратил «исследования». В сущности это было и не важно — в этом ли доме жил Эдгар По?

3

В Нью Йорке у По были кое-какие знакомые, он бывал здесь раньше, кроме того его имя, как критика, писателя и журналиста было довольно известно. Его боялись: критик он был строгий, полемист ядовитый и невозможно было не призывать его талант. Редакторы газет и журналов охотно принимали произведения По, но платили мало. Лоуэлл, поэт из Новой Англии, получал за свои вещи по два доллара 50 центов за страницу, По же получал по пятьдесят центов. Но Лоуэлл был адвокат,abolitionist и семьянин, в то время, как По...

Мелкая, случайная журнальная работа всё же давала какие-то средства к существованию. Закаленная вечной нуждой, имея на своих руках «двух несчастных детей», как она называла Эдгара и Вирджинию, миссис Клемм умела сводить концы с концами, как никто. Это она была главой семьи. Она шила и стирала на троих, разносila письма и манускрипты По по редакциям, ухаживала за больной Вирджинией, ходила по докторам и церквам часто выпрашивая, как милостыню, помощь для

своей семьи. Никто не видел ее раздраженной, усталой, отчаявшейся... Довольно странный, на фоне тогдашней беспокойной жизни, образ. Откуда пришел он? От строгих пуританских устоев первых колонистов? Из Библии?

Вирджиния, жена По, была и его двоюродной сестрой. Впервые он увидел ее маленькой девочкой, в доме своей тетки, миссис Клемм. Тогда же и началась их странная любовь. Миссис Клемм, незадолго до этого потерявшей мужа, надо было содержать себя, свою параличом разбитую мать, болезненную девочку-дочь, неудачного поэта, бывшего мичмана флота Леонарда По, брата Эдгара — страдавшего туберкулезом и запоем и самого Эдгара, приехавшего к тетке на жительство после одной из очередных тяжелых сцен со своим приемным отцом Алланом. Жили все впроголодь на пенсию старухи и на несчастные гроши, которые Эдгар начинал получать от разных журналов за свои стихи. В то время он еще не писал рассказов, тогда он был постоянно в кого-то влюблен и Вирджиния разносила его очередным увлечениям любовные записки. Это было в Балтиморе, в 1829 году. Женился Эдгар на ней когда ей едва исполнилось четырнадцать лет. Впрочем, доподлинно неизвестно — были ли они вообще официально, то есть «законно» женаты? Никаких записей о браке, подробностей их венчания ни в каких бумагах не найдено. Но любил он ее глубоко, со всем пылом своей поэтической души; все его муки и радости были посвящены только ей одной. Морелла, Лигейя, Леонора, Беренис, Леди Маделен — всё это всегда Вирджиния. Когда она умерла, он от горя едва не лишился рассудка. Ее смерть была последней каплей... Но об этом позже.

В Нью Иорке завязались новые знакомства. По ходил по всему городу в поисках занятий; часто возвращался поздно и навеселе; из боязни испортить отношения с четой Моррисон, он временно оставил своих женщин в гостинице и переселился в дом некой миссис Фостер. Наверное это была какая-нибудь покровительница молодых талантов. Богатые поэтессы, пожилые дамы и вдовы очень часто принимали участие в судьбе бедного поэта. К чести его, нужно сказать, никаких скандал-

ных историй с этими женщинами у него не было. С мужчинами, с коллегами по перу — сколько угодно. Знакомился он довольно легко, наружность у него была самая привлекательная, он был всегда остроумен, находчив, но продолжать с ним знакомство было необычайно трудно. Достаточно было его собеседнику сказать неосторожное слово и По поворачивался к нему спиной. За это он постоянно приобретал недоброжелателей. У миссис Фостер он поселился в доме номер 4, Анн стрит. В этом доме всегда жила холостяцкая компания.

По был среднего роста, строен, но не особенно крепкого сложения. Держался он всегда прямо, по военному, благодаря некоторым годам армейской службы и короткого пребывания в военной академии Уэст-Пойнта. (В армии Эдгар По провел около пяти лет и дослужился до чина «сержанта-майора». Что это был за чин в тогдашней американской армии, не знаю; но всё же он свидетельствует о каком-то продвижении по службе, хотя известно, что пребывание По в Уэст-Пойнте было весьма бесславным). Всех всегда поражала его голова: круглая и слегка плоская, с огромными желваками на висках. Так как френология была тогда в моде, то По очень гордился этими желваками. Не сохранилось ни одного его портрета в профиль; это не случайно. Он был некрасив в профиль. У него был маленький подбородок и бесформенная верхняя губа, которую он скрывал небольшими усиками. Черные волосы он закидывал назад, никогда их не причесывая. Большие, круглые и необычайно глубокие глаза, менявшие свой оттенок от обстановки и настроения. Глаза очень темпераментного человека. Голос баритональный, ровный, которым По владел в совершенстве. Одет он был всегда просто, даже бедно, но благодаря непрестанным заботам своего ангела-хранителя, миссис Клемм, необычайно опрятно. Возможно, не будь ее в жизни По, он просто бы погиб от своей беспорядочной, вечно-напряженной и беспросветно-голодной жизни. Кстати, скажу о хорошо всем известной легенде о «страшном алкоголизме» этого глубоко-несчастного человека. Да, По пил. Одна рюмка портвейна уже выводила его из нормального состояния, за ней следовала другая и чело-

век падал в какой-то дикий провал, из которого его снова поднимала на недостижимую для окружающего мира высоту, искра настоящего, чистого творчества. В одном из писем По есть любопытное признание о его алкоголизме: «Дома я никогда не пью. Ем хлеб и пью только чистую воду. Вино же я пью только на людях, для того, чтобы быть похожим на них». В этом признании чувствуется какая-то непонятная трагедия; всё письмо дышит такой искренностью, что ему нельзя не поверить.

У Эдгара По была еще одна слабость: он любил принимать позу аристократа. В этом повинно отчасти его воспитание в доме богатого южного плантатора Аллана. Своим знакомым, — «для того, чтобы быть похожим на них» — По любил рассказывать различные фантастические небылицы. Известен рассказ По миссис Саре Елене Уитман (одной из ранних увлечений По, на которой он чуть не женился) о его происхождении. Род По, будто бы, можно проследить до четырнадцатого века, когда первые По, или как они тогда назывались — Ле Поэры, переселились из Франции в Ирландию. Нормандское имя Ле Поэров с течением времени превратилось в английское По или Пуверс. Сам По часто называл себя то Пур, то Перри, имея в виду разветвления влиятельной когда-то семьи старых дворян Ле Поэров. Эта семья, бывшая в окружении английских королей, была рассеяна и почти сведена на нет английской революцией семнадцатого века. Кромвель не только уничтожил многочисленных членов этой англо-нормандской семьи, но даже отобрал все их владения и переименовал их земли, так чтобы у потомков не осталось даже и воспоминания о ненавистных дворянах... Таким образом имя Ле Поэров превратилось в По. Первый американский По был некто Джон По, покинувший Ирландию в середине восемнадцатого века, то есть накануне американской революции. Дед Эдгара был офицером в Революционной Армии и близким другом Лафайета. Отец По, молодой нотариус, так увлекся театром, в особенности молодой актрисой Арнольд, что бросил свою профессию и женился на ней. От этой связи и родился Эдгар...

В этом рассказе верно только одно: рождение поэта. Всё

остальное сильно отдает необузданым воображением По, а м. б. и бокалом хорошего вина. Сам По не знал своего происхождения. Уж слишком много оставил он о нем этих красочных повествований. Род его отца еще можно проследить за два или три поколения, но о его матери ничего неизвестно, кроме того, что она эмигрировала из Англии в Америку вместе с труппой бродячих актеров, где и умерла двадцати шести лет от роду, то есть когда Эдгару было всего два года. По рассказам современников, мальчик унаследовал от матери ее необыкновенную наружность. Отец его исчез как-то незаметно; существует легенда, что он погиб при пожаре театра. Когда читаешь материалы о По, то неизменно натыкаешься на одно и тоже: легенды, клевета, фантастика и легенды...

4

Жизнь в «пансионе» миссис Фостер была привлекательна во многих отношениях. Во-первых, По приобрел свободу действий. Во вторых, наискосок от его новой квартиры, был уютный кабачек некоего Сэнди Уелша, место весьма злачное и гостеприимное. А рядом с ним, помещалась редакция большой и популярной тогда газеты «Нью Иоркское Зеркало». Пользуясь своим времененным холостяцким положением, По снова окунулся в атмосферу газетных сплетен и быстро завоевал репутацию своего человека среди молодых журналистов и писак. Этот кабачек был их штаб-квартирой. Очень скоро открылись двери и «Нью Иоркского Зеркала». Как-то неожиданно для самого себя, новоприбывший филадельфийский журналист, получил предложение стать одним из редакторов этой популярной газеты. Обязанность была проста — столь любимая его писательскому сердцу — нужно было сидеть за столом и писать. Что писать — редакция не налагала особенно строгих обязательств на своих редакторов — главная забота редактора была в том, чтобы заполнить страницы газеты подходящим материалом. А если не было подхо-

дящего, то годился и неподходящий; то-есть всё-таки такой, чтобы его можно было читать. На первых страницах нью-йоркских газет печатались иногда самые неожиданные вещи. Длиннейшие элегические поэмы, описания жизни папуасов и сожаления о том, что они всё еще не христиане... Лучшего места для Эдгара невозможно было придумать. Бывали случаи, когда у редакции возникали трения с новым редактором на почве его, довольно небрежного обращения с сенсационным материалом. В городе случался пожар или политическая демонстрация, а в газете не было об этом ни слова; вместо этой сенсации читатели получали «какую нибудь метафизику» самого Эдгара По... Но так как новый редактор обладал колоссальными познаниями в области английской литературы и языка, то приходилось мириться с его неожиданными интересами; всё-таки он был гораздо лучше других, писания которых приходилось разбирать с увеличительным стеклом, на предмет исправления проклятой орфографии.

Лето было необыкновенно тяжелым: — страшная жара, чередовавшаяся с удушившим океанским туманом и проливными дождями. Спасение было только в воде и весь город проводил свободное время на берегу Ист Ривер. По был отличный пловец (о, тень Байрона!), гордившийся своим умением переплыть опасную речку. Излюбленным местом купания для него и друзей, был маленький скалистый заливчик, находившийся в том месте реки, где быстрое течение соблазняло смельчаков своими водоворотами. Место называлось «Черепаший Залив». Теперь здесь возвышается гигантский небоскреб «Объединенных Наций».

Однажды в редакцию «Нью Йоркского Зеркала» миссис Клемм принесла Эдгару печальную весть: Вирджиния едва ли перенесет это лето... Смерть постоянно стояла за спиной этого несчастного человека. По как бы очнулся от своего приятного и самостоятельного существования: действительность звала его опять к новым испытаниям. Водоворот, более опасный чем те, что шумели в «Черепашьем Заливе», опять начинял съуживаться вокруг него... Всё немногое, что он зараба-

тывал в газете, он стал отдавать миссис Клемм. Опять доктора, лекарства, страх и мольбы и вместе с ними пришла какая-то новая полоса поэтического творчества. Уже давно не писал он стихов с таким восторгом и с такой болью, как теперь!

В кабачке Сэнди Уелша больше не видели нового редактора. Он сидел за своим столом и невидящими глазами смотрел куда-то в пространство, за окна редакции, а может быть еще дальше. Редакция не знала, что делать; страницы газет больше не пестрели даже метафизикой. Друзья разводили руками. Они не знали, что в мыслях Эдгара тогда и стал жить «Ворон».

5

«Ворон» жил в мыслях Эдгара уже давно. Еще в Филадельфии, в веселой компании, за каким-нибудь разговором или между шутками, вдруг он ощущал над своей головой шелест чьих-то зловещих крыльев. Что это были за крылья, чья это была тень? Птицы, демона?

Дни и ночи были наполнены мучительными видениями. Но пить все-таки бросил. Для того, чтобы забыться, успокоиться — начал совершать длинные прогулки за город. Без шляпы, в одной рубашке, с палкой в руках, Эдгар По выходил на большую, пыльную дорогу, по которой бежали скрипучие дилижансы с почтой и пассажирами в Олбани, и шел куда глаза глядят. Фермеры — народ гостеприимный; иногда останавливался около придорожных огородов, болтал с крестьянами, они угостили его свежим молоком и сыром — поболтав вдоволь и закусив, шел дальше. Домой возвращался совершенно разбитый физически, но успокоенный.

Однажды он забрел далеко. Блумингдейлская дорога пустынна, пошли поля и леса. Остановился напиться у маленькой фермы, одиноко стоящей на плоской скале. Разговорился с хозяином — симпатичным ирландцем по имени Бреннан. И через несколько минут Бреннан неожиданно согласился сдать две комнаты в наем на все лето городским жителям. О цене

не спорили. «Со всеми удобствами», наверное, долларов пять за лето. Не теряя времени, По вернулся в город, забрал свой несложный багаж, Вирджинию и миссис Клемм и переехал в деревню.

Наступили счастливые дни. С Вирджинией случилось чудо: она опять воскресла. Пятнадцатилетняя дочка Бреннана неожиданно составила ей славную компанию, хоть по возрасту они, конечно, и не подходили друг другу, но в Вирджинии была какая-то девственная, детская чистота. Несмотря на свою болезнь и вечную бедность, эта «девочка-жена», как ее все называли, сохранила на всю жизнь какую-то безоблачность, дух какой-то любви и всепрощения ко всему миру — огромному, жестокому, непонятному. Главная забота в ее жизни была — это сделать что-нибудь хорошее своему ненаглядному Эдди. По купил ей арфу и научил петь и играть. Так легко представить себе классическую сцену девятнадцатого века — случайный гость, какой-нибудь литератор, на столе скучное угощение — вода и сухие бисквиты, По декламирует свое новое стихотворение, в углу миссис Клемм, строгая в белоснежном капоре. После чтения в комнате раздается робкий голос и тихие аккорды арфы...

Жена Бреннана была в восторге от миссис Клемм. Обе женщины хлопотали по хозяйству, а после своих несложных хлопот, когда коровы были выдоены, дети накормлены и собаки посажены на цепь, они вели нескончаемые разговоры о прошлых временах. Приходил и сам хозяин, голубоглазый гигант с вечной трубкой в зубах и налив себе чашку крепкого кофе, с удовольствием принимал участие в оживленных беседах. Город ему не нравился, но городские новые жильцы — очень.

На этой ферме, начался последний счастливый период жизни Эдгара По. Не творчества (ему еще суждено было написать несколько прекрасных вещей), но жизни — той простой, хорошей жизни, когда можно любоваться закатами солнца, слушать говор и смех детей, есть и спать сколько хочется; по вечерам мирно беседовать с родными, наблюдая, как в камине в кот-

ле булькает ужин; ночью, проснувшись, вдруг увидеть в окне звездное небо и длинные ветви деревьев; а утром, выпив чашку молока, выбежать во двор и схватив удочку, бежать с мальчишками удить рыбу в Гудзоне, потом купаться, потом лежать на плоских камнях и слушать, как стучит сердце и ни о чем не думать... А если думать, то о «Вороне».

В это время произошла его размолвка с газетой «Зеркало». Дело в том, что кое-какой свой материал По начал относить и в другую газету, бывшую конкурентом «Зеркала». Это был «Бродвейский Журнал». Бедный По не знал, что «Бродвейский Журнал» находится при последнем изыхании. Но в надежде хоть как-нибудь увеличить свой мизерный заработок в «Зеркале», он частенько заглядывал в эту редакцию. Об этом узнали в «Зеркале». Отношения испортились. Пришлось оставить там свой ежедневный столик и хотя По всё еще принимали, но прежнего дружеского расположения уже не было. К тому же, Эдгар начинал надоедать всем своими диктаторскими замашками «великого редактора» и «непревзойденного критика», как за глаза называли его газетные писаки. В «Бродвейский Журнал» По приносил театральные рецензии. Театр был в одном квартале от обеих газет. Театральный Переулок существует и сейчас. Это узкий, мрачный проход через весь квартал, между Анн стрит и Бикман стрит. Когда входишь в этот, заплесневелый от времени переулок, то невольно переносишься в Нью Йорк середины прошлого века. По нему таскали декорации, торопились в свои уборные актеры, а на углу постоянно дежурили почитатели молодых актрис. Всё это место было тогдашим центром города.

6

Были хорошие строчки, несколько удачных строф, но самого стихотворения еще не было. Это было даже не стихотворение, не баллада, не песня — это был, скорей всего, один из его рассказов, переложенный в стихи. Музыка была, как

будто совершенно новая музыка. По был проникнут до мозга костей этой новой потрясающей музыкой. Какие-то хоры, трубы, флейты, и пронзая весь этот хаос, — голос старого, вещего ворона. Голос судьбы Эдгара...

После захода солнца он приходил на берег Гудзона. Там было одно им излюбленное место. Гора Том. Высокая, плесневая скала, возвышающаяся над кустарником, с которой открывался необыкновенно широкий вид на реку и на звездное небо. Здесь он ложился на камни и лежал часами в глубокой тишине ночи. Вероятно ему казалось, будто умирал весь мир; отпадал прочь, был только он — Эдгар, и даже не он, а только его ветроподобная мысль. В одну из таких ночей он создал рассказ «Преждевременное Погребение».

Но и «Ворон» рос, он уже каркал над бюстом Паллады, вселяя ужас и восторг в сердце Эдгара, который грезил тем, «чем смертный грезить не дерзал до этих пор»...

Впрочем, в бедной деревенской комнате Эдгара По, никакого мраморного бюста Паллады, никаких шелковых штор и бархатных кресел и в помине не было. Камин был, но совсем маленький, скромный, сложенный, возможно, самим мистером Бреннаном в свободную минуту. И всё-таки бюст Паллады родился не только из вдохновения поэта. В комнате По, над дверью, висело что-то похожее на классическую голову. Кажется, это была гипсовая маска богини Минервы. Дело в том, что до приезда семьи По, в их комнатах жил какой-то иностранец, именовавший себя наполеоновским солдатом. Ему верили, так как он обладал способностью поглощать невероятное количество привозной мадеры. В качестве багажа, у него были пара дырявых портьер, старое кресло и гипсовая маска Минервы. Уехав, он бросил всё на произвол судьбы. И вот всё это, плюс скала, ветер, небо, тучи, ночь, деревенские ставни, широкий Гудзон и, конечно, своя измученная душа и создали музыку «Ворона».

Гора Том, окруженная железной решеткой, всё еще стоит на своем месте. Вот ее адрес: восемьдесят четвертая улица

ца и Риверсайд Драйв. Теперь, на фоне огромных зданий Риверсайд Драйв, эта гора кажется довольно жалкой, но в то время, когда По просиживал на ней темными ночами, у нее был, наверное, весьма романтический вид.

Гуляя по окрестным лесам, вынашивая свое детище, По часто представлял себе тот эффект, который, он уверен, должен был произвести на нью-йоркскую публику, его Ворон.

Однажды, увлекшись чтением, По наткнулся на группу деревенских ребят, собиравших лесные ягоды. Увидев странного человека с растрепанными волосами и полубезумным взглядом, к тому же выкрикивающего непонятные слова, дети в ужасе разбежались. Ставши взрослым, один из этих ребят, дал подробное описание этой встречи в лесу.

И вот наконец, в один прекрасный день, а может быть в ночь на горé Том, Эдгар По почувствовал, что «Ворон» готов. Все варианты были испробованы, проверена инструментовка всего произведения, всё было прочитано не десятки, а сотни раз... Да, это были прекрасные стихи:

«Раз, когда в夜里 угрюмой, я поник усталой думой
Средь томов науки древней, позабытой с давних пор.
И почти уснув качался — вдруг, чуть слышный звук раздался,
Словно кто-то постучался в дверь ведущую во двор.

• • • • • • • • • • • • • • • • •
О, я живо помню это. Был декабрь. В золе согретой
Жар мерцал и в блеск паркета вкрапил призрачный узор.
Утра ждал я с нетерпеньем, тщетно жаждал я за чтеньем
Запастись из книг забвеньем и забыть Леноры взор,
Светлый, чудный друг, чье имя ныне шепчет райский хор,
Здесь — навек немой укор...»*

M. Чехонин

* Перевод Г. В. Голохвастова.

CANTUS FIRMUS

Песню линии,
тающий стих
вырежьте
в Древе Сознанья
и тревог
погрузите вихрь
в тихую соль созерцанья.

ШАРТРСКИЙ СОБОР

В океане исканий блуждая без карт,
видишь остров обещанный — Шартр.

Сын свободного моря, ты на берег стал,
и зовет тебя древний портал.

В этом храме, что зодчий забытый сложил,
каждый камень таинственно жив

тем порывом, что тысячи рук захлестнул
и тревожную нежность одну.

Бог в нем дышит — дыханье Его горячо,
словно лунное пламя течет,

и скользит по ладоням огнем серебра
сокровенный творения прах.

Его спутников шаг — тяжкий камень, но их
взгляд — прозренья сияющий вихрь.

И одежды их в каменных складках — века
мысли творческой ветр высекал.

Где здесь веры начало? Искусства предел?
Кто откроет последнюю дверь?

Светом дрогнуло черное сердце твое,
свет, как зарево тайны, встает...

Но ступи на порог, но один еще шаг —
и другим тебе явится Шартр.

В нем пустынно и хмуро дымит красотой
сумрак красок внизу налитой,

а вверху, в мозаично-стеклянном раю,
окна светлую песню поют,

и роняют на пасмурных сводов разгон
победивший пространство огонь.

Словно музыкой серые своды полны,
дуновением новой весны —

той, чье пламя высоко и грозно горит,
той, что в пепел тебя претворит.

...Страшен путь к совершенству, — страшнее
в конце
вдруг доступною ставшая цель.

Ты искал и достиг. Но, победой горя,
в ней ты все — навсегда — потерял.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Прошу мой прах на берегу морском
похоронить — и пусть песком он станет,
могилою — волны широкий холм,
а крылья чаек — узкими цветами.

Так высока над морем тишина.
И так низка цена освобожденья,
когда душа прозревшая сильна
и плоть ей ненужна для зрења.

НА ОСТРОВЕ ОГИГИИ

В этот вечер, серый и беззвездный,
миф пространства был рожден.

Как мечи, взлетали волны в воздух,
взлетом требуя: «Мы ждем —

расточи мечту свою бесследно
о возврате! И продли
власть чужого, яркого наследства,
власть поющую земли.

Видишь, в море? — Нет, ты не ошибся,
блеск последних парусов?

Берег брошен. Скалы и Калипсо
спят. Лишь приглушенный зов

собственной глубинной дали — строже
всё поёт и всё верней:
только отречением ты можешь
сделать Итаку своей.

Отступись! Но гулок шаг твой каждый
и сиянье пустоты

словно золотом холодным жажды
жжет ладонь. И знаешь ты —

кончен путь. Исполнись же смиренной
освященья простотой,
неба сочетая неизменность
с жизни гибкою водой!»

Алексис Раннит

Перевод Лидии Алексеевой

ДИАНА ВАШИНГТОНСКАЯ

«Она перебегала дорогу и, обернувшись на бегу, устремилась отчаянным взглядом в свое только что брошенное прошлое, трагически ломая брови...»

И вот он жил с этим, вдруг обернувшимся к нему, трагическим лицом уже вторые сутки. Странно было лишь то, что лицо с трагическими бровями оказывалось под беленьким нормандским, или быть может, шведским чепчиком, а правая рука подхватывала длинные сборчатые юбки. Почему возник такой наряд? И куда поведет эта нить его новеллы?

У подавальщицы под белым колпачком были блекло-белые кудряшки и носик с очень подвижным кончиком. Она знала его, дружественно кивала и шевелила кончиком носа при обычном вопросе. Вопрос и кончик носа повисали в свободной пустоте между красным бачком с кокой-колой и стеклянным кубом с охладительным бьющим внутри него золотисто-кислым «дринком».

«Тунна-сендвич и кофе?» — приветливо двигался кончик носа. Правая ее рука вытирала при этом красный блестящий кусок бара перед ним, а левая ставила стакан с серебристо-мохнатыми льдышками. Стакан сразу ушел в красную зеркальную поверхность.

В какое прошлое уйдет возникшее начало? В какой конфликт (бег и брови) упрется «форгешихте»? Что потянет за собой нормандский чепчик и широкая со сборками юбка? Может быть — берег океана, тени разведенных сетей на мокром сероватом песке, корзины серебряной рыбы? А трагический излом бровей?

Развертывая треугольник сэндвича, он глядел на худую свою руку, сужающуюся от запястья вверх и уходящую в слишком короткий рукав пиджака. Если бы не чепчик, то весь «бэкграунд» мог бы быть другим и другого характера получился бы конфликт. «Чепчик» лимитирует возможности, т. к. своей народной историчностью требует соответственной ситуации, которая, сколь ни будь она трагична, не сработает на современного читателя. И, вместе с тем, опасно нарушить первичное «зерно», явившееся почему то именно в этом виде.

Благодатный глоточек глубоко-душистого кофе закончил «ланч». Сразу — беспокойство. Тяга к тесной застекленности телефонной будки и... усталость. Номер 5-22-86 слагался всегда в следующую цепь ощущений: пятерка (бодрая и круглая) была полна надежд, манила и обещала; потом топорщатся и ощеренно вскидываются упрямые, злостные двойки; их надо преодолеть большим усилием, чтобы в безупречной бесконечности восьмерки ощутить равными шансы, «нужно» и «не нужно», «хорошо» и «плохо»; одним словом — фифти-фифти; небрежная и размашистая загогулина шестерки всегда помогала с легкостью довести начатое до конца, т. е. до слишком старчески громкого (на свою собственную глухоту рассчитанного) и перебивающего и его и себя голоса: «Да, да. Кто? Ах, да, да, Сергей Александрович! Плохо, голубчик, плохо: колени — маята моя... Ушла... Когда ушла? Сразу же после завтрака и ушла... Не знаю, не знаю... В город... Да, да, не знаю, голубчик. Да вы заходите...» Реже будильниковый треск того, иного мира, нарушался чистым по тональности и упругости «Хэлло?»

Тепло, сразу возникающее тогда в левой части груди, мгновенно делало будку с треугольничком вместо сиденья, и черный висящий аппарат, и его застекленность здесь вдвоем с этим упругим голосом, делало все это великолепным, роскошным, вроде сине-золотого осеннего дня в Тюльери.

Сегодняшняя пятница непременно должна вытянуть за собой завтрашнюю свободную субботу. И если эта суббота не разобьется на две части неким пуантом, неким кульминаци-

онным пунктом, то ее огромные временные возможности рассыпятся в порошок, в серый ускользающий порошок, с которым ничего не придумаешь. Если она (суббота) не будет иметь первую половину, напруженную ожиданием и потому легко поддающуюся организации, с возможностью глубоких и плодотворных заглядов в ту сущность, чья нереальная реальность дает устойчивые, прочные русла для вливания и движения в них динамических ситуаций с возникающими островками еще чего-нибудь крепенького, приятного; и если она не будет иметь вторую, более ленивую, пронизанную теплым золотом половину воспоминаний (даже иногда и смешанную с недовольством, что тоже не плохо: недовольство часто таит в себе еще больше динамики, еще больше новых рождений), и вообще, так или иначе, если эта суббота пережется ярким зигзагом посередине, то она (суббота) выгорится зеркальным сводом, зальется розовато-хрустальным светом и получит ту единственность, которая и повлечет за собой все свои конструктивные качества. Но если нет — если нет, то сухим и скореженным своим составом она может покалечить его.

В эту пятницу застекленная операция протекала точь-в-точь как и во все предыдущие: так же увлекло окружло приседающее 5, так же щетинились и строптиво упирались двойки, безлично и сбалансированно скользили петли восьми и, милая в своей расхлябанности, б доверила дело и вызвала резкий сухой треск. Он никогда не гадал о том, какой из двух голосов прервет нудный безличный треск — он принимал покорно, как неизбежную судьбу, то, что его ожидает сегодня в застекленной будке: и больные колени и Тюльери.

Вышло Тюльери. Будка расширилась и ласково стеклилась перед глазами. «Доброе утро, Барб? Не утро? Неважно! Важно, что вы тут — пойманы в мою застекленную клетку. Где увидимся завтра? В Национальной? Чудно, но где? Давайте у «Мадонны Альбы». Не помню номера галереи, но вы же знаете сами — вас должно привести к ней чутье к истинно-прекрасному, а то спросите у гарда. В три? Прекрас-

но. Приволоките с собой кучу забавности, милая Барб. Что? Опасно? Но ведь опасное только и интересно. «Это зависит! Фу, Барб, ваш русский нуждается в чистке и полировке! Это же по-английски, Барб. Мой? Полировка? Нет, почему же, так сказать можно и по-русски. Не пугайтесь: бросаю еще никель. Так договорились? Да, да. Бежите? Куда вы всегда, всегда бежите... Ну, тогда à tantôt, милая Барб. Целую лапки...»

С рукой на висящей трубке, где только что пружинил чудесный голос, сам — на треугольничке сиденья, он чувствовал сладкое, дремотное состояние. Выходить из этого, изолированного от жизни, кусочка блаженства не хотелось. Но «ланч-брейк» уже давно кончился. Возвращение в жизнь, однако, было уже не так безнадежно теперь. Он возвращался туда с организованной субботой, с полной оснащенностью для того, чтобы проследить и вперед и назад бег женщины с изломанными бровями и даже дерзнуть освободить ее от стесняющего его нормандского чепчика.

Удовлетворенное состояние тянуло ладонь к ладони, и так он шел, наклонясь немного вбок. Опустевшие, светлым металлом обтянутые красные тумбы перед баром бежали рядом с его крупным шагом. Путая, как всегда, в стеклянном тамбуре все эти черненькие на сером «пулл» и «пуш», он вышел наконец на улицу. На него смотрело белое небо Вашингтона.

В гениальной, почти абсолютной гармонии есть высшая полнота и мудрость. И Рафаэль иногда касается этого. «Мадонна Альба» — совсем не религозный комплекс для него. Наоборот, этот восторг эстетический, который вызывает ее изумительная композиция — широкий треугольник человеческих фигур, вписанный в рондо и эта сила женственности, противопоставленная хрупкому изяществу младенчества — восприятие всего этого лежит в секторах, заведующих насыще-

нием эстетического голода и голод этот ощутительно утоляется во время его длительных «медитаций» (как же иначе скажешь?) перед «Мадонной Альбой». Но эта полнота и мудрость лежат в совершенно иной плоскости, нежели религиозное сознание. Не даром у Отцов Церкви, кажется, есть это деление на категории духа, как отображения божественного в человеке, и на иные, более или менее чувственные категории, куда относится и эстетическое наслаждение. Конечно ему, например, куда ближе эти последние, но надо признать, что это еще не есть вся полнота истины, в своем последнем, окончательном смысле... И если душа двоится, с одной стороны переливаясь в эту мудрую, успокоительную завершенность рафаэлевского рондо, а с другой, прыгает по острым стаккато предвкушений ожидаемого общения — то это наша обычная, грешная и милая жизнь, где так мало серьезных и прочных достижений и так много очаровательно-эффектных, но счастливых мгновений.

Если ее высокий рыжий силуэт покажется из этой двери, он перехватит, как брошенный мяч, ее взгляд узнавания и в то же время «Мадонна Альба» будет вскользь продолжать работать на него (время от времени необходимо такое саморастворение в силах гармонии и покоя). Но истинного покоя не получится, потому что сила ожидания (крайне динамическая сила) разрывает его тугонатянутый рафаэлевский покой. Если же существу ее будет угодно войти через другую дверь, избрать ее рамой для своего золотисто-рыжего явления, то он не перехватит ее взгляда, а увидит уже второе выражение ее лица. Но он не переменил положения, ожидая именно того, что пошлет ему судьба.

Судьба распорядилась, однако, таким образом, что он увидел ее тонкий рыжеватый силуэт у самой «Мадонны Альбы», возникший как-то сбоку (рыжененькая вязаная кофточка подхватывала рыжую золотистость ее головы, перебрасывая ослабевшие остатки того же тона юбке и туфлям).

Когда он, не видав ее некоторое время, снова взглядел на лицо, его неизменно поражала невероятная нежность кра-

сок — белейше-белой кожи с едва намеченной розоватостью щек. «Потрясающе!» каждый раз говорил он себе и как-то содрогался весь от нового изумления. Он увидел и сощуренные, облохмаченные в улыбке глаза и поднявшиеся уголки губ.

«Прелестная Барб, здравствуйте!»

Напрасно волны гармонии и покоя текли теперь от «Мадонны Альбы»; они наталкивались на смятенный, сдвинутый с плоскостей, первобытный хаос. В этом хаосе, среди прыгающих осколков картинных рам и вздыбившихся голубых сидений диванов, на самом нежном в мире лице, чернели смеющиеся мохнатые щелочки, подпираемые уголками губ.

«Здравствуйте, моя золотистая Барб...»

Бушевавший и опасный хаос надо было мгновенно потушить. Взяв ее под шерстяной локоть, он двинул ее, однако, прочь от вечной гармонии, лишь в быстрой ходьбе находя нужные ресурсы для подавления грозного хаоса.

«Как вы? Как ваша фантастическая и непонятная жизнь? Что нового в ней?»

Шли быстро, как бы спасаясь от чего-то, длинно скользили по паркету из залы в залу. Их провожали взгляды узко-глазых мадонн, лукавые глаза веселых кавалеров и гуляк, томные взоры изящных юношей в плащах, безлично-строгие лица пушисто-крылых ангелов... А они все скользили и скользили...

«Вот вы опять на час «моя Барб»... Вы ведь не совсем человек, Барб. Вы — вроде этих вот картин (совсем не обязательно англичан, хотя вы как-раз тип для Рейнольдса); вас надо вставить в раму и вы будете жить вашей настоящей жизнью, как скажем живут пейзажи... нет, нет, не импрессионистов, а пейзажи Коро. И я буду приходить сюда и любоваться вами...»

Дальше, дальше... Их странная прогулка, почти бег, увлекла за собой одного из сторожей, другой удивленно выглянул из своего зала. Но сторожа их скоро оставили.

«Уф, ну хватит. Сядем вот тут. Мы попали прямо к импрессионистам. Вы их не любите...»

«Да, но тут есть один великолепный Ван-Гог, Барб. Глядите. Вот. Это — «Ла Мусме». Маленькая девочка, корявая в своей детскости до старообразия. Но вся ее восточная интерпретация чрезвычайно близка, думается мне, именно русскому сознанию...»

«Да, ничего. Но я люблю Монэ. Видите вот это? Этот пейзаж — луг, деревья, — все светится, а фигура женщины на лугу — просто как большой цветок, или цветущий куст; как это говорят: де-ма-терьялизация что ли. Все это — пронизанная светом природа...»

«Да, конечно, но, видите, он растворяет вещность, сущность предметов. А я этого не люблю. Мне милей Сезанн, усугубляющий эту вещность. Уплотняющий ее. А что касается колорита, то на первом месте все-таки Ван-Гог.»

«Вы же не можете отрицать свежесть, воздушность и перламутровость Клода Монэ?»

«Нет, но раздробленность тона так же раздражает, как раздробленность, дисторция формы. У Ван-Гога тон утверждает себя в каком-то большом, первичном, первозданном смысле.»

Рыжеватый, поднятый угол острого колена Барб, треугольником рассекающий морского цвета пухлую обивку дивана, повернул его мысли в другую сторону.

«Слушайте, великолепная Барб! Кстати, у вас есть такое милое, насквозь женственное имя «Варяя». Почему вы стали именоваться таким обрубком с мужским усеченным окончанием? Вам очень бы пошло «Варенька»...»

«Ах, что вы, нет. Это какая-то достоевщина... и потом что-то вареное напоминает. Но я тут вообще не при чем, не я себя назвала «Барб» — мамá. И я не люблю женственности.»

«Жаль. А вот вы любите Монэ — это как раз женственно.»

«Вы знаете что? Я еду в Тэксес!»

«Что? В Техас?! Зачем?»

«Так. Там много интересного.»

«Одна?» (слово это упало в узкий черный колодец).

«Нда...» (узкий колодец недоверчиво расширился и вытолкнул более свободный вздох).

«Когда?»

«В декабре.» Дальность срока разжала кольцо, сдавившее было приятный полет мысли.

«Так пока вы не уехали в Техас (а не Тэксес, Барб), мне очень нужно вас кой о чем спросить. Слушайте внимательно, Барб, и представляйте (это очень важно!): девушка перебегает дорогу, оглядываясь на ходу с трагическим изломом бровей; бежит туда — смотрит сюда, подхватила юбку и неудержанно несется куда-то. Что было раньше и что будет потом?»

«Ну, совершенно ясно: хотя бежит в опасную неизвестность, но навсегда оставляет все, что было с этой стороны. Что могло быть? — Разное: самое пошлое — родители выдают за «немилого». Лучше — от мужа к кому-то. А может просто не к кому, а в «никуда».

«Нет, нет, нужна мотивировка. Мотивировка трагических бровей.»

«Думаете убила? Может и удушила, ребенка например. Но это тривиально. Как-то по-мещански уж очень. Чего-то другого хочется...»

«Ну, давайте, давайте...»

«Так вот: юбку может не подхватывать совсем; ее можно даже заменить клетчатыми «слэкс». На голове — белая копна беспорядочных стриженных волос, брови модерные тоже трагически не изломаешь. Трагизм в линии рта: большой, детски-пухлый и трагически раскрытый. Отчего бежит? — Разочарование в первом познании любви... или с мальчишкой, или со стариком. Да мало ли...»

«Милая Барб, дайте ручку поцеловать за ваше неизменное и горячее «кооперейшен». Спасибо за «слэкс» и за спу-

танные стриженые волосы, но... это другая нота, другой аккорд.»

«Ваша тональность, Сережа, слишком Шубертовская...»

«Не думаю. Это скорее Брамс. Ну, идемте дальше. Вот сюда. Я хотел посмотреть тут с вами одну вещь. Видите эту «Мадонну» Филиппо Липпи? И знаете, что в ней самое замечательное? В ее лице — полная невинности и девичества. Изумительно передано состояние девы-матери. Материнство — только в руке, поддерживающей грудку младенца, а наклон головы, лицо, глаза, шея с косынкой, а, главное, рот — какая это, удивленная событию, растерянная и еще немножко детская простота. Простота, какую редко кому удавалось передать. Это потрясающее. Правда?».

«Да.»

«Не наклоняйте так же головку, Барб. В вас этого абсолютно нет.»

«Что же это плохо, по-вашему?»

«Каждому свое. Ваша органическая соблазнительность, Барб, вне вашей власти. Да и вряд ли в жизни можно ориентироваться на мистический случай девственного материнства.»

«Я вообще не собираюсь ориентироваться на материнство.»

«Я это знаю.»

«Вы огорчены?»

«Как вам сказать? Если бы вы были «Варенькой», тогда может быть и был бы. Ибо это некий стилистический комплекс. Но пока — вы только раздерганная Барб, но я вас люблю и такой. Джаст де сейм.»

«Мерси. Зачем же вы сами переходите на английский, а мне всегда запрещаете? Кстати, вы не знаете где можно купить сапоги? Высокие сапоги.»

«Сапоги!?»

«Да. Для верховой езды.»

«Сапоги... Вам — сапоги? Вот странная идея...»

«Боже мой! Я же еду в Тэксэс. Зачем бы вы думали?»

«Ах, да... Qui sait? — Ковбои, шляпы, сапоги, лошади...

Но это ведь еще не скоро. Оставим это. Не наступайте этим самым сапогом с остренькой золотой шпорой на высоком каблучке мне на сердце. Дайте этому бедному сердцу еще пофантазировать на вашу тему. Это тоже не Шубертовская тема. Это уже скорее Коплэнд. А теперь дайте мне вашу лапку и пойдем смотреть одну, тоже очень соблазнительную дамочку.»

Несмотря на это галлереиное, временное, но всегда такое счастливое обладание Барб, сегодняшние техасские сапоги начали как-то неделикатно и недвусмысленно влезать в душу и, по своему сапожному обычью, уже готовы были начать топтать какие-то маленькие, но свежие и драгоценные ростки; ростки нужные для дыхания всего его существа. Приходилось зажмурить глаза, сцепить зубы и усилием воли выкинуть эти назойливые, мерзкие мещанские сапоги из своего сознания. Ясно, что «сапоги» (в том или ином виде) всегда присутствовали в его отношениях с Барб. Это, удивительное по силе, необычности и единственности, отношение имело в нерасцветшем своем бутоне всегда ощущимую червоточину — больное, неустранимое состояние. Но вся игра была в том, чтобы избегать его, не допускать до поверхности и уравновешивать с ним все другие состояния. И это удавалось обычно. Но вот почему-то сегодня эти сапоги и с ними мгновенно возникший образ — на несущейся лошади тонкая, рыжая, нежная фигурка в бриджах и большой техасской шляпе... светлой кожки маленькие сапоги со шпорами, влитые в лошадиные бока... ветер, ветер... и еще что-то большое, мешающее, нестерпимое (от чего сохло в горле и начинало давить чем-то турым в середину груди) — все это, без позволения вылезшее наружу, было не так легко убрать сегодня. И откуда возник этот проклятый Техас?..

«Вот наша цель; никогда не видели? Ну, слушайте, я расскажу вам всю историю.»

(В нежнейшем этом лице есть что-то и от лисички, оранжевой пушистой остромордочки; ушки острые тоже наверное

есть. Однако сказать ей все это теперь не захотелось. Техасские сапоги с легкостью могли затоптать и «лисичку»).

«Так вот: зовут эту обнаженную, загадочно-веселую леди Диана де Пуатье. Она была любовницей Генриха 2-го, короля французского.»

«У нее неприятное лицо. Она вам нравится?»

«Как сказать... Она притягательна, конечно, как женщина; хотя некоторая наглость — несомненный атрибут ее положения — действует отрицательно.»

«Диана де Пуатье... Какое завлекательное, играющее на дифтонгах имя.»

«Да, влекущее. Это портрет работы Франсуа Клуэ, заметьте довольно ранний, первой половины 16-го века. И он таит в себе как бы некую тайну. Женщина эта, знатного рода, после смерти мужа сумела внушить такую страсть Генриху 2-ому (который был моложе ее на целых 20 лет), что он полюбил ее, хотя и был женат. И любил до самой своей смерти. Понимаете? До самой смерти. От жены своей, Катерины Медичи, он имел семерых детей.»

«А на мой взгляд в ее длинном лице и длинном носе есть что-то «рипальсив.»

«Отталкивающее? Ваше суждение понятно: интересные женщины вызывают друг у друга отвращение. Это закон.»

«Быстро вы выводите законы о вещах совсем вам неизвестных. А она любила его?»

«Как сказать? Он был ей нужен, она разбогатела, обеспечила свою семью (она была вдова и имела от мужа двух дочерей). Царапнула, говорят, не малую толику из драгоценностей, принадлежавших Короне.»

«Ага. А вот это верно ее дети. Но что за фантазия сделать ее портрет в голом виде?»

«В реалистическом плане это объясняется тем, что она сидит в ванне. Но в выборе этого интимного и смелого сюжета для ее портрета вскрывается ее сущность — прелестницы,

любовницы короля. Открытая чувственность была в моде тогда при дворе. Кроме того, она как-то незримо все время перекликается с Дианой, римской богиней охоты. Век то был 16-ый — Высокий Ренессанс. Мифологический интерес у придворной элиты был особенно остр. Мифологией насыщен был сам воздух; она вплеталась в жизнь и в искусство. Гужон, знаменитый скульптор французского Ренессанса, изобразил ее же, Диану де Пуатье, в виде обнаженной богини, возлежащей с луком около большой фигуры лежащего оленя. Гужон сделал эту садовую скульптуру для ее великолепного замка в Анэ. Теперь она находится в Лувре.»

Замолчали. Мимо них быстро проходила группа низеньких, курчавых, белозубых мужчин; на плоских туфлях угловатились длинные тонкие девы с прямыми белыми челками; промыгнула парочка сугубо румяных старушек с бледно-фиолетовыми волосами и толстыми елочными бусами вокруг старушечьих шей...

Безбровое, нежное, с мохнатыми ресницами лисье лицо продолжало упорно, хоть и с гримаской, смотреть на загадочную улыбку куда-то вбок глядящей, обнаженной Дианы де Пуатье.

«Так она не любила его?»

«Не знаю. Может и любила. Но и себя не забывала.»

«Она его не любила.»

«Вы думаете?»

«Ясно по ее лицу.»

Со стеклянных потолков потек вдруг розоватый теплый свет. Взгляд на маленькие золотые часики под рыженьким рукавчиком.

«Сереженька, мне пора.»

«Уже! До закрытия еще добрых полчаса и мы ведь ничего не выяснили...»

«Да, но мне пора. Идемте.»

«Это, конечно, так. Но... за что же мне собственно ухва-

титься теперь? Т. е. я хочу сказать, что вы не предложили мне исчерпывающей концовки для моей повести...»

«Ах да. Ну, напишите... напишите, что она, героиня ваша, бежит от прошлого к совершенно неведомому, но очень радостному будущему... Ну, придумайте там что-нибудь вроде, знаете, такого молодого, крепкого, такого природного человека. И с ним то она уж конечно будет счастлива. Очень счастлива. Видите — вот вам и «хэппи эндинг». Да? Ну вот... А пока достаньте мне мое пальто...»

На другой стороне улицы, как всегда непрерывно и скучно, был фонтан; его серо-белые водяные массы переливались из чаши через край и исчезали где-то внизу. Стой высоких фонарей, уже горящих белым огнем на еще светлом небе, разбегался на своих длинных ногах в разные стороны по тротуару.

«Куда вас подвезти, Сережа?»

«Никуда.»

«Вы не обиделись на меня?»

«О, нет, нет, что вы. Просто хочется пройтись.»

«Ну, тогда пока. Страшно много дела. Мама еще просила в кондитерскую за тортом заехать — кое-кто придет. Заходите.»

Из-под низкой крыши машины, срезавшей ее портрет сверху, его рыжая Диана сощурила мохнатые щелочки глаз, подняв уголки губ. Ладошка в замшевой перчатке уперлась в воздух.

«Бай-бай!»

... такого молодого, крепкого, природного человека. С ним она, конечно, будет очень счастлива... А Генрих Второй любил свою Диану до самой своей смерти...

Сергей Александрович засунул руки в карманы пальто и пошел вдоль по «Конститьюшен Авеню».

Наталия Ильинская

НЕГОШ, ПУШКИН И МИЦКЕВИЧ

(СВЕТ, ЦВЕТ, ЗВУК, ЗАПАХ)

“Timeo hominem unius libri”.

В первой половине XIX в. были созданы три несравненных славянских эпических произведения: «Горный венец»¹ владыки П. П. Негоша, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Пан Тадеуш» А. Мицкевича. «Горный венец» произведение народно-героическое, «Евгений Онегин» — реалистично-сатирическое, «Пан Тадеуш» — романтико-идиллическое; первое — 1846 г., второе — 1830 г., третье — 1834 г. Мицкевич и Пушкин были людьми образованными, начитанными, Негош — полуобразованный автодидакт, патриархальный варвар. Он и сам называл себя «властителем варваров и варваром среди властителей». Правда, в посвящении драмы тени Карагиоргия он вспоминает Арея, Беллону, Ореста и Пизона, но это лишь дань запоздалому псевдоклассицизму; оттого и хоровод черногорцев у Негоша поет о Спарте и Риме, поминая и самого Муция Сцеволу! У всякого, знающего историю Черногории, это упоминание вызовет только улыбку.

«Г. в.» написан во славу павших героев; во славу черногорцев, истребивших в начале XVIII в. потурченцев в своей среде,² не боясь мщения Оттоманской Империи. Поэт написал

¹ Венец — венок героям, не венец горных цепей, это слово сознательно употреблено в двусмысленном заглавии этой драмы. Негош (1814-1851) — архиерей, властитель Черногории и великий поэт. Основные влияния: С. Милутинович, Д. Мильтон, Г. Державин и народная эпика.

² Событие это, если и было, было малого размаха, но Негош сделал его великим и важным. Мнения исследователей (Милакович, Руварац, Решетар и др.) расходятся. Я полагаю, что событие реально произошло около 1702 года. Сам П. П. Негош относит резню то к концу XVII в., то к началу XVIII в. Замечания Р. Зоговича в издании «Г. в.» 1947 г. никуда не годятся.

«Г. в.» в виде драмы, где поименованы тридцать четыре действующих лица. Как драма «Г. в.» слаб, действия нет, почти нет событий и наростиания впечатления, а все разговоры, и рассказы, песни и причитания — заплачки. Ставить его, и с сокращениями, на сцене — дело неблагодарное. Но как зеркало духа народной мудрости, поднятой на ступень общечеловеческой значимости, как философия жизни в десятисложном стихе — «Горный венец» дело гения. Патриархально-племенная, сурово-горная, циклопическая постройка этой поэмы-драмы, создана воином, правителем, архиереем героической Черногории. И простые черногорцы часто наизусть знают десятки страниц этой поэмы. Многие же изречения из неё, подобно изречениям нашего «Горя от ума», ходят «разменной мелкой монетой» в разговоре. Конечно, искусство Пушкина и Мицкевича гораздо выше и совершенней, язык чист. У Негоша — смешение диалекта с русизмами, церковно-славянизмами, сербизмами в лексике, морфологии, а частью и во фразеологии и орфоэпии. Но ни Мицкевич, ни Пушкин, в упомянутых произведениях, не охватывают взором тех страшных пропастей, пространств, тех глубин и высот духа, как Негош. Словно орел парит он над серыми вершинами оголенных скал Черногории; видит кое-где лес, кое-где зелень узкой долины, но взор его летит через прозрачный голубой воздух к пучине бескрайнего синего моря и опять ввысь — к престолу Всевышнего. Нет у славян произведения, в этом смысле, равного «Г. в.». Густой лес, зелёный сад, плодоносное поле у Мицкевича, половодье звуков, красок, форм, жизнь шляхты — «живопись маслом». У Пушкина — поля, леса, холмы, равнины, город-столица, рисунок быстрый, часто это словно гравюра, порою, — акварель. Не рисунок, а громоздко величавое здание напоминает творение Негоша. Остры углы, колоссальны камни, высоки выступающие башни. Кое-что обвалилось, обветшало, покрылось мхом. Но гигантская постройка простоят века. Странная, величаво-несуразная в частях, она возвышенно прекрасна, как прекрасно нагромождение скал, озаренное солнцем. Онегина писал художник-городжанин; Тадеуша — помещик-шляхтич; «Горный венец» — баян, соловей и вещун древних времен, только одетый в мантию архиерея, а за тканым широким поясом сверкает у него оружие. В рифмованном⁸ вступлении о

⁸ «Горный венец» написан народным белым десятисложным стихом; изредка встречаются рифмованные строки и строчки леонинского стиха.

полководцах XIX в. сказано : «Их Арей сам, — земной ужас, — славом боя опоил, И землю, как поле брани, для сраженья уделил». Основную идею произведения ярко выражает один из его героев: «Врага бей и на семя не оставляй, Или жизнь тут и в Небесах теряй!» Мысль эта встречается очень часто во всех 2820 стихах «Г. в.» — Воинственный дух всюду: «Я сам на коне и сабля при мне». Негош знает, что сурова и беспощадна жизнь, кровью лишь покупается и свобода:

«На овцу и волк имеет право,⁴
Как тиран на слаба человека;
Но тиранству наступить на выю,
Привести его к признанью права —
Вот где долг святейший человека!»

В мире слез и крови «без труда и песня не певалась, Без труда и сабля не сковалась». Прекраснейший цвет духа — доблесть, героизм. Только геройство и царит над всяkim Злом, оно — сладостная духовная пища, питье, что «опьяняет воодушевлением грядущие поколения»:

«Пусть и ад сожрет и сатана всё скосит,
На могилах вновь цветы возникнут
Для далеких, ныне поколений...
Младо жито наливай колосья,
Ведь до срока наступает жатва.
Горы жертв святых вокруг я вижу...
Воплей голос горы оглашает».

Разве не прекрасно умереть геройской смертью? Разве не ужасна, не презренно-смешна старость? Образ её и смешон и жалок:

«Остареть, ах хуже сраму нету!
Ослабеют ноги, глаз не видит,
Помутнеет разум в черепушке,
Лоб насуплен словно у ребенка,
По лицу же впадины-морщины;
Глазки мутны — убежали в череп;
Гадко смерть из-за подлобья щерит,
Словно жаба из своей коросты...»

⁴ Даю всюду свой перевод.

О чем сожалеть? Славу падших воспевают и слепые гусляры! Гусли были в доме каждого черногорца, ибо «А где гуслы на дому не слышно, Там всё мертвко и изба и лоди». Храбрая, жертвенная доблесть зажигает дух и тело отчаявшегося народа: «Удар в камне искру порождает, Без него бы в камне и осталась». Встречая окровавленных слуг и друзей, владыка Данило⁵ спрашивает: «Вы кто, волки,⁶ или лисицы?» Это значит — герои вы или трусы. От побед высоко в небесах ликуют белые стаи душ прадедов, «как стаи дивных лебедей, что играют в чистом небе над лицом светлого озера». Чудесная же это картина, в духе народной поэзии и поверию! Над дымом боевого поля, над кровью убитых и воплями раненых, но победивших, ликуют белые стаи гордых лебедей — духов. Павшие и победители равно счастливы и прекрасны как звезды, их зажгло геройство, и сами кости прадедов осветились радостью и взыграли в могилах. Истинная слава — «Вечный светоч в вечной тьме, что горит, а не сгорает, не теряет света... После туч яснее небо, после горя душа чище». На вопрос, почему же старик игумен не оплакивает множество убитых черногорцев, он отвечает, что его душа поет, а от радости замерзают слезы. Слепец сам, он вопиет: «Нет воскресения без смерти!» Умирайте же славно, если нужно умереть, «раненая честь народа жжет, как пламень гордое сердце». Всё пропало только в одном случае — если в персях умерла свобода. Конечно, оба мудреца, — глашатаи дум самого Негоша, — владыка Данило и слепой игумен Стефан — видят жизнь как борьбу за золотую свободу, честной Крест и честь против Полумесяца. Но и всё на Земле, по их мнению, пребывает в апориях (противоречиях), в столкновении.

«Мир — смешенье адского разлада,
 В нём борется тело с душою,
 В нём борется море со брегами,
 В нём борется холод с теплотою,
 В нём борется ветер против ветра.
 В нём борется народ со народом,
 В нём борются дни и тёмны ночи,
 В нём борются духи с Небесами...»

⁵ Герой-мыслитель в «Г. в.», alter ego П. П. Негоша.

⁶ Волк любимейшее сербско-черногорское имя. В «Г. в.» пять героев называются Волк, да еще два — Вукота. Имя это связано с язычеством. О нем у сербов есть чудная работа Г. Джорджевича.

И нет конца борьбе Добра со Злом. Такова история людей, да и сам человек в его таинственной судьбе здесь на Земле-Матери. Только женщины жалуются, герои же терпят, побеждают или гибнут, чтоб быть увенчанными бессмертием. Бессмертие у Негоша всё в сиянии, в блеске и в нестерпимо жгучем пламени.

СВЕТ, ОГОНЬ, ЦВЕТ, ЗВУК И ЗАПАХ

Ряд исследователей Негоша, и я в их числе, указывали давно на особое значение у него огня, света, сияния. Пора перейти и к статистическо-дескриптивной работе, от впечатлений — к цифрам, от рассуждений — к примерам. Молния в «Г. в.» упомянута девять раз, да еще один раз по-турецки — илдерим. Молнии предвещают войну: герой видит, «как скрестились две молнии; одна сверкнула от Кома к Ловчену,⁷ другая сверкнула от Скадра к Острогу, — сделали они крест из живого огня». Герои гор, черногорцы, порою словно парят в вышине. Смотрят они, «как из моря, соединившись в толпу», идут густые облака; покрывают они горы — молнией и великим гулом и грохотом страшных громов», а человек мирно греется на вершине, глядя под собою на молнии и рвущийся гром, слушая грохот града «громовых бесплодных⁸ облаков». Огонь, костер, факел, свеча, лампада, кадило, огонь самопала, озаряют страницы «Г. в.». Вспышки выстрелов и свет костра царствуют в ночи и сумраке; солнце сияет, блестит светлое оружие, белые зубы, острые сабли. **Огонь-пламень**, костёр, упомянуты в «Г. в.» тридцать семь раз. Вот, типичные примеры: «хорош огонь, а вино лучше»; «старая душа моя пляшет над вином, как бледный пламень над зажженной водкой»; «огонь электризма души»; «вся природа питается чистым молоком солнца, но и оно, питавшее нас ранее, превращается в палящий нас пламень»; «святой огонь»; душа слепого — «словно пламень в глубине пещеры»; «очи её — две звезды, под коими горит звезда — Зорница»; «телом, как огонь живая»; «очи горят живее пламени»; кровь «зажженная пламеной гордостью»; юноши «пламенных персей»; «пожирая огненными очами»; «ружейный огнь»; «живой огонь» и т. д. За огнем следует солнце, лучи света, месяц с его блеском, звезды то реальные,

⁷ Ловчен — высочайшая вершина в Черногории.

⁸ По-черногорски «яловия облака» — градовое облако.

то символические, типа — «звезда черной Судьбы». Поток сравнений, аллегорий, олицетворений не иссякает до конца «Г. в.»: «Луна и Крест два страшных символа... они идут кровавой рекою в ладье великих страданий. Зачем Луна на Кресте страданий, не бельмо ли на зенице Солнца?» Грозен, жесток, палящ огонь Негоша. Редко он бывает у него тёпл и уютен, как однажды в описании очага Сочельника: вокруг расстелена солома, накрест на нем сложены колоды в честь Рождества и посыпаны густо белоярой пшеницей, политы щедро красным вином; поют гусли, водят хороводы... Это редко, обычно огонь есть пламень, а пламя попаляет, но оно же и очищает Золото.

Звук разнообразен и ярок в «Г. в.». Мы встречаем здесь ряд характерных междометий. Они делятся на междометия чувства — звука и междометия — быстро законченного действия: Ай, аох, э, эма, куку, пи, нико ни у нос,⁹ цик. Если считать за звуко-слова такие выражения, как: заикнулся, заговорил, отзовик, эхо, гогочет, поет, петухи поют, то насчитаем около ста тридцати таких особых слов. Иногда звуко-слова следуют одни за другими: «Начался вопль, топот, грохот, писк, попадали шапки» (пожар в театре) «Вокруг боевого поля, гремят ружья, вопят тысячи молодцев и каркают стаи воронов». «Гремят ружья, на вертелах вертят туши, гусли гудят, хороводы поют... все сравнялось в дивной радости. Порою, образное представление удара превращается в звуко-картину. Мусульманин говорит, что если Магомет «взмахнет своим шестопёром, то от удара и Земля запляшет, как пустая тыква на воде». Осажденный в горящей уже башне черногорец «громко и высоко поет» героическую песнь.

Цветов немного в «Г. в.», главные — черный, красный, кровавый, обагренный и белый. Вот гамма всех цветов «Г. в.»: **кровавый**, — красный (бой, племена, горы, земля, сабля, руки, оружие, поле, алтарь, камень, Дуга, добыча, поле брани, нож, башня, скипетр, Вук, месяц, вино, лицо, люди). **Белый** (башня, пол-лица, борода, неделя, волосы, руки, конь, пшеница, день). **Черный** — траурный (мысли, очи, разговор, сестра, цвет одежды, лицо, женщины, пол-лица дьявола, судьба, дьявол, дым, Гефсиманский сад, Мамон-Магомет, дни, усы). **Мрачный**, **бусой** (Волк, взгляд, разговор). **Сивый** (сокол). **Голубой** (голубоглазые гурии). **Синий** (море). **Серебряный** (весла). **Пестрый** — цветной (пасхальные яйца, актеры, дикие кошки, кони). **Каурый** — пестрый в яблоках (конь). **Бисерный** (зубы,

⁹ Приблизительно — ни гу-гу!

гривна). **Золотой** (крест, боевой нагрудник). **Зеленый** (поляна, доломан). Кроме того, цветовой оттенок в речи дают такие словосочетания, как «мрамор костей», «цветущий венок¹⁰ невесты», «уста зажженные розою», «румянец крови» и т. п. Иногда у Негоша свет и цвет сливаются — «засиял золотой крест», что усиливает впечатление, но к этому, излюбленному у Мицкевича приему, Негош прибегает очень редко. Всего у Негоша в «Г. в.» каких-то двенадцать-тринадцать цветов и распределены они неравномерно; в повторах преобладают кровавый, красный и черный. Так и встает в наших глазах страна гор и грома, крови и дыма, серых скал и людских костей.

Запах у Негоша, как и у Пушкина, не играет существенной роли: Святой ладан, окадить могилу, хрень — противоядие от ведьм, смрад потурченцев, смердит басурманством, Земля провоняла Магометом, тяжкий запах нехристей, в Венеции — смрад великий и духота, базар смердит басурманством. Вот и всё. Нет ароматов чебреца, хвои, трав, цветов. Не до них было черногорцам и их Владыке. Правда, раз Негош сказал: «Нет ничего на свете прекрасней веселого лица», но сказал он это только один раз!

«Евгений Онегин» прежде всего роман; в его центре любовная трагедия Татьяны, а позже и Онегина. Манера изображения — сатирическо-реалистическая, «время расчислено по календарю». Основная сила впечатления состоит из оркестровки темы любви, она — в отступлениях, в той непревзойденной интимной близости автора к читателю, в дружественности звонкого голоса поэта. Нет в европейских литературах поэмы равной «Е. О.» по её реально очаровательной близости и ласковой простоте великого словесного мастерства. Тут то элегия, то сатира, то счеты с критикой, то картины сельской жизни, то раут, то призыв к реализму и высмеивание устарелых литературных жанров, то серьезная исповедь автора. Особенный, свой стих и размер, типа сонета, с часто суммирующей строфу концовкой. Всё — форма, звук, стих, присно Пушкинские; муга «Е. О.» на легком звонконогом Пегасе, — то на земле, то в воздухе. Около двух страниц занимает в конце «Пана Тадеуша» описание платья юной Зоси со всеми пуго-

¹⁰ Слово имеет три разных значения, венок, венец, волосы.

вочками, ленточками, оборками, корсетцем, исподницей, рукавами и прочими деталями литовского народного наряда. Описание блестящее по краскам, живости и форме. И Пушкин нам тоже представил свою Таню в новом блеске на рауте. Но сказано лишь — «Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит». Малиновый берет на черных волосах, вот и всё. Раньше упомянуты движение, восторженный шепот, как рама для прелести и грации входящей на раут Тани («По зале шепот пробежал»). Одна черта, несколько штрихов, стих-два о впечатлении других лиц. Предельная скромность,¹¹ логическая стройность композиции всех частей картины. Читатель сам дорисовывает прекрасный образ; вспоминает, что под платьем — прелестные ножки, что очаровательны плечи Тани («с её прелестного плеча»)... В этом сказался весь Пушкин! Он сам отлично сознавал, что «прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна». Да что там! Друг-приятель, образованный критик и сам поэт — А. Бестужев-Марлинский поучает и попрекает Пушкина за «Онегина»: «Конечно, многие картины прелестны; но они не полны. Ты схватил петербургский свет, но не проник в него». Далее Марлинский рекомендует Пушкину поучиться описанию Петербурга у Байрона. Ой советует писать о том, что «возвышает, что трогает русское сердце» и восклицает: «Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка!» Так писал 9-го марта 1825 г. Бестужев писал после всех разъяснений Пушкина о значении темы, об искусстве и о большом труде, влагаемом в «Онегина». Не могли современники (м. б. один Гоголь мог!) понять слова поэта: «В зрелой словесности приходит время, когда умы наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам и к странному просторечию...» Где там! И через сто сорок лет многие предпочитают романтические побрякушки или словоблудие модернистов великой гармоничной красоте живого тела языка Пушкина! Скупы краски, сжаты описания. Всюду полет быстроты («летел», «помчался», «полетел», «во весь опор», «дни мчались» и т. д.), легкость подков серебряного звука, бег саней, вихрь вальса, бурление седого потока...

¹¹ Негодуя на романтические побрякушки, Пушкин писал: «Должно бы сказать: рано поутру, а они пишут «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба...» Не ново, не свежо... разве оно лучше потому только, что длиннее?»

Свет и блеск. В «Е. О.» больше блеска, чем света в прямом смысле этого слова. **Блестящий**, один из любезнейших эпитетов, любимейшее украшение Пушкина на всем протяжении поэмы-романа. Вот к каким понятиям и вещам он применен: читатель, воспитание, Фонвизин, век, дом, бал, победы, ложи, мир, чувство, очи, блеск в очах, мы не блестим, самовар, крыло мотылька, взоры, блестки мадригальные, дама, хладно блещет остротой, солнышко, ковер зимы, свет блеснул, блестает речка подо льдом, шум блистательных сует, блеснул мороз, искрами блистая, пистолеты, синея блещут небеса, метель, всё что ликует и блестит, свеч блистанье, столица, средь жен и дев блестит одна, с блестящей Ниной Воронскою, блеск и шум и чад, весна блестит и другие. Если же к этим тридцати пяти блещущим предметам, понятиям, лицам, формам прибавить заметку, что «блеск» повторяется, как определение при некоторых упомянутых словах, то впечатление усиливается. Следует привести и синонимы для блеска и сияния: легкий вздор сверкал, ослепительно была, сверкает Ипокреной, сияет луч светил, томный свет, край земли светлеет, зари восход, неотразимыми лучами, страстью пламя, огонь души, играет солнце, луна сияла, веселый изливают свет, под весёлое стекло, поэтическим огнем, лед и пламень, пламенная младость, пламенный творец, зари багряный луч играет, багряною рукою заря, Авроры северной алей, дрожит печальная луна, на солнце ичей, огонь светильников, сиянье розовых снегов, даль лежит светла-необозрима, лик луны, падучая звезда по небу темному летела и рассыпалася. Приняв такие слова и словосочетания во внимание, нам станет понятно исключительное сверкание и блеск «Е. О.». Всё в сиянии, всё блестит в своем быстром движении. Но любимейший эпитет «Е. О.» — «блестящий» и слово блеск, блистанье! А надо всем стоит некий отсвет и сияние. В картинах соприсутствуют — движение, свет, цвет и особая оркестровка тонов. Картины реальны, но они и звучат, в них — динамизм и цвет, краска, свет и звук голоса сливаются:

«Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные леса,
Как-будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;

Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей...»

Природа молода, она просыпается: улыбка, блеск, движения, голос! А вот звуко-свето-весна Пушкина в Царском селе:

«В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне...»

Часто картина писана резко-четкими мазками. Предложения разделены точкой. Они кратки:

«Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал».

Краски не густы. По сравнению с Мицкевичем, Пушкин сконцентрировался на них. Но цветов не мало, меньше оттенков. Всех их двадцать — много — двадцать два: **Белый** (забелить, пена, столпы, белиться, белокаменная, белый). **Брусничный** (вода). **Голубой** (глаза, небо, столб дыма). **Зеленый** (луг, леса, стол). **Золотой** (нивы, чертог, Италия, уголь, дни, серьги, осень, крестьи). **Красный**, кровавый, алый, багряный (кушак, колпак, каблуки, лапки гуся, ростбиф окровавленный, окровавленная тень, обагрилась рука, Авроры алей, кровавил волну, языки кровавы, луч багряный, румянный вербный херувим, румяные уста, румяная свежесть, покраснела, красна). **Маков** (лицо, как маков цвет). **Розовый** (облатка, розоветь, розы, розовый снег). **Малиновый** (берет, малины?). **Пестрый** (лапоть, пестрят долины, главы поэмы, полк ливрей, людьми хоры, луга, фараон,¹² нивы, изразцы печей, жизнь, слог). **Поблекший** (цвет жизни). **Радужный** (крыло мотылька). **Серебряный**, серебриться (деревья в зимнем серебре, воротник, морозы). **Лыняной** (локоны). **Седой**, в сединах (поток, пастух, старик). **Сероватый** (порох). **Синий**, синева (лед, воздух, небеса). **Рыжий** (парик). **Чалый** (лошади). **Черный**, чернеть (кудри, бездна, мечты, монах, засмолёный). **Бледный**, бледность (цвет, лицо).

Звук гораздо богаче и разнообразнее цвета в «Е. О.». Вдохновение неизменно приходило к Пушкину в звуке. Апол-

¹² Карты в особой игре.

лон касался «до чуткого слуха» и душа, затрепетав в смятении, отвечала стихами — они «журча лились». Кроме того, сама быстрота переходов, движения, связана же как-то и со звуком! Прав был В. Виноградов, что композиционный строй произведения, его стиль и язык, зависят от своеобразия «речевых звеньев» данной эпохи (добавлю — и поэта). Конечно, надо следить за «структурным единством системы средств и форм словесного выражения».¹³ Пушкин в своей краткости и лаконизме любит междометия-восклицания. Они придают оттенок интимной близости, делают речь романа насыщенной живыми прозаизмами: «Татьяна ах! а он реветь», «Гм, гм, читатель благородный», «О, так пойдем же», «Да кто она? Так ты женат!» «Ей-ей!». «Ну, что бы ни было», «Ох, мой отец, доходу мало!». «О страх», «Чу... снег хрустит», «Ну! не стой, пошел!». «Увы, Татьяна, увядает», «Ага! давно ж ты не был в свете» и т. п. Всех их около двадцати видов. Одни междометия надсмеиваются, другие — понукают, третья выражают радость, страх, удивление. Об одних междометиях в «Е. О.» можно написать интересную работу, подобную работе покойного Б. Томашевского о предлогах у Пушкина.¹⁴ Пушкин, как доказал Оксёнов, обладал исключительным поэтическим слухом («О поэтическом слухе Пушкина»). В «Е. О.» найдем свыше 136 звуковых и звукоподражательных слов — более, чем у Негоша, но меньше, чем у Мицкевича. Стесненный размерами статьи, я привожу лишь наиболее характерное для поэмы: «гримучий непрерывный звон» — о лире; звон колоколов; рожек и песня удалая; подблюдны песни; журчанье тихого ручья; шумит, клубит волной своею — кипучий, темный и седой поток; звучнее голос лирной; топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; и запишит она, Бог мой; рев скрипок;очные перекликались часовые; соловей напевы звучные заводит; затяните песенку; да перестаньте плакать и всё одно и то же квакать; гусей крикливых караван; шипел вечерний самовар; жук жужжал; звонкие кувшины; вняв пенью сладко-звукных строф; наследников сердитый хор заводит непристойный спор; и он мурлыкал...; по зале шёпот пробежал; мятеющий колокол утих; слушать шум морской, немолчный шёпот Нереиды, — глубокий, вечный хор валов, хвалебный гимн Отцу миров; бурлаки... унывшим голосом поют; ямщики поют,

¹³ См. «О языке художественной литературы», стр. 162, сл.

¹⁴ См. Словарь языка Пушкина (1957-59 гг.), т. II, стр. 9. О союзе «и», см. стр. 163, сл.

и свищут и бранятся. — Поэт был несомненно прав утверждая: «В душе моей едины звуки переливаются, живут, в размеры сладкие бегут».

Аромат, запах не интересует Пушкина, тут он беднее Мицкевича и даже Негоша. В «Е. О.» два-три упоминания о запахе, да и то главным образом не о цветах: «духи в граненом хрусталье»; «душистый чай»; «в душистых сединах». Есть писатели, напр., А. Франс, И. Тургенев,¹⁵ очень чуткие к запаху и любящие ароматы. Пушкин о благоуханиях обычно молчит, о запахе говорит редко (Ср. роль запаха дыма в «Капитанской дочке»). Блеск и полет, порою, цвет, а надо всем радостная, или грустная музыка стиха, форм, картин, охваченная в своей гармонии мыслию гения нагой красоты русской речи. Не в одной звучности слова или стиха тайна Пушкинской музы. Смысл и звук, ритм и описание движения в полной гармонии. В этом основное обаяние светлой и уравновешенной поэзии Пушкина.

Поэма Мицкевича «Пан Тадеуш» раза в два обширнее и многословней и «Г. в.» и «Е. О.». Стих её, как правило, три-надцатисложный; ударение всегда, по правилу польского языка, на предпоследнем слоге и создает известную монотонность. «Пан Тадеуш» писался в эмиграции, в годину бед, разгрома и унижения Польши. «П. Т.» — отдых для души поэта, невольно попавшего в изгнание. В этом эпосе, в этом романтическом цветке польской литературы восторг и упоение прошлым родного края, блеск фантазии, половодье красок, звуков и всего буйного потока весенней жизни родной Литвы. В «П. Т.» отражается большая любовь автора к польской Литве, к истории, легендам, и особенно к шляхте. Всё почти сказочно прекрасно. Не случайно и заключение:

«И я там с гостями был и мед и вино пил,
А что видал и слыхал, то в книжку поместил».

Но вместе с тем в «П. Т.» трудно читателю понять о каком времени года идет речь. На окне героини — левкои, герани, фиалки и астры! В другом месте упоминается в мае золотое

¹⁵ См. Ю. Никольский: Тургенев и Достоевский. (История одной вражды). София, 1921.

жито, крокусы и зрелые колосья. Юный Тадеуш мог попасть из ружья в брошенный в воздух червонец! Но и в двух шагах он промазал в медведя, и не мог попасть из пистолета на расстоянии шага в майора Плути.¹⁶ Достопочтенный Мацей на пиру перевернул вверх дном свою тарелку в знак того, что отказывается есть; автор быстро забывает об этом и заставляет героя «обмакнуть хлеб в суп» и продолжать кушать. Косари куют косы в такт молоточками после каждого ряда-отвала (должны бы точить брусками). Из решета Зоя сыплет корм тысяче-другой домашней птицы («тысячи глаз»). Не хуже фантазий Г. Сенкевича, у которого Л. Подбипента одним ударом меча срубил три головы, да еще с цепочками шлемов, и герой Мицкевича в бою с русскими саблей срезает штыки со стволов ружей, «как фитиль со свечки». Поляки чаще всего считаются лишь с красотою, с *licentia poetica*, с тем, что «поэтическая правда отлична от реальной жизни». В зрелые годы ни Пушкин, ни Негош так не думали и не писали. Стих «Тадеуша» подчас однообразно однотонен, рифма а-а, б-б, с-с, замыкает струи монотонного тринадцатисложного растянутого стиха. Но по мощи звуков, разнообразию красок, ширине охвата деревенско-шляхетской жизни, «Пан Тадеуш» далеко пре- восходит семейно-деревенский и позднее — столичный роман «Евгения Онегина». Трудно не восхититься тяжеловатым, но и неотразимым ударом словесной «кисти» Мицкевича. Он просто влюблен в цвет и свет, шум и звук, гром и грохот литовской своей отчизны. В. Виткевич¹⁷ первый, еще в конце XIX в., обратил внимание на Мицкевича-живописца, на его краски. Сам художник и теоретик в области эстетики, он был поражен «претворением природы в чистое сияние света и цвета» в «Пане Тадеуше». Ему было важно не что, а как. И у Мицкевича «свет и цвет, видимые в каждом описании, находятся в беспримерной гармонии. Под слова поэта можно писать тона красок». Картины у Мицкевича в значительной части и написаны ради красок. «Без зрения, как чувства, без чувственного глаза, нельзя быть ни поэтом, ни эстетом», говорит Виткевич. На мой взгляд, это не совсем так, важнее поэтический слух, чем глаз. У Мицкевича же обычно всё как-

¹⁶ Adam Mickiewicz: *Pan Tadeusz*. Opracował Stanisław Pigoń. Kraków, 1949, I, 9, 95, 185, 192.

¹⁷ Stanisław Witkiewicz: *Mickiewicz jako kolorista*. I (1885). Цит. по изд. 1947 г., см. стр. XVI, 7, 27 и 36. На эту работу обратил мое внимание проф. К. Ровицкий.

то помпезно-парадно, наряжено, по-весеннему ярко: сады и женщины, цветники и огороды, леса и поля, оружие и седла. Такую фразу из «Е. О.», как — «Ох, мой отец, доходу мало» можно встретить только ради комического-веселого эффекта. Графу-герою, чудаку и художнику почудился разрушенный замок в блеске обновления. Мицкевич описывает подробно, как туман и солнце скрыли истинный вид замка от глаз романтика-графа. Читая «П. Т.», эта сцена пришла не раз мне на память: далеко от Литвы, у Мицкевича всё в ней оделось в романтический туман и заблистало в его прорывы в утреннем солнце весны. Так и прошлое, и Литва 1811 г. и 1812 г. — «О, этот год!» восстало в памяти поэта в волшебном блеске романтической фантазии. Манера преувеличения выступает ярко в сцене, где почтенного возраста пан Войский трубит в охотничий рог. Глаза его наливаются кровью от усилий, силы его на границе напряжения. Голос рога почище Роландова вызывает и неимоверное эхо, словно это не раскатисто-мягкое эхо леса, а гром эпического рога в Ронсенвальском ущельи. Все средства художника-Мицкевича напоминают произведения и язык В. Гюго в расцвет романтизма. Голос Мицкевича часто не поет, а кричит, это пение без передышки. Пушкин и Негош редко покажут весь диапазон их голоса. Мицкевич трубит: «...Схватил свой длинный буйволовый рог, испещренный бляшками, извитой как боа, и заиграл рог словно вихрь; неостановимым дыханием несет он в дебри музыку и удваивает её своим эхом. Замершие стрелки стояли удивленные мощью, чистотой, дивной гармонией пения... И тотчас (рог) наполнил, оживил леса и дубровы словно распустил в них, своры псов и начал ловы... Отзвук резкий, звенящий — сигнал, игра голосов собак и затем тон твёрдый, как грохот — выстрелы... Эхо еще играло. Задул в рог снова. Рог изменил теперь облик звуков и в устах Войского то понижал тон, то становил издавая звериные звуки, то словно из волчьего горла длинно-прерывисто завывая, то как из медвежьей разверстой пасти рыкал, а потом словно мычание зубра разорвало воздух. И, услыхав чудо высшего искусства игры на роге, его эхо повторяли дубы — дубам, букам — буки... Вновь задул в рог: и как бы в роге было сто рогов, слышны стали вперемежку выкрики преследования, гнева, тревоги стрелков, свор собак и зверей... Войский вверх поднял рог и гимн триумфа ударил в облака... Рога в лесу переносят песнь одни другим, как от хора к иному хору; и шла музыка эта всё чище, всё совершенней, пока не замерла где-то вдали широко и далеко, там где-то на пороге небес!»

Не менее характерно и интересно описание кваканья лягушек в двух смежных прудах: «Ухо Зоси различает среди тысячи голосов, среди гомона, аккорд мушек и фальшивый полутон комаров. В поле вечерний концерт едва лишь начат. Оркестр только кончает настройку инструментов. Уже трижды крикнул коростель — первая скрипка луга, уже ему издали вторит с болот бас выпи, уже бекасы, взлетев вверх, выются бебечка¹⁸ раз за разом, как бы бьют в бубны. В конце мушиных жужжаний и птичьих голосов отозвались, разделенные этим хором надвое, оба пруда, подобно зачарованным озерам Кавказа, что молчат целый день и играют вечером. Один пруд, чей тон был ясен и берег имел песчаный; голубой грудью издал звук тихий, торжественный. Другой пруд болотистого дна, с горлом мутным, отвечал ему жалобно страстным криком. В обоих прудах пели бесчисленные полчища. Оба хора слились в два больших аккорда: тот загремел *fortissimo*, этот — вполголоса напевает тихонько; тот кажется, что стена, а этот — только вздыхает. Так говорили друг с другом через поля оба пруда, как попеременно играющие две Эоловы арфы...» Переводить Мицкевича не трудно, а попробуйте прозой переводить П. Негоша. Труд очень большой и не всегда успешный.

Богатство звуков, форм и красок, цветов и их оттенков у Мицкевича просто поражает. Одних междометий восклицательного типа (тьфу, ату, хлоп, шлёт, бац, увы) ровно тридцать типов! Прибавьте слова-звуки вроде (курлыкать, хруп, звяк, лязг, бурканье, урчание, рёв и т. д.) их в «П. Т.» пятьдесят пять! Если же присоединить слова, описывающие звук, слова-понятия типа поведать, рассказать, болтать, смеяться, петь, напевать и т. д., то таких слов будет сто тридцать. Вот, напр., только начало описания бури над пущей. «...Вихрь неистовствовал иногда над недвижными водами леса, стоном, шумом, воем, грохотом, громом: чудный, одуряющий гул! Мне казалось, что повисшее там — над головою, — неистовствовало море.. И снова тишина внизу». Мицкевич описывает бешенную схватку трех вихрей, он рисует, как в ярости один из них головой вертит земной прах, вгрызаясь в почву, а «ногами сыплет песок в очи звезд»; как вихри медведицей ревут в пуще. Облик, шум

¹⁸ Это слово из польского проинклио в западно-русские диалекты. С. Т. Аксаков («Записки ружейного охотника», глава Бекас) дает только «таку-таку» и говорит, что «бекас токует». Я для перевода предпочитаю более звучное. Л. Толстой говорит о звуке бекаса «надирание тугой ткани» (Анна Каренина).

и струи дождя описаны со всей силой романтического преувеличения и моцца чувства. Слова подобно ливню и вихрю шумят и бьются, льются, журчат и текут потоками.

Свет, тень и огонь. Мицкевич дает в «П. Т.» более пятидесяти разных светов, бликов, отсветов, молний, вспышек и т. д. Белые стены он ставит на ярком зеленом фоне, «солнце (еще) сонных уст раннего утра» и в нем пальчики Зоси «маленькие, свернутые, на свет — розовые, краснели насквозь, как рубиновые». Дам еще одно-два характерных описания света-цвета. «Мгла не поднялась вверх, как обычно случается, когда собираются тучи, но все опадала; ветер раскрыл свои ладони и ласкал и проглаживал, расчесывал туман на пряди. В это мгновение солнце тысячью лучей обливает почву, серебрит, золотит, румянит, как пара мастеров в Слуцке делает чеканно-тканый пояс...» Или: «Земля, позлащенная солнцем, светилась уныло золото-красная. Уже туча, развертывая тени в виде сетей, вылавливает ими остатки света и летит за солнцем, словно хочет его похитить у Запада... На мгновение горизонт лопается от края до края, и ангел бури в виде бесмерного солнца вспыхивает своим лицом, и снова покрытый саваном помчался он в небо, а врата туч защелкнул перуном...» А блеск пригоршней месяца на струях ручья, как он подробно и ослепительно описан у Мицкевича! А белые головки детей на фоне развернутого, блещущего радугой павлиньего хвоста. Нет конца и края краскам, свету, звукам, зелени, цветам: золотистые булавы кукурузы, ангельская трава в серебристых полосках, коралловая пролеска, зеленый просвирняк и т. п. Даже лесные грибы разоделись у Мицкевича по-шляхетски и пришли на пир красок в литовский зеленый лес: «...Грибы — украшение лесов, на зелено^й скатерти полян — словно ряды столовой посуды; круглых краев серебристые сыроежки, желтые и красные, как бы чарочки наполненные разным вином; козляк, как выпуклое дно перевернутого кубка... белые грибы — круглые, широкие, белые и плоские, словно налитые молоком саксонские чашки, и шаровидный, наполненный черноватой пыльцей дождевик — будто перечница...» Такова же изысканно цветистая одежда женщин. Сам автор сравнивает развратницу Телимену с «пестрой гусеницей, когда она выползет на зеленый лист клёна». И так до конца книги нет перерыва переливам цветов, описанию звуков (особо игра на цимбалах Янкеля), красок, оттенков в природе, людской одежде, на земле, в небесах и на воде! И что лучше всего — свет и цвет у поэта-художника в

полной гармонической связи. Гамма цветов и оттенков исключительно богата и разнообразна. В виду повторения в тексте некоторых цветов и оттенков, даю объяснения, как я их считал и выделял. Напр., **Белый голубь и белый, как снег** — для меня — два оттенка. Так же **розовые щеки и розовый закат** — два оттенка и т. п. Если же сравнение или цвет повторяются — то он уже считается за включённый. Особыми цветами считаю и **желтый и янтарный, желтоватый**. Сосчитав все цвета, оттенки и переходы цвето-света, получаем сто сорок упоминаний! (**Белый — 26; голубой — 4; желтый — 6; красный, пурпурный и т. д. — 18; разноцветный — 12; розовый — 8; серебряный — 7; золотой — 19; коричневый, бурый — 5; серый — 6; синий — 3; черный — 8**). Самыми ярко-контрастными цветами чаще всего и пользуется Мицкевич: **Белый, красный, золотой**. Прибавим, повторяю, описания света, зари, месяца и т. д. и весь «Пан Тадеуш» засият, как весенний луг в лучах майского солнца.

Запахи у Мицкевича не очень богаты, но богаче Пушкинских, или использованных Негошем. Основные: ароматное сено, травы, пахучая конопля, запах мускуса, запах свиного сала, бигоса; благоухание садом, благовонные ветры, запах духов, запах роз, камфора, запах еды, аромат цветов, запах кофе, запах зелени (зелья), каждение, дымная вонь колодцев в пуще; кислая капуста.

Когда Мицкевич писал свою поэму, его современникам были понятны дела шляхетские, ссора Горжешиков с Соплициами, история легионов Домбровского, сцены набега шляхты на замок и т. д. Давно, вместе с Наполеоном I всё это ушло, быльем поросло, и теперь мало кого трогает и умиляет. Но симфония красок, но весь оркестр звуков пленяет, не может не пленять каждое чуткое ухо, каждый зрячий глаз.

В заключение попытаюсь дать свое толкование глубинного значения этих трех эпических-романтических произведений. «Г. в.», «Е. О.» и «П. Т.» ослепили современников, да у современников и не было полуторавекового расстояния для понимания того, что было частью скрыто и от самих авторов. «Евгений Онегин» впервые подробно и точно говорит о болезни русского общества и о трагедии — лишних людях.¹⁹ Онегины протестуют, скучают, либеральничают, Онегин —

¹⁹ См. мою статью *Les types des héros dans la littérature russe. "Monde Nouveau"*, vol. XXI, No. 10. (Montréal).

больше интеллигент, чем дворянин. В нем высокомерие разум-рассудка губит свою и чужую жизнь. Он — сухой лист с дре-ва жизни России. И Онегин унесен роком в небытие. В нем много от духа и плоти, судьбы и очарования русского лево-душного интеллигента, путника без компаса, скитальца без веры. Но что его должно заменить? Об этом нет намека в «Е. О.», разве знание и любовь самого Пушкина к России и ко всему «русскому душою». «Г. в.» нечто совсем другое. В нем, для меня, прообраз бунтарско-непреклонного стремле-ния стать и быть хозяином у себя. Даже начавшие восстание XVIII-XIX вв. турки и сами дахие славянского происхожде-ния, утверждали перед султаном, что и у них поют муэдзины и их слушает рая.²⁰ О, этот дух не умер. Негош говорит: Пусть Турция сила, а мы в горах, с чувством свободы в серд-це, и мы самостоятельны! Мы дерзая живем, и живем дерзая. Этот, по преимуществу сербско-черногорский дух и дал Гор-ний венец югославянам.

Мицкевич — романтик. Он — ослепление своим прош-лым, своим шляхетско-буиным. Это гордый, врожденный го-лос крови, врожденная романтичность. Её найдем ранее в трудах и мыслях Генэ Вронского, позднее у Словацкого, еще позже даже у Сенкевича и Тетмайера.

По своему пафосу, своему восторгу, даже по своему юмору, Мицкевич был типичным представителем романтиче-ского подхода к истории, к жизни и людям. И вместе с тем есть в «Пане Тадеуше» великая истинная любовь, есть тон-кий артистизм. Любовь же и Религия, Труд²¹ и Красота могут спасти жизнь и Польши, да и всех людей, если они в трезве-нии ума ходят путями Господними.

P. Плетнев

²⁰ Рая — турецк. вульг. — христиане.

²¹ О значении труда, работы для верующего см. чудесную книгу кардинала Вышинского “L’Esprit du Travail”, перев. с польского.

М. М. ПРИШВИН

Когда умер Пришвин, — столько ярких, теплых воспоминаний поднялось в моей памяти... Я знал Пришвина в течение полутора десятка лет в самом начале его творческой деятельности, когда только определялся его талант. Мы были с ним близкими друзьями и я горжусь тем, что мне удалось, быть может как никому понять его мятущуюся душу.

Творчеству Пришвина посвящено уже не мало работ, но все же скажу, что он был талант такой оригинальный, такой своеобразный, что пройдет еще много времени пока удастся правильно его разгадать и вполне оценить. Пришвин был один из талантливейших писателей нашего времени. Это был художник русской природы, глубоко оригинальный, целиком ею проникнутый, как никто другой понимавший ее размах и ее чары. Это было своеобразное творчество! Пришвин не только чувствовал и понимал явления родной природы: наша русская природа нашла в нем (и, пожалуй, только в нем) выразителя и передатчика своих тайн. Читая Пришвина каждый невольно почувствует, что автор говорит языком природы, мыслит ее мыслями. Живя всеми своими чувствами в связи с природой, Пришвин в то же время ставил себе основной задачей искать в ней прекрасные черты человеческой души. «Человечество от природы неотделимо», — говорил он — «она есть часть человеческого общества. Я пишу о природе, а сам только о человеке думаю».

Пришвина мало понимали. Ему ставили в упрек, что он ограничивал свой талант описанием природы. Но это было глубоко несправедливо. Чтобы понять суть творчества Пришвина нужно было шаг за шагом проследить историю развития этого творчества с молодых лет. Я считаю большим для себя счастьем, что знал Пришвина в период, когда определялся «будущий Пришвин». Следя за его деятельностью в тот период мне удалось в ней открыть то, что остается скрытым для других. Лишь себя надеждой, что мои воспоминания об ушедшем на-

всегда писателе внесут свою лепту в правильное понимание и оценку специалистами его литературного наследства.

Я познакомился с Пришвиным в период начала его литературной работы, сразу же близко сошелся с ним и был свидетелем развития его творчества, вплоть до 1923 года, дата моего отъезда за границу.

Наше знакомство произошло при не совсем обычных обстоятельствах. Это был 1903 год. Я только что вернулся из своего большого путешествия в Индонезию во время которого мне удалось побывать в мало доступных, остающихся до сих пор в девственном состоянии местах (Я говорю о Новой Гвинее).

Путешествие возбуждало, разумеется, не мало разговоров в научных кругах и меня, что называется, разрывали на части всякими расспросами. В это время один из коллег пригласил меня на обед, чтобы в дружеской компании послушать мои повествования. За столом я оказался сидящим рядом с неизвестным мне лохматым господином, который сразу же стал спрашивав о вынесенных мною впечатлениях о тропиках. Место и время казалось мне неподходящими для серьезного разговора. Я лично всегда держусь правила: когда я ем — я глух и нем. И мне пришла в голову шальная мысль (другого слова не подберу) прекратить дальнейшие разговоры на эту тему и обратить дело в шутку. Благодушно настроенный я стал рассказывать моему соседу явно в шутливом тоне фантастическую, нелепую историю, как где-то в девственном лесу навстречу мне на тропинку вышла группа обезьян. Я будто выстрелил. Одна обезьяна упала, а остальные бросились, расселись по деревьям и смотрели на меня с укором. Раненая же мной обезьяна, лежа на земле, поманила меня рукой и когда я подошел, она смотрела мне в глаза долгим прощальным взором, пожала крепко мою руку и умерла... История, повторяю, явно шутливая, но к моему изумлению мой сосед, явно взволнованный, нервно поднялся со своего места, руки его дрожали... «Боже, какая потрясающая драма, господа, как вы можете спокойно продолжать обедать после такого рассказа. Нет, нет я не в состоянии и ухожу». И ушел. «Это писатель Пришвин, пояснил мне хозяин, я позабыл тебя предупредить. С ним нужно осторожно: это мудреная личность, у него всегда какая-нибудь белиберда в голове...»

Прошло недели две после описанного нелепого инцидента и я уже успел забыть о нем. Работаю как-то в лаборатории

Академии наук и вдруг на пороге появляется характерная фигура Пришвина. Явно взволнованный, бегло поздоровавшись, он сразу же обращается ко мне с вопросом: «Меня все время мучит одно обстоятельство. Скажите, когда «она» жала руку вам...» «Кто она?», спрашиваю я, ничего не понимая. «Да эта обезьяна. Я сейчас пишу рассказ о ней и посвящу его вам...» Эта перспектива привела меня в ужас. Воображение рисует мне впечатление от этого рассказа в научных кругах. Пытаюсь объясниться. «Да, ведь, это была шутка, кричу я, всю эту историю, поймите, я сочинил, ничего подобного не было.» — «Это он просто напросто наврал, для красного словца», — пытается в свою очередь пояснить, присутствующий при разговоре, мой товарищ профессор Метальников, тоже поняв грозившие мне перспективы. «Нет, — решительным тоном сказал Пришвин, — так выдумать нельзя. Я вас понимаю, вы стараетесь ваш выстрел превратить в шутку и забыть о нем, но все это было. В вашем рассказе я почувствовал глубокую правду и всей душой ее переживаю».

Мне долго пришлось убеждать Пришвина не писать задуманного им рассказа и в особенности не посвящать его мне, но убедить его в том, что взволнованного его эпизода вовсе не было, я так и не мог... «Нет он был, вы просто не хотите, чтобы он лежал на вашей душе» — упорно повторял мой гость. — «И я вас понимаю...» заключил он сочувственно-покровительно пожимая мне руку.

Прошло два-три месяца. За это время мы несколько раз виделись и успели близко сойтись с Пришвиным, а затем и подружились. Дружба наша родилась и окрепла на почве охоты. Пришвин оказался страстным охотником, охотником «Божьей милостью», принимавшим природу и весь вообще окружающий нас мир сквозь призму необычайно сильно проявляющихся в нем охотничьих инстинктов. Не преувеличивая скажу, что самым близким существом была для него ни жена, ни дети, а его легавая собака. Добавлю, что Пришвин никогда не говорил о своей семейной жизни. Как-то раз я выразил ему свое удивление, почему он никогда не приглашает меня к себе. «Уж не боишься ли ты, — сказал я шутливо, — что я начну ухаживать за твоей женой?» «Нет, — совершенно серьезно ответил Пришвин, — «тут дело не в жене, а в собаке». «Как?» — всполошился я, ошарашенный этим ответом. «Да, — пояснил мой собеседник — «я тебя к себе оттого не приглашаю, что боюсь, что мой «Спорт» может открыть в тебе что-нибудь такое, на-

столько близкое его душе, что может свои симпатии перенести на тебя...» Я был очень польщен такими предположениями и не настаивал.

Пришвина (первого периода его литературной деятельности: «За волшебным колобком», «В стране непуганных птиц») мало кто понимал по-настоящему. Его бьющая в глаза оригинальность граничила часто с кажущейся наивностью и у многих вызывала недоумение. Мало того: порой его заподозревали даже в своего рода рисовке. На самом деле никакой рисовки у него не было и я категорически на этом настаиваю. Пришвин всегда был искренен. Его просто, повторяю, не понимали, не умели к нему подойти. Это была сложная, очень оригинальная натура. Он всегда искал и находил в окружающей действительности особый, скрытый для других смысл. Он создал в своем подсознании особый мир, свой собственный, непонятный для окружающих, но в реальность которого твердо верил и в нем жил. Всякое явление, которое останавливало его внимание, принимало в его сознании особую окраску; он видел в нем особый смысл. Как иллюстрацию приведу два известных мне случая. Как-то рассказав ему о периодических перелетах птиц, я стал ему характеризовать тот порыв, которым сопровождаются перелеты и то психическое действие, которое оказывает пролетающая стая не только на птиц оседлых, которые порываются лететь за пролетающими сородичами, но и на людей, которые испытывают чувство тоски по крылу, как я это назвал. Пришвин долго, проникновенно пожал мне руку и ушел не говоря ни слова. Через неделю он принес мне проект рассказа, посвященный перелетам и я в нем увидел те же элементы, что и в рассказе «Смерть обезьяны», послужившим когда-то поводом к нашей дружбе. Пришвин в своем рассказе, описывает общий порыв, вызванный пролетающей стаей журавлей на всем пути их следования, говорил о дьяконе убогой сельской церкви, который будто-бы охваченный безумным экстазом — выскочил на улицу, замахал рясой и вдруг... полетел за улетающей стаей...

А вот второй пример: отправляясь как-то на крайний север России Пришвин хотел познакомиться с теми местами о которых знаменитый Бэр говорил, как об «утре творения». Пришвин по моему совету присоединился к моему другу профессору М., трезвому натуралисту. По возвращении из поездки он осыпал меня упреками. «Ну, нашел кого рекомендовать в сотоварищи мне, — говорил он. — Этот М. на каждом шагу мне все дело портил...» Я недоумевал. «Сам посуди, — объяс-

нял мне Пришвин, — представляешь картину: холодное, полярное море: темное, угрюмое, свинцовое, явно враждебное человеку. Над ним такое же враждебное нам темное, свинцовое, грозовое небо... От этой явной неприязни природы на душе так неуютно и тревожно... И вдруг — что это? Я с удивлением вижу, что кто-то начинает приветливо махать нам с неба белым платком. Окрыленный этим чудным видением я обращаю на него внимание своего спутника. «А... безучастно отозвался он ... да это же *Larus argentatus* (латинское название северной чайки): ты понимаешь? он сразу же убил всё мне настроение, разрушил всю сеть моих иллюзий».

Пришвин избегал всяких банальностей, всего, что могло разрушить мир его фантазии. Как-то в Петербург приехал знаменитый полярный путешественник Фритц Нансен, имя которого гремело по всему свету. Пошли мы с ним на доклад его. Как только последний появился на эстраде, весь зал замер и встал. Пришвин долго в каком-то экстазе смотрел на эту «железнную» фигуру, а потом вдруг неожиданно вышел из зала, не дожидаясь даже начала доклада. Все были поражены. «Фигура Нансена, — объяснил он мне позднее, — меня совершенно подавила. Взгляд на этого человека, одно воспоминание о нем может довести человека до галлюцинации!.. И, знаешь, глядя на него, я вдруг испугался: а вдруг он станет сейчас говорить какую-нибудь банальщину, ведь это разрушило бы создавшийся в моей душе образ «сверхчеловека»!

Оригинальность натуры Пришвина сказывалась во всем. Он не желал подчиняться общепринятым понятиям, ни в чем не выносил рутину, не колеблясь признавался в мыслях, которые возникали у него иногда в его сознании под влиянием тех или иных обстоятельств, хотя их нелепость всем была очевидна. Помню наше с ним путешествие — пешком по Заволжью на хорошо известное в России Святое Озеро, со дна которого в определенный день народ слышал раздававшийся звон колоколов. Вот уже семь дней как мы идем через необозримые, беспросветные леса Ветлужского края. Пробираемся по этой дикой безлюдной глухи, не встречая никаких признаков жилья (какие в те времена встречались чудесные уголки совсем близко от центральной России?). С нами идет случайно встреченный по дороге раскольник. Красочная фигура допетровской Руси, хорошо гармонирующая с окружающей обстановкой. Наш спутник глубокий старик, бредет тоже к Святому Озеру, чтобы принять там активное участие в предстоящей мистерии. Для это-

го он нес с собой (правильнее сказать тащил) огромную тяжелую, окованную железом бадью, помнившую вероятно времена протопопа Аввакума. Во время одной из ночевок в лесу у костра заходит разговор на отвлеченные мистически-философские темы. «Наш начетчик» человек вообще мало разговорчивый. Он явно враждебно отмалчивался. «Послушай, — говорит мне на следующее утро Пришвин, — вот ты старался проповедовать Потапыча, доказывал ему, что не солнце вертится вокруг земли, а наоборот — земля вокруг солнца. Ну, а скажи по правде: ты-то сам твердо в этом уверен, сейчас?..» Знаю, что читая эти строки многие читатели презрительно и в недоумении покнут плечами, но смею уверить, что в той примитивной обстановке, в которой происходила описываемая сцена я ничуть не был шокирован и прекрасно понял Пришвина.

Свообразие мировоззрения Пришвина иногда принимало чисто мистический характер. В нем рождался инстинктивный протест против господствующего миропонимания. В таких случаях он никогда не скрывал своих мыслей и не стеснялся высказывать их публично, несмотря на то, что эти признания не могли встретить, как он знал, ничего кроме презрительного пожимания плечами и открытой насмешки. Как сейчас помню доклад Михаила Михайловича в Русском Географическом Обществе об этнографических исследованиях, где-то в Заволжье (Пришвин одно время занимался в молодые годы и этнографией и даже получил, — хотя он это скрывал, — серебряную медаль от Географического Общества). Зал был переполнен «избранной» публикой, присутствовал даже один из великих князей. И вот характеризуя женское население изученного им района, докладчик рассказал о какой то «девке Матрешке», которая, несмотря на свою незаурядную религиозность, сделалась будто бы добычей темных сил. Эта Матрешка, рассказывал докладчик, исчезла из дома, пропадала трое суток и вернувшись объявила свое отсутствие тем, что ее запер где-то в землянке леший, который ее там подковал «подковами». Шокированный зал разразился хохотом. Но Пришвин ничуть не смущился. «Вот вы смеетесь, — сказал он не без сарказма, — вы, разумеется скажете, что лешего не существует. Согласен, здесь, в этом зале может он и не появляться, но там... Впрочем, — добавил он, оглянув зал победоносным взглядом, — если лешего вообще нет, то объясните мне: кто же подковал Матрешку?» О впечатлении, произведенном на публику этим замечанием,

предоставлю судить читателю, скажу только, что председателю пришлось неоднократно хвататься за звонок...

Насколько мало считался Пришвин с общепринятыми нормами, при официальных публичных выступлениях, дает понятие другой его доклад (тоже в торжественной обстановке) в том же Географическом Обществе. Дело шло о вышеупомянутой мистерии на Святом Озере. Доклад начался так своеобразно, что на лицах у присутствующих я прочел явную тревогу за состояние психики докладчика. В самом деле, подойдя к кафедре, Пришвин, охваченный внезапно каким-то экстазом, забыл обо всем окружающем. Не входя на кафедру, не делая обычного вступления и даже обычного обращения к публике, он вдруг порывисто опустился на пол эстрады и низко наклоняясь во все стороны, касаясь головой пола, пополз по эстраде все время приговаривая каким-то придушенным шепотом: «ползут, все ползут, — тут, здесь, там... везде... мужчины, женщины, дети — все ползут...» Пришвин разумеется, рисовал в лицах картину религиозного экстаза поломников. Публика была шокирована, но все же на этот раз поняла его. Но в дальнейшем опять не обошлось без курьезов. Докладчик с упоением, жестикулируя головой, руками и ногами, описывал sectу каких-то «бегунов», которые всю жизнь проводят в ямах не выходя из них ни на минуту. Заметив общее недоумение, Пришвин, словно снисходя к наивности публики, добавил: «Да физически они все сидят на одном месте, но мысли, запросы души все время блуждают по всей вселенной...» Зал насторожился и притих.

Был период и очень продолжительный, когда Пришвин жил в каком-то волшебном мире, мире сказок. Он не хотел мириться с прозой жизни, с житейской действительностью. В нем всегда боролись, не уживались две личности. С одной стороны это был глубоко культурный, серьезный и современный человек, но в то же время его душа вся тяготела к примитивным пережиткам старых времен, времен, когда наши отдаленные предки жили в фантастическом мире, отголоски которого дошли до нас в нынешнем мире сказок. Пришвин прекрасно сознавал, что дело идет об области небывалого и в то же время, по крайней мере в течение всего раннего периода своего творчества он инстинктивно душой стремился к этому небывалому. Он предпринимал ряд странствований по Европейской и Азиатской России. В этом стремлении к сказочному, небывалому Пришвин кончил тем, что стал чувство-

вать это «небывалое» везде где жил, «у себя под боком», как он говорил.

Вся его деятельность в течение этого времени была проникнута мало понятной для свежего человека фантастикой. Должен сознаться, что часто с трудом понимал ее и я. Както он поделился со мной своим проектом летней поездки в дебри Сибири, в Тарбагатайские горы. «Я убежден, — говорил он охваченный экстазом, — что эта всем известная трогательная история розысков Иваном Царевичем похищенной у него прекрасной Царевны произошла именно в Тарбагатае, а стало-быть там и нужно искать следы этой чудесной погони». И опять-таки я сразу понял потаенную мысль моего друга. Его не только тянуло познакомиться с природными особенностями этого своеобразного уголка Азии, и знакомясь с этим краем, приобщиться душой к этой природе, но он мечтал в то же время окутать свою поездку мистической сказочной фатой. И Пришвин действительно осуществил свою мечту, он побывал в Тарбагатае и много рассказывал мне об этом. Он уверял, что он отыскал перышки, которые догадливая царевна, увлекаемая серым волком, бросала по пути, чтобы облегчить погоню за ней Ивана Царевича... Нужно сказать, что рассказы его о посещенных местах, озаренные светом его мистики, были очаровательны. Он даже показал мне два найденных там перышка.

После своей поездки в Тарбагатай Пришвин часто говорил со мной по поводу «национального» воспитания детей. У него явилась совершенно экстравагантная мысль в корне изменить принятые, устарелые по его мнению, методы воспитания детей мужского пола. «Что делать с подростающими девочками, я еще не решил, вопрос этот еще не продумал, но что касается мальчиков, он для меня совершенно ясен. По достижении, скажем, 8-9 лет их воспитание должно быть предоставлено природе. У меня проект: свезти моих мальчуганов на Памир и там их оставить, на попечение природы. Там они придут в соприкосновение с туземцами и будут принуждены так или иначе приспособиться к жизни в природе. А потом я их там легко найду (ведь туземное население, разумеется, будет знать их) и верь, с какой-то настойчивой востворженностью повторял мой собеседник — это будут настоящие люди, люди будущего». Слышавшие свежие люди даже не возмутились, не принимая всё это всерьез. «Пустая болтовня», говорили они, выслушав мои опасения. Но они ошиб-

бались. Пришвина проекты воспитания были чудовищны, аморальны, безобразны, называйте, как хотите. Соглашусь на всё кроме одного: они не были с его стороны пустой болтовней... Пришвин твердо верил в рациональность своих проектов и готов был идти на большое самоопожертвование, чтобы выработать из подрастающей молодежи настоящих «людей будущего».

Я, разумеется, как мог возражал, но убедить Пришвина мне так и не удалось. Он неоднократно возвращался к своему проекту и я уверен, что он его не осуществил только благодаря обстоятельствам от него независящим...

События 1917 года нас разлучили. Мы разъехались в разные концы России и потеряли друг друга. Нельзя сказать, чтобы мы не искали встречи, но эти поиски были напрасны. Знаю, что когда Пришвин меня нашел, я уже был заграницей. Знаю также, что он мечтал снова войти со мной в сношения, я был об этом осведомлен, но времена были тяжелые и это ему не удалось. А когда атмосфера прояснилась — друга уже не стало...

К. Давыдов

О БОРОДИНЕ

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

Александр Бородин родился 12-го ноября 1834 г. — умер 28-го февраля 1887 г. Еще будучи девятилетним ребенком, Александр Бородин — впоследствии профессор химии в петербургской Медико-хирургической академии — вступил на путь композитора. Однако же, до самой своей смерти, он так и не успел приобрести должных познаний в области теории музыки. Это случилось в силу закономерностей русской действительности его времени.

Бородин принадлежал к «Могучей кучке», так называемой «Новой русской школе», состоявшей кроме него из Балакирева, Кюи, Мусоргского и Римского-Корсакова. В полемике печати того времени, в «партийных» группировках «кучкисты» и «западники» рассматривались, как противоположности. Выражались мнения, что одни из них представляют «истинное», а другие «ложное» искусство. Но, в свете современности, такого рода подход не выдерживает критики.

Мнение об особой миссии России и ее искусства, об особых путях, свойственных «только русским гениям», так часто выражавшееся по отношению к «кучкистам», основано на недоразумении. С сугубо русскими националистами можно согласиться только в их утверждении, что жизненные процессы разных национальностей не похожи друг на друга, и что в каждом таком процессе есть моменты своеобразия, нественные другим нациям. На основании такого взгляда «кучкисты» неоднократно провозглашались «самобытными гениями», но эта характеристика давалась вне анализа исторических зависимостей. Для правильного же понимания обязателен анализ исторических явлений, выяснение причин их породивших, и сравнение их не с творческими результатами, а с обстоятельствами их обусловившими. В интересах такой цели надлежит рассматривать не одиночные явления, а их совокупность.

Дело в том, что в России отражение великих музыкальных событий Запада выявилось в Глинке — и противоречия вышесказанному здесь нет, ибо явление Глинки приводится во имя понимания его целостности. Именно благодаря ему, русское художественно-музыкальное творчество становится ветвью западно-европейского искусства на почве не подражания, а сознательной преемственности.

Западный же романтизм, во время которого Глинка начинает свою творческую деятельность, посвящал немалое внимание поискам того, что разделяет нации, и что характеризует их своеобразие. Освобождение национальных особенностей музыки в эпоху романтизма обусловлено процессом субъективизации, ибо именно в этих своеобразиях многие композиторы искали и находили средства для обогащения и дифференциации их индивидуализированного способа выражения. Сообразно с этим последним, можно наблюдать, как музыка западной Европы на всем протяжении XIX-го столетия разделяется на национальные школы, захватывающие сперва Германию, Италию, Польшу и Францию, а затем распространяющиеся и у американцев, у англичан, у испанцев, у русских, у скandinавов, у чехов. Впоследствии понятие нации тускнеет — усиливается этническое начало. И этот процесс дезинтеграции не завершен и по сей день.

Рассматривая же творчество Глинки в целостности его явления, приходится отвергнуть мысль, столь часто высказываемую западниками, что на почве предельного дилеттанизма его дарование «естественно направилось по наиболее популярному руслу в соответствии с общим уровнем и вкусом его современников» (Сабанеев). Этот взгляд, мне думается, страдает недостатком синтеза исторических условий. Производя анализ, западники принимали во внимание только внутреннюю тенденцию и закономерности видоизменений, свойственных для всякому обществу и для каждого общества одинаковых.

Именно на этом положении и строился вывод об элементарности русского исторического процесса. Если бы, действительно, вся историческая жизнь народов сводилась к внутреннему, органическому развитию общества, что сообщало бы разным историческим процессам характер сходства в основном ходе развития, тогда, конечно, пришлось бы согласиться с западниками в том, что все человеческие общества проходят одни и те же стадии прогресса, в одном и том же порядке и, сообразно с этим, вопрос непосредственной зависимости твор-

чества Глинки от уровня и вкусов современного ему общества был бы вне всякого сомнения.

Однако, помимо принимаемого во внимание западниками условия, существуют еще и другие факторы, определяющие исторический эффект, и один из них, а именно влияние отдельной человеческой личности на процесс жизни общества, невозможно игнорировать в связи с явлением Глинки. Если его творчество даже и связано с тогдашней российской общественностью, то оно связано не так, как воплощение мысли связывается с первоначальной идеей, а только как с балластом, мешающим идее осуществиться. Глинка стал первым русским композитором, писавшим музыку во имя нее самой и питавшимся творческими импульсами, которым оставались глубоко чужды внемузикальные побуждения прежних поколений — будь то религиозный экстаз, заботы о хлебе насущном, соображения наживы или тщеславие. Его творчество руководилось одним велением — совестью творца.

Однако же, исторический эффект явления Глинки был результатом влияния отдельной личности на среду не только своего, но даже и будущего времени. Хотя этот факт, в аспекте исторического процесса, и носит характер случайности, качественно он должен быть признан и согласован с известными идеалами эпохи Глинки. Эти то идеалы и стали разрабатываться и распространяться последующими поколениями в смысле общественного воспитания, первично намеченного самим Глинкой. Вот почему следует рассматривать Глинку не как деталь исторического процесса, но как один из импульсов, определивших дальнейший ход музыкальной жизни России и непосредственно повлиявших на формирование Бородина.

«По направлению опера моя будет ближе к 'Руслану', чем к 'Каменному гостю'», — писал однажды Бородин, и впоследствии преемственность «Князя Игоря» была засвидетельствована Финдейзеном. Эту оперу безусловно выделяет ее подчеркнутая симфоничность — «Половецкие пляски», например, представляют собой по существу вполне законченное самостоятельное произведение. Как соответствующий его устремлениям народника, сюжет «Слова о полку Игореве» был рекомендован Бородину Стасовым. Но Бородин, с жаром принявшийся за творчество «Игоря», по своему собственному либретто, так и не успел закончить этой оперы. Она была завершена уже после его смерти Глазуновым и Римским-Корсаковым. В этом явлении безусловно оказывается та неизжитая бездна дилеттантизма, из которой не суждено было выбраться

и самому Глинке, и которую предстояло еще исчерпать последующим поколениям русских композиторов. Ведь только столетие тому назад Серов написал знаменательные слова: «Теперь самая заветная моя мечта — кончивши оперу отпра- виться хоть пешком в Лейпциг учиться музыке у какого-нибудь сурового органиста». Трагический конфликт, возникающий из жажды сначала написать оперу и только после этого учиться теории музыки, не был чужд и Бородину.

Из всех «кучкистов», путь Римского-Корсакова — наиболее длинный и сложный. Начав слепым последователем Балакирева, дилеттантом, подобно всем членам «Могучей кучки», он вскоре осознал, что догмат отрицания техники композиции, выставляемый идеологами «Новой русской школы», не ведет ни к какой цели. Если же он даже и ведет в том смысле, что ошибка служит уроком, то при таком несовершенном методе, затраченные усилия ни в какой мере не окупаются. В «Летописи моей музыкальной жизни» Римский-Корсаков признается: «Я — автор ‘Садко’, ‘Антара’ и ‘Псковитянки’, сочинений, которые были складны и недурно звучали, сочинений, одобряемых публикой и многими музыкантами, — я был дилеттант, я ничего не знал...» — «...отсутствие гармонической и контрапунктической техники вскоре после сочинения ‘Псковитянки’ сказалось остановкой моей сочинительской фантазии».

«Он спрашивал тогда, — пишет Чайковский, — что ему делать? Само собой, нужно было учиться. И он стал учиться — но с таким рвением, что вскоре школьная техника сделалась для него необходимой атмосферой». Римский-Корсаков наиболее значителен именно в аспекте преодоления дилеттанизма, т. е. того, что Антон Рубинштейн окрестил «не самобытностью, а отсутствием разума».

Здесь следовало бы особенно подчеркнуть, что объектами всех русских композиторов, служащими им для создания музыкальной формы, начиная с момента насаждения серьезной художественной музыки Запада в России, были исключительно средства романтизма и поэтому нет ни малейшего основания рассматривать какие бы то ни было музыкальные явления в России того времени сквозь призму «самобытности». Таким образом, практикующаяся классификация на «националистов» и «западников», смотря по принадлежности к «Новой русской школе» или к «Кругу приверженцев и последователей Рубинштейнов», противопоставление Бородина, Мусоргского и Римского-Корсакова — Чайковскому, лишены какой бы то ни было логики. Все эти явления могут рассматриваться только в

свете тенденций западно-европейского романтизма. В качестве же общего знаменателя «самобытности явлений» может браться только большая или меньшая причастность русского композитора к дилетантизму.

И даже классифицируя русских композиторов по их психическим типам — «экспансивному» (Балакирев, Римский-Корсаков, Скрябин) и «интенсивному» (Бородин, Глазунов, Таинев, Чайковский) — необходимо подчеркнуть, что всем им присуще исконное чувство западно-романтического восприятия музыки с той только разницей, что первый тип настаивает на овеществлении эмоции, второй же стремится к очувствованию абстракции — по крылатому определению Павла Беккера.

Для удобства сравнения этих типов выделим «экспансивного» Римского-Корсакова и «интенсивного» Чайковского. Оба эти явления, будучи рассматриваемы в свете музыкального воспитания и образования первого и безусловного преодоления дилетантизма вторым, оказываются устремленными к одной общей цели, а основание, на котором стоят оба композитора, обусловлено западным романтизмом в лице его яркого выразителя Шуберта.

Шуберт, Мендельсон-Бартольди и Шуман, Берлиоз, Мейербер и Лист, и наконец, Вагнер в той или иной мере оказали несомненное влияние на всех русских композиторов — современников Бородина. Да и он сам, конечно, не миновал этих влияний. Что Бородин положил в основу своей «Второй симфонии» берлиозо-листовское программное содержание, известно со слов Стасова. «Программная музыка» — музыка прикладная, изобразительная или живописующая, стремится выразить в звуках то, что высказано в приложенном к композиции тексте, «программе». Хотя программное содержание «Второй симфонии» было утеряно, Стасов — основываясь на высказываниях самого Бородина — дал ей эпитет «богатырской».

«...Я по натуре лирик и симфонист, — сознавался Бородин, — меня тянет к симфоническим формам». И — повторю — в опере «Князь Игорь» он применяет симфонический метод, выражая его пространными цельными построениями, реже достигая их посредством единой нарастающей линии, чаще же на основе четкого соподчинения многочисленных фигур и эпизодов одному целому. Эта же техника обуславливает обе его симфонии, неоконченную симфониэтту и его оба струнных квартета. Она даже сквозит в его вокальных произведениях,

приближая некоторые из них — несмотря на их краткость — к характеру идеи б о г а т ы р я «Второй симфонии».

Эта идея богатыря-искупителя самым наглядным образом осуществлена в «Песне темного леса», обусловленной синтезом творчества — и текста и музыки — одного и того же автора. Мелодика, с помощью которой Бородин выражает свои образы «воли сильной» — «силы сильной», что «над недругом потешалася» и «города брала», внутренне сродна с первой темой «Второй симфонии». Тема же эта является непосредственным отголоском музыкальных систем самой древней поры язычества. Об этой симфонии Стасов говорит: «Сам Бородин рассказывал мне не раз, что в анданте он желал нарисовать фигуру 'баяна', в первой части — собрание русских богатырей, в финале — сцену богатырского пира при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы».

Бородин никогда не заимствует из народного мелоса — он перевоплощает его построения. Он неизменно устремлен в седую древность, никогда не воспроизводит народных формаций моложе, чем склад русской обрядной песни, а, следовательно, никогда не переступает порога язычества. И это его проникновение настолько глубоко, что в «Игоре» ему удается создать хор поселян — «Ох, не буйный ветер завывал, горе навевал, нас хан Гзак повоевал», отлитый с моделей русского народного многоголосья, пример по своей истинности непревзойденный и до сего дня. Именно эта устремленность Бородина являлась условием, почему идея богатыря-искупителя, нисходящая к миросозерцанию героически-патриархального режима (см. Г. В. Вернадский, «Повесть о Сухане», Нов. Журн., кн. 59) и обусловленная в своих истоках языческим эпосом, прошла через его творчество хотя и прерывистой, но чрезвычайно яркой наметкой.

Тоска по религиозному была свойственна всем композиторам безрелигиозной эпохи романтизма, обусловленной всеобщей секуляризацией. Религиозная потребность появляется уже у ранних романтиков западно-европейской литературы, выражаясь в их устремлении к римскому католицизму. В музыке эта тоска выражалась в склонности к мистицизму или, как у Шумана, — к оккультизму и спиритизму. Вагнер весь проникнут борьбой во имя вечности, Брамс — идеей недолговечности, Брукнер — идеей преклонения, а Лист — идеей служения, священнослужительским пониманием музыкального призыва.

Но в виду полной невозможности осуществления иллюзий — столь характерных для романтического творчества — в реальной действительности, Мусоргский, одержимый как раз идеей служения, превращается в «полубезумного пророка, ищущего искупления в экстазе», столь реально воплощенного им в своих «Песнях и плясках смерти». Балакирев, из-за невозможности согласовать мечтания с реальной современностью, впадает в крайность — «ищет искупления в мистической хандре». Чайковским овладевает моральная депрессия. Искупление же Скрябина — явление синтетическое, обусловленное идеализмом мировоззрения, символической идеологией, мистическим пониманием эстетики, ницшеанским стремлением к самообожествлению — «всё это приняло в нем гипертрофированные формы и вылилось в концепции: Мессия — Скрябин — Искупитель» (Лапшин).

У Римского-Корсакова идея искупления наиболее ярко выражается в его опере «Кащей бессмертный», где Кащеевна искупается силой своих страданий от своей злобы и при этом проливает ту слезинку, в которой Кащей зачаровал собственную смерть. Этот момент искупления, проявляющийся в образе угасания, примиряющего и даже радостного, встречается и в «Садко» и в «Снегурочке», и в «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В «Светлом празднике» Римский-Корсаков ставит себе задачей воспроизвести не христиански-православные настроения Пасхи, а, по его собственным словам, «легендарную и языческую сторону» этого празднования — его «необузданное язычески-религиозное веселье».

Идеи язычества в творчестве и Римского-Корсакова и Бородина — это явления одного и того же порядка, а идея искупления проявляется у последнего, например, в «Спящей княжне» — в образе героического подвига, уничтожающего власть мрачных сил. Будучи по типу противоположностью Римского-Корсакова, т. е. будучи композитором «интенсивного» порядка, Бородин — так же, как и Чайковский — «осознает тенденцию внутреннего соображения методов творчества западно-европейской художественной музыки» (Лапшин). Однако же, в отличие от Чайковского и Брамса, приспособивших к романтическим импульсам приемы пре-классицизма, Бородин обращается к творчеству Бетховена, что особенно наглядно в его «Первом квартете». Таким образом, Бородин унаследовал религию идеи классицизма — идею великого свободного человечества и, в силу тенденций романтизма, трансформировал ее в идею свободного универсального язычества.

Эпоха классицизма была одной из наиболее замечательных на Западе, обусловленной принципом равновесия между содержанием и формой в музыке. Брамс, сравнивая однажды представителей этой эпохи со своими современниками и с самим собой, высказал знаменательную мысль: «Они — боги, мы же — люди!» И, несмотря на свой дилеттанизм, Бородин является именно таким «богом» в русской действительности прошлого столетия.

Точно так же, как и Бородин, Римский-Корсаков ищет искупления в идее язычества. Но его вере недостает того упования, той безоговорочности, которые столь свойственны первому. Вера Римского-Корсакова — вера ищащая, сомневающаяся, изъеденная скептицизмом, обращенная в светское — вера интеллектуального романтика. И именно она диктует ему внутреннее обращение его к области легендарного, сказочного, фантастического.

Однако же, результаты столь различного ощущения веры и у Римского-Корсакова и у Бородина одни и те же: это солнечность и пантеизм, яркое чувство природы, граничащее с ее оживотворением и обоготовлением. А органическая связанность этих явлений неизменно выделяет обоих композиторов среди остальных их музыкальных современников — мистических, пессимистических, трагических, мятущихся, бесноватых и — даже в спокойствии — мрачных. Эти бодрость духа и безмятежность, веселье и жизнерадостность, своеобразные примеренность и преображенность выделяют Бородина и Римского-Корсакова не только среди русских композиторов современников — они отводят им особое место в романтизме. Здесь — страстное желание общения, несбыточная тоска по религиозному переживанию — никогда не осуществляемые, ибо процесс разобщения и расщепления неумолим и именно этим конфликтом определяется глубоко пессимистический характер романтической музыки в ее совокупности.

Бородин и Римский-Корсаков преодолели пессимистическую тенденцию романтизма путем обращения к язычеству, воспринятыму ими, как идея искупления. И это их своеобразие следует рассматривать не только, как продукт одной случайной воли и не одного только, навязанного судьбой, географического окружения, а, прежде всего, как естественный результат тех внутренних условий, при воздействии которых совершились все метаморфозы духовной жизни в России.

Хотя и не тождественно, но аналогично русским писателям — и Бородин и Римский-Корсаков, в силу исторического процесса, разойдясь с русской народной толщой и во вкусах и в потребностях, даже усвоив гармонический язык западноевропейской художественной музыки эпохи романтизма, не заблудились, не изменили народу и не ушли от него.

Юрий Арбатский

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА *

Гл. I. СИБИРСКАЯ ССЫЛКА НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Жизнь в ссылке. — Отношение к войне. — Влияние царизма на наше отношение к войне. — Настроение в партии. — Внутреннее движение в России. — Отношение к буржуазии. — Сибирский журнал. — Большевики в ссылке. — «Сибирь» под редакцией Гоца.

В 1913 году я вышел из Александровской каторжной тюрьмы на поселение. Первые 6 месяцев я провел в ссылке в Балаганске, в глухом городке Иркутской губ., а затем получил разрешение переехать в Усолье, небольшое село на линии железной дороги, в 60 верстах от Иркутска. Несколько сот крестьян, несколько купеческих семей, да человек десять ссыльных, перебивавшихся кое-как уроками, составляли все население Усолья. Большую часть года я проводил в деревенской тиши, среди книг и газет, в обществе нескольких усольских друзей. А летом Усолье оживлялось и наполнялось приезжей из Иркутска и других окрестных мест публикой, которую привлекали сюда соляные источники и хорошие природные условия для отдыха. В эти месяцы съезжалось в Усолье также и много политических ссыльных из Иркутска, этого центра Сибири, куда им удавалось проникать в большом количестве в поисках заработка, несмотря на административные препоны.

Вообще, в Усолье, благодаря удобству железнодорожного сообщения, постоянно чувствовалась близость Иркутска, и я мог поддерживать связь с иркутскими товарищами. Не

* С любезного разрешения А. М. Бургиной мы печатаем две первые главы из «Воспоминаний о Февральской революции 1917 года» И. Г. Церетели. Эти воспоминания выйдут в ближайшем времени в нескольких томах. РЕД.

только летом, но и зимой они наезжали ко мне в Усолье, привозя с собой отголоски живой городской жизни и разные проекты политической работы. Временами и я ездил в Иркутск нелегально, на что усольская администрация смотрела сквозь пальцы.

За время, проведенное мною в Сибири, я сблизился со многими ссыльными, — соц.-демократами и соц.-революционерами, — большая часть которых впоследствии, во время революции 1917 г., выполняла очень ответственную работу в Совете или в партиях, — одни на виду широкой публики, другие — оставаясь ей неизвестными.

Соц.-демократическая группа ссыльных, с которой я теснее всего сошелся, состояла из Ермолаева, Вайнштейна, Дана, Войтинского, Анисимова, Гольдмана и других, о которых придется еще упоминать. Мы часто собирались у нашего общего друга Рункевича, бывшего ссыльного, дом которого зимой в Иркутске, а летом в Усолье был сборным пунктом с.-д. ссылки. Здесь мы устраивали собрания, когда появлялась возможность предпринять какое-нибудь политическое действие, а обычно собирались просто, чтобы повидаться и побывать вместе. Хозяйка дома, М. О. Рункевич, создавала атмосферу чисто семейной близости в нашей большой дружной компании.

Я не буду описывать этого нашего быта со всеми тревогами и радостями ссыльной жизни. В общем, в нашей среде уныния не было. Правда, окружающие условия были убоги, мы были оторваны от живой работы. Вовне была война, внутри режим Распутина. Но впереди чувствовался просвет, было ожидание нового общественного подъема, и эта надежда вызывала напряженную работу мысли и тесно нас сплачивала в выработке общих идей.

Особую от нас, но такую же сплоченную компанию, представляла с.-р-ская ссылка, группировавшаяся вокруг Гоца.

Разногласий по вопросам актуальной политики с этой с.-р-ской ссылкой у нас не было. Наоборот, под влиянием общих условий жизни, встреч и обмена мыслей между нами существовало большое политическое единомыслие.

Я лично дружески сошелся с Гоцем, Веденяпиным, Архангельским и другими с.-р-ами, и эта дружба окрепла потом, в 1917 г., в совместной политической работе. Но в период ссылки такого сотрудничества не было, и наши собрания и литературные начинания всегда шли по двум обособленным руслам: социал-демократическому и эс-эровскому.

Характеристику этих моих товарищих по ссылке, с которыми соединены лучшие воспоминания моей жизни, я дам позже, когда буду описывать их участие в центральных революционных организациях. Здесь же я хочу описать наши политические настроения накануне революции.

**

В центре нашего внимания стояла, конечно, война, и страстью отрицательное отношение к ней объединяло нас с большинством социалистов в ссылке, в России и в эмиграции. То обстоятельство, что поводом к общему взрыву послужило соперничество России и Австрии на Балканах, характеризовало в наших глазах движущие силы этой войны. Страстные споры об ответственности за войну нас не захватывали. Утверждениям царского правительства мы не верили так же, как и утверждениям Германии и Австрии. Решающим для нас был тот основной факт, что война с ее неисчислимими жертвами явилась логическим завершением развивающегося на глазах всего мира общего капиталистического соперничества и лихорадочных военных приготовлений всех правительств.

Особенно бессмысленной казалась нам эта война для России, которая менее всего нуждалась в территориальных приобретениях, и внутренний рынок которой мог открыть необъятный простор развитию промышленности при условии раскрепощения страны.

Единственным путем для пролетариата защитить себя и родину от ужасов войны и ее последствий мы считали организацию борьбы за мир, борьбу с империалистическими стремлениями и у себя дома, и в объединенной общей кампании против мирового капитализма.

«В объединенной общей кампании»... Тут, с первого дня войны, нас ждало тяжкое разочарование.

Поведение большинства европейских социалистических партий было для нас более неожиданно, чем для кого бы то ни было в Европе. Издали следя за развитием западно-европейского рабочего движения, мы видели только его лицо, выраженное в резолюциях, и не знали той глубины интимной связи, которая, несмотря ни на что, существовала между рабочим классом и его государством в каждой из европейских стран. Только в момент войны мы увидели, что там в рабочем классе чувство общности его ближайших интересов с национальной полити-

кой правящих классов несравненно реальнее, чем сознание общности международных задач пролетариата.

Но и увидевши это, мы не могли и не желали возводить в принцип их отношение к войне. Мы были убеждены, что война грозила такими бедствиями всем ее участникам, независимо от успеха или неуспеха в стратегическом отношении, что самый ход военных событий должен был выковать в пролетариате сознание интернациональной солидарности, диктующее ему необходимость соединенными усилиями положить конец войне.

**

Была ли наша оценка войны вполне объективна?

К этому мы стремились прежде всего. В свободе от практицизма, в стремлении подходить к мировым событиям с обще-социалистической точки зрения мы видели преимущество нашего молодого движения, отставшего во всех других отношениях от европейского. Эта жажда принципиальности, стремление согласовать каждый практический шаг с общими целями мирового движения воодушевляло нас не только в этот период, но и во время революции, когда наше положение резко изменилось.

Но, припоминая живо наши настроения в описываемое время, я должен отметить то, в чем мы не отдавали себе тогда отчета. А именно, что и наше суждение о войне, в очень существенной части, практические потребности нашего движения оказывали решающее влияние.

Наилучшим исходом войны мы считали такой мир, который был бы заключен не в условиях военного торжества той или другой стороны, а под давлением народных движений.

Но жизнь требовала ответа и на другой вопрос: а что, если бы такой исход оказался невозможен? Если бы дело все же свелось к военной победе, — победа какой коалиции была бы лучше?

Большевики отвечали на этот вопрос просто.

С самого начала в их среде дала себя знать пораженческая тенденция, а вскоре получились из-за границы тезисы Ленина, подтверждавшие, что «наименьшим злом» для пролетариата в этой войне было бы «поражение царской России».

Это был «национализм наизнанку», становившийся еще более нелепым в качестве критерия мировых событий.

Пораженчество было для нас совершенно неприемлемо. Но ненависть к самодержавию влияла и на нашу оценку войны, и выражалось это в том, что, отвергая пораженчество, мы держались идей абсолютного нейтралитета и настаивали на равнозначности военного торжества той и другой коалиции.

События показали, насколько такой взгляд был ошибочен. Недавно мне пришлось, в истории австрийской революции Бауэра, встретить мнение, что в первую половину войны участие в ней царизма на самом деле уничтожило различие политических систем двух боровшихся коалиций. Но это мнение звучит, как отголосок старой ошибки рядом с итогами, которые сам автор подводит войне. Ибо, как ни оценивать роль царизма в мировом столкновении, он не имел такой решающей силы, чтобы изменить весь характер борьбы, объективный смысл которой сам же Бауэр резюмирует так: «Победа западных держав над державами центральной Европы была победой буржуазной демократии над олигархическими милитаристскими монархиями. Это была самая большая и самая кровавая буржуазная революция в мировой истории».

Это несомненно так, и эту сторону войны заслонял перед нами образ царизма. Я помню, всякий раз, как наша мысль направлялась в сторону такой оценки конфликта, она натыкалась на выводы, которые вызывали в нас инстинктивный отпор. Ибо всякая поддержка военных усилий западных демократий, — даже такая, которая сочеталась бы с параллельным ведением мирной кампании, — означала признание необходимости такой же поддержки союзного им царизма. А это было непримиримо со всей нашей психологией.*

Потребность разобраться в новой обстановке была сильна среди ссыльных и рабочих в Сибири. В разных концах ссыл-

* Влияние этой психологии сказывалось и на оборонцах. Интересны недавно опубликованные сведения о первоначальных колебаниях по вопросу об отношении к войне Г. В. Плеханова, одного из немногих последовательных русских оборонцев. Определяя свое отношение к войне под непосредственным впечатлением европейской обстановки, он пытался вначале ограничить свое оборончество Европой и сочетать его с отказом от голосования военных кредитов в России. А в самой России оборончество сразу попало в противоречивое положение и, сталкиваясь с мерами пресечения власти против всякой самодеятельности рабочих, фатально превращалось в использование лозунгов обороны для борьбы с самодержавием.

ки устраивались нелегальные собрания. При этом выяснялось большое единодушие. Я читал доклады в нескольких колониях и даже среди alexандровских каторжан политических, с которыми удавалось общаться при выходе их на летние работы. На этих докладах мне приходилось спорить с оборонцами или с пораженцами, но большинство разделяло нашу точку зрения.

О настроениях в Петербурге или заграницей мы узнавали по письмам. Социал-демократическая думская фракция так же смотрела на войну, как и мы. Я обменялся по этому поводу несколькими письмами с Чхеидзе и Чхенкели, руководившими тогда фракцией. Чхенкели не вполне разделял позицию большинства фракции и старался обосновать в своих письмах необходимость «условного оборончества», т. е. заявления, что «в случае революции мы поведем активную оборону». Но такое академическое разногласие не отражалось на политике фракции, которая, единственная из социалистических фракций воюющей Европы, за все время войны голосовала против военных кредитов.

Эту политику разделяли и наши партийные нелегальные организации — Петербургская Инициативная группа и Московская группа. Связаться с ними для работы при тогдаших условиях было трудно, ибо никакой регулярной партийной работы не велось. Одно время мы были в переписке с Ежовым и Ерманским в Петрограде, с которыми готовили издание анти-оборонческого сборника. Последний так и не увидел света в виду цензурных трудностей.

Дан с женой прибыли к нам в 1915 году и привезли известие, что не только большинство партийных работников в Петербурге, но и наши заграничные товарищи — Аксельрод, Мартов, Мартынов и др. держатся интернационалистских взглядов. Деталей их позиции мы не знали, ибо приходилось судить по письмам, проходившим военную цензуру. Но было впечатление наличности полного единомыслия.

В общем, в партийных кругах мы чувствовали идейную опору. Но это была перекличка отдельных лиц или групп, затерянных в ссылке, в подполье и в эмиграции. Ни наша партия и ни одна из других революционных партий в России не сохранили во время войны сколько-нибудь регулярно действующих организаций. Оживившееся перед войной революционное рабочее движение было разбито с первого дня войны. Военное положение смело и нелегальные организации, и

рабочую прессу, и уцелевшие к тому времени клубы и союзы рабочих. Эту работу правительства облегчила общая внутренняя реакция, наступившая в стране с первого дня войны. Военные настроения охватили, несомненно, и массу рабочих. Лишь постепенно, после первых поражений и испытаний войны стало вновь просыпаться оппозиционное чувство в массах. Но нужно сказать, проявления недовольства войной в массах отражали не внедрение в эту массу наших интернационалистских взглядов, а возмущение неумелым ведением дел, хищничеством бюрократии, продовольственными и транспортными затруднениями; казалось даже, что именно под либеральными лозунгами, — всё для войны, — нарастало это всеобщее недовольство против самодержавия. И в вопросе войны мы, интернационалисты, вместе с сравнительно незначительной частью партийных рабочих кругов, казались изолированы от настроений народа и от настроений широкой рабочей массы.

«Может быть ваша точка зрения и правильна теоретически», — говорил нам И. И. Рункевич, — «но разве вы не чувствуете, что она безжизненна? Всё общественное движение идет в другую сторону, даже массы рабочих не с вами».

Это казалось верным. Но если бы даже мы были уверены, что так это останется всегда, то и тогда мы не могли бы изменить нашего отношения к войне: таким безумием считали мы ее. Но мы были уверены в противном. Как ни тяжко влияла на нас затянувшаяся война и малые успехи противо-военного движения в Европе и в России, в нас ни на минуту не ослабевала вера, что наступит поворот в настроении народов, которым война не несла ничего, кроме несчастья.

События внутренней жизни приковывали наше внимание с неменьшей силой, чем война. В этой области мы чувствовали всё увеличивавшийся контакт настроений широких народных масс с нашими. Хотя организационные связи революционных партий с массами, как я упоминал, были ограничены, идеяная связь их с массами крепла в стране. Стихия революции давала себя знать и в глухом бурлении рабочих масс, и в тех стачках, которые, несмотря ни на что, вспыхивали то тут, то там.

На легальной арене происходила борьба либеральных думских и земских кругов против власти, и эта борьба усиливала общее революционное брожение. Мы наблюдали, как после первых тяжелых поражений стала просыпаться эта буржуазная оппозиция, и по мере того, как в ходе войны все

явственнее проявлялись черты вырождения распутинско-протопоповского режима, борьба всё глубже захватывала Думу, Земский Союз, Военно-промышленные Комитеты. О, сознательно они не стремились к революции, — напротив, они желали ее избежать, считая ее гибельной. Не только эти либеральные круги, но даже Плеханов из-за границы предостерегал рабочих от революционных действий во время войны. Но логика жизни оказывалась сильнее, и попытки самодеятельности буржуазии в целях поддержки войны превращались в ее борьбу с царизмом, — борьбу, которая отражалась глубоким эхом во взбудораженных войной народных массах, изолировала царизм и готовила его революционное свержение.

По отношению к этой внутренней борьбе в нашей среде уже не было того полного единомыслия, какое установилось сразу в вопросе о войне. Я помню, различно оценивали значение прогрессивного блока Дан и я. Дан держался того взгляда, что буржуазия является, несмотря на ее оппозиционную политику, такой по существу контр-революционной силой, в которой революция не сможет найти союзника.

«Посмотрите на ее лицо, проявленное в этой войне, — говорил он не раз на наших собраниях, — ведь это же законченный тип империализма. Оппозиция Милюкова не глубока, исходит она из желания преобразовать и укрепить власть в интересах отечественного милитаризма. Это результат всей эволюции буржуазии последнего десятилетия. После 1905 г. перед ней открывалось два пути для защиты своих экономических интересов. Один путь — борьба с самодержавием за политическое и экономическое раскрепощение страны; и этот путь делал ее временной союзницей пролетариата. Другой — это путь империализма, территориальной и экономической экспансии и одновременного примирения с романовской монархией; этот путь непримиримо сталкивал ее с рабочим классом. До войны буржуазия колебалась между этими двумя путями. В 1914 году, сделав войну своим делом, она всем фронтом перешла на второй путь, тем самым вступив в непримиримый антагонизм с пролетариатом. Если наступит революционный подъем и рабочий класс пойдет на приступ против основ самодержавия, Милюков и Гучков будут обороныять самодержавие и вместе с ним расстреливать рабочих».

Мне часто приходилось спорить против этого, и мою точку зрения разделяли Ермолаев, Вайнштейн и большинство нашей группы.

«Все это так, — говорили мы, — буржуазия делала и делает попытки соглашения с самодержавием. Но логика жизни сильнее субъективных стремлений. Помещичьи, крепостнические черты самодержавия есть та действительность, о которую разбиваются иллюзии буржуазии о возможности его приспособления даже к тем ограниченным целям, которые она себе сейчас ставит. И разгорающаяся борьба выходит за намеченные рамки, ибо в основе ее лежит факт непримиримости основных интересов буржуазии с существующим строем. Оппозиция буржуазии объективно расшатывает основы самодержавия и расчищает почву для революции. И в случае возникновения революции буржуазия, как целое, не может стать против нас, она не может бороться с раскрепощением страны, которое нужно и для ее собственного развития. Если бы это было не так, то успешная революция в России была бы вообще невозможна, ибо пролетариат недостаточно силен и зрел, чтобы вырвать власть из рук самодержавия и организовать страну на демократических началах — без помощи буржуазии и в борьбе с ней».

Я отмечаю это разногласие потому, что впоследствии, в 1917 г., эти две точки зрения на русскую буржуазию и были основой разногласия между большинством нашей партии и ее лево-интернационалистским крылом. Впрочем сам Дан, под влиянием «приятия революции» буржуазией, отказался тогда от своей первоначальной позиции и был вместе с нами защитником коалиции с прогрессивной буржуазией.

**
*

С самого начала войны мы искали путей для того, чтобы обратиться к более широкой аудитории, чем наши нелегальные кружки. И вот, еще осенью 1914 г. мы решили издать журнал, который, хотя бы и был закрыт с первого номера, но дал бы нам возможность полно изложить наши взгляды на войну и внутренние события.

В этот первый период войны типографии в Сибири еще могли печатать номера повременных изданий без предварительного предъявления материала цензуре. У нас созрел план: отпечатать журнал и взять большое количество экземпляров из типографии еще до того, как цензура прочтет присланный ей на пробу экземпляр. Как это всегда делалось в России в таких

случаях, среди сочувствующей нам легальной публики нашлось лицо, готовое «отсидеть» за выпуск свободного органа. В журнале приняла участие вся наша с.-д. группа. Он вскоре появился и вызвал живой отклик как в левых кругах и в рабочих организациях Сибири, так и среди наших единомышленников в России и заграницей, которые не преминули перепечатать и распространить наши статьи.* Разумеется, сейчас же после появления номера в типографию явились власти и захватили всё, что там было, но мы успели вывезти довольно большое количество экземпляров. Ободренные этим успехом, мы вскоре выпустили таким же образом и второй номер журнала, уже под новым заглавием «Сибирское Обозрение». Но после этого пришлось прервать издание, так как оба редактора-издателя подверглись заключению, и типографии получили внушение.

В обоих журналах мы старались как можно лучше использовать место, считаясь с трудностями и жертвами, каких нам стоило их издание. Для подготовки этих номеров мы устраивали частые встречи и собрания сотрудников то в Усолье, то в Иркутске. Эти собрания носили очень оживленный характер. Мы обменивались взглядаами о теоретических и практических вопросах, без фракционных предубеждений, с желанием не спорить, а выяснить друг другу свою точку зрения, и эти собрания создавали то единство взглядов в нашей среде, ту прочную политическую спайку, которую мы сохранили и в последующей революционной работе. Из меньшевиков к этому тесному кругу принадлежали Ермолаев, Вайнштейн, Гольдман, Горнштейн, Дан и я. Из большевиков — Анисимов, Войтинский, Ю. С. Вайнберг. Нефракционный — Рожков. Из других ссыльных, которых мы привлекали на наши собрания, помню большевиков — Дукура и Чужака. Такие собрания бывали у нас до самого 1917 года, то в связи с каким-нибудь практическим проектом, то без этой связи, служа поводом для политических бесед и сближения.

Сплоченность нашей группы, отсутствие фракционных разногласий было характерно для сибирских условий. Под влиянием ли обстановки, в которой приходилось здесь жить большевикам, т. е. без наличия той анархистско-максималистски настроенной части рабочего класса, которая давала себя знать

* В опубликованной в 1924 г. переписке Мартова и Аксельрода сохранилось отражение впечатления, произведенного нашим журналом в этот период подавления свободного слова.

в столичных центрах, или же под влиянием занятий и размышлений, но в Сибири многие большевики теряли свою резко фракционную окраску и легко сближались с меньшевиками. При столкновениях большевиков и меньшевиков в России, как это было, напр., до войны в связи с расколом с.-д. фракции 4-ой Думы, значительная часть большевиков вместе с остальной ссылкой отрицательно относилась к ленинской политике раскола.

Я должен сказать, что в то время я недостаточно присматривался к тем корням, какими питался большевизм в России. В той непримиримости и максимализме, какими отличались выступления Ленина и его единомышленников, я видел скорее результат некоторой интеллектуальной узости и отсутствия возможности работы в широкой рабочей массе, чем отражение настроений каких-нибудь определенных социальных слоев русского народа. Их сектантство, их непримиримая абстрактно-революционная фразеология казалась мне порождением партийной кружковщины, которая должна была рассеяться по мере расширения рамок рабочего движения в России и завоевания им элементарных условий свободы, в каких существовало западно-европейское рабочее движение. Я думаю, вообще социальная природа большевизма была чрезвычайно мало выяснена в то время, и мало кто отдавал себе отчет в его истинном характере, который проявился в 1917 г. Но об этом мне придется говорить впоследствии, при описании нашего столкновения с большевизмом в процессе революции 1917 года в России.

Сближение с сибирскими большевиками, которые очень легко склонялись к нашей точке зрения, укрепляло меня в надежде, что совместная работа, если не с Лениным, то со значительной частью большевиков станет возможной и в России.

Работавшие с нами в Сибири большевики не только отмежевывались от всяких пораженческих теорий, но также в своем отношении к оборончеству, европейскому и русскому, занимали совершенно отличную от Ленина позицию.

Мы критиковали ошибки, совершенные социалистами под влиянием военного угаря, считали это отклонением от основных принципов социализма. Но вместе с тем мы были далеки от того, чтобы объяснить эти ошибки злой волей и личным предательством вождей. Мы старались выяснить причины объективного характера, которые привели к кризису Интернационала, к тому, что сами рабочие массы, а не только их лидеры,

оказались с момента возникновения войны в плену у их правительства. Мы чувствовали, что война показала несостоятельность перед новыми запросами жизни прежней организации пролетариата, приспособленной лишь к потребностям национального движения, и считали, что возрожденный Интернационал поставит на первый план задачу такого объединения пролетариата всех стран, которое служило бы орудием общих солидарных действий для решения вопросов интернационального характера. И если мы верили в успех борьбы социалистических «сменышинств», то потому что считали, что в эту сторону логика событий толкала и социалистические большинства, т. е. все уцелевшие организации рабочего класса. Не о разрушении и дискредитации социалистического Интернационала, а об его возрождении в новых формах мечтали мы, когда говорили, что Интернационал третьего периода должен сочетать в себе дух интернационального единства первого и массовый характер и связанность с потребностями национального движения второго периода.

После появления первого номера нашего журнала, мы получили письмо от Аксельрода, где последний с особенной теплотой и любовью приветствовал нашу группу за то, что в своих статьях, ведя принципиальную борьбу против оборончества, мы оставались чужды страсти к расколам и отлучениям.

Указанная мною эволюция большевиков в ссылке, нашедшая отражение в дружной работе нашей группы, нуждается в оговорке. Рядом с такими большевиками оставались и «твердокаменные», которые время от времени давали о себе знать, в формах, не оставлявших сомнения в живучести ленинского духа.

Был со мной, например, такой случай.

Я получил письмо от председателя Рабочей группы Военно-промышленного Комитета Гвоздева, в котором он приветствовал сосланных втородумцев и, выражая желание связаться с нами идейными нитями, указывал, что Рабочая Группа сочетает революционную борьбу против самодержавия с идеями оборончества. В своем ответе я высказал мысль, что для рабочего класса, лучшим способом защищать в этой войне свою страну, ее действительные национальные интересы — является организация борьбы за мир. Так как эту переписку я вел как бывший председатель фракции, то я разоспал свой ответ в копиях моим товарищам втородумцам. И вот, из Верхнеудинска я получил коллективное письмо от большевиков втородумцев, Егора Петрова, Серова, Чашкина и еще двух, в котором они,

как «революционное» меньшинство фракции, протестовали против товарищеского тона моего письма по отношению к Гвоздеву и особенно против выражения о защите путем борьбы за мир, национальных интересов: «Пролетариат не может защищать национальных интересов, — говорилось в письме, — его задачи лишь защита классовых интересов, и смешение этих последних с национальными является таким же влиянием буржуазных предрассудков, как и оборончество».

Были такие группы и в других концах ссылки, но мне мало приходилось сталкиваться с ними.

Группа эс-эров с Гоцом во главе держалась тех же воззрений, что и мы. Гоц, переехавший из Усолья в Иркутск, получил возможность стать во главе газеты «Сибирь», довольно широко распространенной. Там он проводил эти взгляды, приспособляясь к цензурным условиям, все же более свободным в Сибири, чем в России.

Оборончество в с.-р-ских кругах в России было более распространено, чем в с.-д-ских. С тем большим удовольствием знакомил меня Гоц с попадавшей к нему из заграницы с.-р-ской литературой, издававшейся Черновым, где отстаивались интернационалистские взгляды, и был чрезвычайно доволен, что значительное течение в с.-р-ской партии осталось верно этим принципам.

Таковы были настроения иркутской политической ссылки накануне революции.

Гл. II. ПЕРВЫЕ ДНИ РЕВОЛЮЦИИ В ИРКУТСКЕ

Первые известия о перевороте. — Роль ссыльных. — Организация новой власти. — Отношение буржуазных кругов к перевороту. — Арест генерал-губернатора. — Настроения рабочих. — Первые реформы. — Настроения солдатской массы. — Военные организации. — Политическая платформа: единение демократии, внутренние преобразования. — Перелом в отношении к войне. — Собрание политических ссыльных, изоляция большевиков.

В Сибирь известие о перевороте пришло с опозданием на 2-3 дня. Поздно вечером 2-го марта ко мне в Усолье приехал неожиданно из Иркутска Махарадзе, бывший член второй Думы, и сообщил, что товарищи просят меня немедленно приехать

в Иркутск. Он передал мне, что по распространившимся в Иркутске слухам в Петрограде произошли большие события, что правительство свергнуто, что телеграммы об этих событиях имеются в канцелярии генерал-губернатора.

Мы все жили надеждой на возрождение революционного движения, но о таком молниеносном и решительном успехе, какой имела февральская революция, даже самые большие оптимисты среди нас не мечтали. И известие об этом событии пришло именно в тот момент, когда мы менее всего его ожидали. Мы знали о готовившихся к открытию Думы манифестациях 12-го февраля, но незадолго перед тем получили известие, что эти манифестации кончились ничем.

На другое утро, с первым поездом, мы с Махарадзе поехали в Иркутск. Город мы застали в большом возбуждении. В это время там была уже известна телеграмма, подписанная «комиссаром жел.-дор., членом Думы Бубликовым», в которой от имени Комитета Госуд. Думы отдавалось распоряжение продолжать железнодорожное движение. Многие в городе получили частные телеграммы от родных и знакомых из Петрограда, с поздравлениями, с запросами, когда они выедут. Частными путями, неведомо как, пришли и распространялись в городе известия об образовании Временного Правительства, вышедшего из Госуд. Думы, и о Петроградском совете Раб. Депутатов. Было ясно, что революция свершилась и что она организует свои силы в центре.

Население встретило известие о перевороте с какой-то радостной тревогой. Администрация не подавала признаков жизни; недовольных не было видно. Политические ссыльные и нелегальные рабочие организации выступили на первый план. К ним обращались взоры населения, от них ждали указаний.

По нашему почину образовался Комитет Общественных Организаций, Совет Рабочих Депутатов и Военная Организация.

С первого же дня выяснилось, что вся солдатская масса (гарнизон состоял приблизительно из 40.000 чел.) была на стороне революции и заявляла готовность подчиниться революционным органам.

Немедленно надо было приступить к управлению. С Петроградом связи не было, да и некогда было ждать оттуда указаний.

Во всех трех революционных органах руководство принадлежало нам, социал-демократам и социалистам-революцион-

нерам, представлявшим местные комитеты наших партий, открыто организовавшиеся при первом же известии о перевороте. Эта руководящая роль социалистов не основывалась на захвате власти. Напротив. На первом же собрании представителей общественных организаций мы провели постановление, что высшая местная власть, до образования правильно избранных демократических органов, должна быть в руках этого собрания. А в нем были представлены, пропорционально их удельному весу, все существовавшие общественные организации: профессиональные, промышленные, партийные, культурные и всякие другие, вплоть до благотворительных. Совет Рабочих Депутатов и Военная Организация подтвердили это постановление и со своей стороны прислали представителей в собрание общественных организаций.

Таким образом власть была построена на основе всеобщего представительства. Но буржуазные иркутские круги, хотя и прислали в этот орган своих представителей, не делали никакой попытки играть в нем активную роль. За две первые недели революции, проведенные мною в Иркутске, я не помню ни одного случая, чтобы представитель буржуазных групп взял на себя какую-либо политическую инициативу. Даже ни одно сколько-нибудь яркое лицо из той среды мне не запомнилось. Были тут промышленники и адвокаты с известными в Иркутске именами, но они как бы решили, что раз революция, то революционеры и книги в руки, и всегда единогласно принимали то, что мы предлагали. Единственный вопрос, в котором они проявляли активность, был вопрос о приобретении как можно большего количества мест в Собрании Общественных Организаций. При встрече с ними бросалось в глаза почтительное выражение их лиц: в нас они видели власть. Они производили впечатление людей, огороженных событиями, но революцию «приняли» без колебаний, зная, что в центре, в Петрограде, к ней примкнули и цензовые элементы. Даже самые консервативные из них, поскольку они высказывались, старались итти по течению и выражали удовлетворение революцией.

На первом же собрании представителей общественных организаций стало ясно, что нам не только не нужно было убеждать окружающих в необходимости решительных действий, но, наоборот, приходилось сдерживать разошедшиеся страсти. Так, например, от имени солдатских частей, при общем сочувствии собрания, поступило требование, поддержанное некоторыми нашими наиболее горячими товарищами, немедленно

послать отряд для ареста генерал-губернатора, губернатора и всех тех, кто бы выступил на их защиту. Мне и моим ближайшим товарищам* — Гоцу, Ермолаеву, Вайнштейну и др. такой образ действия казался нецелесообразным. Никаких признаков сопротивления организации новой власти со стороны генерал-губернатора и других представителей власти не было. А между тем, если бы до того, как комитет организовался, рота солдат во главе с революционерами отправилась арестовывать генерал-губернатора, то могли произойти ненужные инциденты, — самосуд или столкновение с какими-нибудь неосведомленными о перевороте частями. Нашей группе пришлосьпустить в ход весь свой авторитет, чтобы отклонить это предложение. Только на другой день Комитет, ставший всем известной и организованной властью, отправил вооруженный отряд для ареста генерал-губернатора. В виду возбужденного настроения солдат, опасаясь возможности каких-нибудь инцидентов, мы с Гоцом сами отправились во главе отряда в ген.-губернаторский дом.

Мне запомнилась эта картина ареста генерал-губернатора Пильца. Когда мы вошли к нему, нам навстречу пошел сгорбленный старик, кланяясь и испуганно взглядываясь нам в глаза. Повидимому, он ожидал расправы, грубых сцен. Мы объявили ему, что он арестован и что он пока будет содержаться в этом же доме. Наш спокойный тон его поразил, он рассыпался в благодарностях, говоря, что всегда был уверен в «благородстве идеальных людей», что он подчинится всем нашим распоряжениям и что он сам готов отдать распоряжение своим прежним подчиненным, чтоб они во всем нам подчинялись. Несколько раз после этого нам приходилось отдавать распоряжения караулу охранять арестованного от насилий, т. к. сам же этот караул нам передавал, что в возбужденных солдатских группах было желание проникнуть к арестованному и расправиться с ним.

**
*

Дни и ночи проводили мы в Городской Думе, где помещались и Комитет Общ. Организаций и Совет Рабочих Депутатов. Мне трудно описать эту нашу лихорадочную и хаоти-

* Все упомянутые в предыдущей главе мои друзья были в то время в Иркутске и руководили сообща работой, за исключением Даи и Рожкова, которые незадолго до революции были переведены из Иркутска, первый — в Ходжейт, второй в Читу.

ческую работу, где надо было и законодательствовать и преобразовывать существующие учреждения, вводить новые порядки в гарнизоны, производить смены и новые назначения гражданских и военных чинов, принимать депутатии, вмешиваться в конфликты, возникавшие в городе и т. д. Все это делалось по соглашению с вновь возникшими революционными организациями и при деятельной поддержке населения.

Несмотря на относительную малочисленность пролетариата в Сибири, все же он являлся основным ядром проснувшейся демократии. Переход к политической свободе ни в одном из классов населения не встретил такого сознательного и действенного отношения, как в рабочих. В Иркутске и во всех углах Сибири, где только существовала промышленность, создавалась сеть рабочих организаций. Максималистские стремления в то время еще в этой среде не давали себя знать. Рабочие относились к революции с энтузиазмом, считая ее своей, народной, и заражали этим энтузиазмом городское мещанство и крестьянство. Они были самой активной частью всех общедемократических органов.

В области социальной, как срочную меру, мы объявили введение 8-часового рабочего дня. Это было требование рабочих всех предприятий, объединявшихся в профессиональные союзы и взявших на себя осуществление этой реформы так же, как это делалось в то время во всей остальной России.

Восьмичасовой рабочий день, не проведенный в то время нигде в Европе и еще накануне казавшийся таким далеким для России, без сопротивления принимался теперь промышленниками. И это — в условиях войны, когда даже в Англии рабочее время удлинялось. Была радость революционного успеха, и вместе с тем какое-то сомнение в его прочности: слишком легко, без борьбы осуществлялось социальное требование, о которое разбилась революция 1905 г.

Городское самоуправление мы пополнили представителями нецензовых, рабочих элементов, и вместе с тем передали в его руки заведывание городской администрацией. Это была временная мера, до проведения правильных общих выборов. Она удовлетворяла срочную потребность в демократическом самоуправлении, способном выполнять текущую работу. Вместе с тем, мы образовали комиссию, с поручением ей спешно разработать порядок нормальных демократических выборов в Иркутске, который мог бы послужить также образцом

демократической организации городских и земских учреждений в других местах.

Одной из самых эффектных реформ в глазах населения была замена ненавистной всем полиции — гражданской милицией. Организация внутреннего порядка при революциях является мерой, технически легче всего дающейся новой власти, когда она пользуется поддержкой населения. Выбор начальника милиции оказался у нас удачным. Это был с.-р. Раговский, обнаруживший большую энергию и распорядительность.

Из старого персонала администрации мы сохранили ту часть, которая не была скомпрометирована и могла удовлетворять требованиям нового режима.

В деле новых назначений у нас произошел один конфликт с центральной властью. Во главе губернской администрации мы поставили Лаврова, бывшего губернского советника, который и раньше отличался своим либерализмом и сразу стал на сторону революции. Вдруг получается из Петрограда телеграмма Временного Правительства, что на эту должность оно назначило городского голову Иркутска Бобровского. Это было сделано в порядке общей меры: Временное Правительство назначало губернскими комиссарами председателей земских управ, а где земства не было — городских голов. Бобровский, человек правый, был очень нелюбим в Иркутске и совершенно не подходил на должность комиссара. Мы телеграфировали правительству, что он неприемлем для нас и просили утвердить Лаврова. Врем. Правительство сделало это, но этот инцидент вызвал многое неудовольствия в нашей среде, так как показывал, насколько новая власть плохо справляется со своими задачами на местах.

Иркутск был административным пунктом генерал-губернаторства и вместе с тем центром, где находилось ядро политической ссылки. Поэтому из разных концов Сибири мы получали запросы по делам управления. К нам из отдаленных мест приезжали советоваться бывшие ссыльные, которые всюду очутились во главе новых органов. Больше всего запросов было относительно центральной власти: в чьих руках власть; признавать ли Временное Правительство. Всюду создавались и Комитеты Общественных Организаций, и Советы Рабочих Депутатов, а органы местного самоуправления пополнялись демократическими элементами. Стихия револю-

ции всюду выливалась в одни и те же формы, и в ответ на обращенные запросы нам большей частью приходилось лишь санкционировать действия, сходные с нашими.

**
*

В судьбе политических ссыльных перемена была резкая. Переворот долгожданный, но все же неожиданно совершившийся, извлек нас из подполья, из бесправия и поставил в центр величайших событий. Одним из самых радостных актов первых дней революции было освобождение политических. Мы раскрывали двери Александровского централа нашим товарищам по заключению, погребенным там, казалось, навеки. И они прямо из дверей тюрьмы вступали в наши ряды для революционного строительства.

С этого времени, и в продолжении первых восьми месяцев революции, я и мои товарищи по ссылке стояли в самой гуще событий и выполняли, сначала в Иркутске, а вскоре затем в Петрограде, самую ответственную работу в органах революционной демократии. Я помню то состояние опьянения и величайшего напряжения всех духовных сил, которое мы переживали в эти дни. Что-то сказочное было в этом внезапном крушении векового рабского строя, во внезапном осуществлении чаяний и надежд стольких поколений. И вместе с тем была тревога: справится ли революционная страна со стоящими перед ней задачами. Слишком велики и трудны были эти задачи и в деле внутреннего строительства и вовне.

**
*

Одно обстоятельство с первых же дней революции наложило на нее особый отпечаток. То было наличие революционной армии, солдатской массы, которая всюду стала на сторону революции и обеспечила ей успех.

Через несколько дней после переворота Комитет устроил революционный смотр войскам Иркутского гарнизона. Войска были выстроены на площади перед зданием городской думы. От имени Комитета я обратился к ним с речью, где старался осветить совершившиеся события и указывал на их революционный долг по защите и укреплению нового строя. Затем весь гарнизон профилировал мимо здания перед командующим войсками и его штабом и перед нашим Комите-

том. На приветствие командующего солдаты отвечали неохотно или же совсем отмалчивались, тогда как проходя мимо нас они отдавали честь с какой-то восторженностью и в ответ на приветствие: «Да здравствует Великая Российская Революция» — оглашали воздух радостным «Ура».

Было несомненно чувство огромного облегчения в этих людях, истерзанных рабством и замученных войной, и потому они с таким доверием тяготели к нам. Но вместе с тем чувствовалось, что к нам они относились как к каким-то фетишам, ибо мы и наши товарищи в Петрограде были в их глазах творцами революции. Близости, интимности, понимания между нами не было. На рабочих собраниях мы видели знакомые лица, чувствовали близкую нам атмосферу политических исканий, — здесь же чувствовалась стихия, нуждавшаяся в самом элементарном политическом воспитании. Эта вооруженная масса людей вступила в революцию не как сознательная, руководимая определенными социальными идеалами сила, а как стихия, проникнутая ненавистью к старому строю, его сметающая, но не отдающая себе отчета в смысле совершающегося. Она таила в себе и опасность анархии и опасность контрреволюции. И революция должна была погибнуть, если бы не смогла приобщить эту солдатскую массу к свободной гражданской жизни, связать ее идеально и организационно с теми классами, из среды которых она вышла. Наличие этой стихии с первого дня революции вызывало в нас тревогу за ее судьбы, — тревогу, которая не была заглушена радостным опьянением первых дней.

Партийные организации с.-д. и с.-р. были инициаторами создания военных организаций и играли там руководящую роль. Это общее политическое руководство с доверием принималось солдатами. Но по вопросам военной администрации часто возникали трения. Солдатские делегации приходили в Комитет каждый день с требованием перемещений в командном составе, называя лиц, которых следовало назначать или устранять. Мы хорошо сознавали, что устранение контрреволюционных элементов из командного состава было делом срочным. Но мы не могли слепо полагаться на указания только что организовавшихся солдат и молодых офицеров, которые часто ошибались в своем революционном рвении, а иногда поддавались демагогам или карьеристам. Поэтому, производя смешения, мы проверяли все требования делегаций, — что часто вызывало ропот. Помню один такой конфликт. Де-

легация солдат и молодых офицеров попросила быть принятой Комитетом во всем составе. Они требовали перестановок, которых мы не желали производить в полном объеме, так как часть этих требований объяснялась, по наведенным нами справкам, заинтересованностью некоторых кандидатов. Молодой офицер, говоривший от имени делегации, взял резкий тон и дал понять, что если Комитет не проведет немедленно требуемых мер, то организация сумеет сама это сделать, ибо за ней стоит вооруженная сила. Мы почувствовали, что стоило уступить этой угрозе, чтобы власть перешла к военным организациям. Я ответил, что Комитет, действующий от имени всей демократии, не может выслушивать указаний от организаций, рассчитывающих на физическую силу; что он не отдаст революцию в руки разнужданной солдатчины; и что революция, справившаяся с царским самодержавием, справится и с военным самоуправством в Иркутске. Такие слова в то время производили магическое действие, и делегация ушла, извиняясь и объясняя, что ее неправильно поняли.

На должности командующего войсками мы в первые дни оставили прежнего командующего, ген. Шкинского, через которого проводили все реформы, отставки и назначения. Это был генерал ничем особенно себя не проявивший при старом режиме, но по всему складу своих воззрений чуждый новшествам революции. При встречах с нами он держался с достоинством, подчиняясь, как року, новому порядку, при котором вчерашние ссылочные давали ему указания. Он их выполнял, видимо тяготясь своим положением. Вскоре офицеры из военно-революционной организации указали нам подходящего кандидата для его замещения в лице полковника Фелицына, офицера генерального штаба, хорошо знавшего военное дело и демократически настроенного. Мы произвели это замещение, и оно было утверждено впоследствии военным министром.

**

Если практическая наша работа носила в эти дни лихорадочный и бессистемный характер, то в области политического поведения, определения границ и принципов мероприятий у нас была ясная ориентировка.

Основной вопрос был — каковы задачи и социальное содержание революции? Ответ на этот вопрос со стороны социалистов приобретал особенно жгучий интерес в виду того,

что не только у нас в Иркутске, но и во всей России самой влиятельной силой являлись социалистические организации. В с.-д. среде ответ на этот вопрос, в предвидении и непосредственной близости революции, разногласий не вызывал. Огромная теоретическая работа, проделанная марксизмом в течение трех предшествовавших десятилетий и опыт движения 1905 года научили нас понимать, что революция в России не могла совершить прыжка от полу-феодального строя к социалистическому и что пределом возможных завоеваний для революции являлась полная демократизация страны на основе буржуазно-хозяйственных отношений. Не только меньшевики, но и большевики до самой революции стояли твердо на этой позиции, и мы имели в Сибири платформу большевистского Ц. К., где Ленин в разгаре войны, отстаивая идеи крайнего левого крыла Циммервальда, выдвигал для западно-европейских стран в качестве лозунга восстания во время войны социалистическую, а для России — демократическую революцию. В программе с.-р., правда, фигурировала идея социализации земли, но они считали ее совместимой с буржуазно демократическим строем, утверждение которого было основным содержанием их ближайшей практической программы.

Но революция совершилась в таких условиях, которые вновь ставили этот вопрос — о пределах достижимого в социальном отношении. Армия и рабочий класс явились основным фактором переворота и давали социалистическим партиям такую силу, которая создавала для них возможность самых крайних экспериментов. Опасность переоценки своих сил социалистическим пролетариатом была велика, ибо попытка захвата социалистами власти и осуществления программы-максимум не могла быть прямо подавлена никакой организованной силой. Но такая попытка все же должна была привести к поражению революции косвенным путем — началом гражданской войны и дезорганизацией народного хозяйства. Поэтому одну из главных задач социалистических партий мы видели в том, чтобы научить народные массы трезво отдавать себе отчет в смысле совершающихся событий. Исходным пунктом политики революционных органов должна была быть мысль, что революция в данную минуту прочно утвердиться сможет лишь на основе социальных преобразований, соответствующих воле большинства страны и данной ступени экономического развития России; что попытка выйти из этих пределов и навязать стране с помощью физической силы волю социа-

листического меньшинства — должна повлечь за собой распад революции и потерю основных, объективно осуществимых завоеваний. Создание Временного Правительства по договору между Думским Комитетом и Советом мы объясняли, как признание обеими договаривающимися сторонами общенациональных задач буржуазно-демократической революции. В Советах Раб. и Солд. Депутатов мы видели не органы, конкурирующие с правительством для захвата власти, а центры сплочения и политического воспитания трудящихся классов, созданные для обеспечения влияния этих классов на ход революции.

Наша с.-д. группа работала в этом направлении в полном единении с группой с.-р. (Гоц и др.). Предыдущая наша работа, постоянный обмен мыслей о задачах будущей революции создали между нами тот политический контакт, общность воззрений и настроений, которые и в дни революции определили одинаковость восприятия событий и согласованность в работе. На всех политических собраниях мы выдвигали очерченное выше понимание задач революции, и этой идеей были проникнуты все наши действия в центральных революционных органах Сибири, находивших поддержку в большинстве ссыльных и в руководимых ими местных ор-

**
*

Вопрос о войне не выдвигался в эти первые дни революции. Характерно было, что Петроградский Совет Раб. Деп., вырабатывая условия, поставленные Временному Правительству, ограничился вопросами внутренней политики и ни слова не сказал о войне. Все чувствовали, правда, что война была там центральным вопросом, от которого зависели дальнейшие судьбы революции. Революция должна была найти в себе силы закончить ее так, чтобы не поступиться идеей свободы и спасти страну. В противном случае, она сама должна была стать жертвой внешнего врага и внутренней контрреволюции. Но в процессе ломки старого режима, при неустановившихся органах новой власти, задача организации революционных сил выдвигалась на первый план и заполняла собой всё оставшееся. И все понимали, что для международного действия революция должна сначала организоваться внутри.

Но если мы не выдвигали вопрос о войне в первые дни, это не значило, что мы с ним не сталкивались и не чувствовали

той огромной перемены в подходе к нему, которая была создана для нас самым фактом революции.

Из безответственной оппозиции мы превратились в хозяев революционной страны. Принципиальные лозунги должны были претвориться в жизнь. В каждый данный момент надо было указывать и армии и народным массам что делать.

Эту разницу конкретно на деле я ощутил с особенной силой в следующем случае. В один из первых дней ко мне, как председателю Комитета общественных организаций, пришла военная делегация и доложила: «Из Владивостока идут военные запасы на фронт, можно ли пропускать?»

Мы никогда не были пораженцами. Но за весь предыдущий период заботы о поддержании фронта были так далеки от нас, военное сотрудничество с правительством так противоречило нашим взглядам, что этот вопрос был самый неожиданный из всех, какие мне пришлось разрешать в эти дни. Я ответил: «Конечно, пропускайте», и в этот момент больше, чем когда бы то ни было почувствовал, как все проблемы политической жизни повернулись к нам новой стороной. Без нашей активной поддержки фронт не мог держаться. Отрицанием войны, даже организацией мирной кампании, стоящая перед нами задача не исчерпывалась. Революция получила войну по наследству и должна была ее продолжать активно до тех пор, пока она не сумела бы осуществить свои условия мира.

Когда я непосредственно после этого сообщил о моем распоряжении товарищам, они с тем же волнением, как и я, но единодушно и не колеблясь приняли необходимость такой политики.

Из всех практических задач, поставленных революцией, к этой задаче мы были меньше всего подготовлены. Но мы чувствовали, что старые привычные формулы должны были дополняться новыми в соответствии с потребностями совершившейся революции. Это был психологический перелом, положивший начало тому «революционному оборончеству», которое господствовало в среде демократии в первые восемь месяцев революции.

Только небольшая группа большевиков не разделяла ни общей нашей политики, ни осторожного нашего отношения к вопросу о войне. Дня через два после образования Комитета и Совета Раб. Деп., мы устроили общее собрание всех политических ссыльных в Иркутске, на котором кроме многочисленной иркутской ссылки, присутствовали также ссыльные,

из других мест. Здесь мы обсудили и приняли политическую платформу, которую я излагал выше: признавать Временное Правительство органом революционной власти, а Сов. Раб. и Солд. Деп. — органом сплочения трудящихся масс для охраны и расширения завоеваний демократической революции; не выдвигая сейчас же вопроса о войне и мире, направить все силы к закреплению первых основ нового строя, которое позволило бы демократии организованно выступить в области международной политики.

Было произнесено много речей, и огромное большинство высказалось за эту политику. Лишь один резкий диссонанс ворвался в это собрание. Это была речь фанатичной ленинистки Розмерович, которая истерическим голосом призывала помнить, что всякое совместное действие с буржуазией есть измена рабочему делу и что первым кличем революции должно быть: «Долой войну, — немедленное заключение мира». Эта речь произвела на всех нас впечатление полусумасшедшей выходки. Розмерович со своей группой покинула собрание до голосования. Собрание единодушно приняло резолюцию, приглашавшую все революционные партии объединиться на указанной выше платформе.

**
*

Всего в Иркутске я пробыл две недели. Политические собрания, организационная и административная работа проходили в такой лихорадочной обстановке, что мы положительно валились с ног. Только огромный подъем нервов помогал нам выдерживать эту работу. На десятый день, после какого-то большого собрания, у меня пошла горлом кровь, и мне пришлось слечь на несколько дней. Я решил, как только оправлюсь, поехать в Петроград.

Не говоря о том, что с первого же дня туда нас звали друзья и товарищи, мы и сами испытывали потребность поехать в центр революции, где решалась ее судьба. Очень тревожило нас отсутствие оттуда точных сведений. Оставлять Иркутск, где нас застала революция, до установления первых организаций, мы не могли. Но после того, как это было сделано, мы все устремились к центру. Из дому, из Грузии, я также получал настойчивые призывы от родных и друзей. Как ни хотелось увидеть их после десятилетней разлуки, я решил поехать

сначала в Петроград, чтобы увидеть каково положение в центре революции.

Оправившись настолько, что мне можно было двигаться, я вместе с группой товарищей по ссылке выехал в Петроград. Иркутские друзья и представители новых организаций устроили нам сердечные проводы. Наш поезд назывался «поездом членов второй Думы», так как кроме меня с этим поездом ехало еще несколько втородумцев: Анисимов, Виноградов, Баташов, Лопаткин, Махарадзе и др. Ехали с нами также Гоц, Ермолов, Войтинский и несколько других ссыльных.

И. Г. Церетели

САВИНКОВ

Авторский перевод с польского.

Помню, как по моему приглашению с визитом в наш Армейский Комитет приехал Борис Викторович Савинков, военный комиссар Временного Правительства соседней с нами 7-ой Армии.

В моих воспоминаниях* я часто останавливаю внимание читателя на необыкновенной личности русского революционера Савинкова, с которым мне пришлось и по делам революции, а потом и по делам контрреволюции часто встречаться и иметь много общего не только в политическом смысле, но и в бытовом и в личном.

Савинков был настолько разносторонней и значительной личностью, что он заслуживает не только отрывочных воспоминаний. Монография о Савинкове была бы интересной книгой, с одной стороны, как документ о необыкновенной эпохе, с другой, как зарисовка очень сложной, противоречивой и яркой человеческой души.

До революции имя Савинкова было символом долгой и отчаянной схватки, не на жизнь, а на смерть, революционного движения с царской самодержавной властью. Элементы жертвенного героизма, тайного преступления и холодной жестокости сливались в жизни Савинкова в одно целое, как бы символически предопределяя судьбу всех будущих его испытаний вплоть до трагического конца этого странного человека.

Первое мое знакомство с Савинковым произошло году в 1907 (не помню точно), и было почти случайным, но не прошло бесследным. Оно мне было навязано нашим общим знакомым, тоже революционером, скрывавшимся в то время

* Wojna i Rewolucja: "Przewrot". Kontrrewolucja: "Doński Etap". "Kijowski Etap". "Warszawski Etap".

под многозначительной фамилией Иванова, всячески стремившегося привлечь меня к эсэрам и завербовать для террористической работы. Иванов воспользовался случаем проезда через Петербург Савинкова, для представления ему меня, как кандидата в террористы, из-за моей исключительной, но чисто спортивной, меткой и скорой стрельбы на прицел и от бедра, что Иванову, как лишенному всякого таланта в этой области, очень импонировало.

Так как Иванов заранее не поставил меня в известность о своем проекте, маскируя свое намерение просто желанием познакомить меня с знаменитым революционером, то я был не мало удивлен предложением Савинкова вступить в боевую организацию. Мой немотивированный, или вернее, мотивированный притворными аргументами, категорический отказ, как мне показалось, нисколько не удивил Савинкова. Ведь не мог же я ему сказать, что террор не соответствует ни моему характеру, ни моему католичеству, ни разумению пользы революционного дела и что он даже противоречит моим классическим охотниччьим традициям, не рекомендующим джентльмену, между прочим, охоту «на подсидку».

Однако, несмотря на неловкость сцены предложения и отказа, мы расстались в этот осенний вечер на Петербургской Стрелке друзьями. Я не знаю, что обо мне подумал Савинков, сказавший на прощанье по-польски, с безукоризненным варшавским акцентом: — «ale z rana p'ymegek» — (однако, вы номерок). Мне показалось, что несмотря на разногласия, я ему понравился как тип, а что касается меня, тогда двадцатидвухлетнего юноши, то мне очень пришелся по вкусу и запомнился этот элегантный господин ранних средних лет с какой то уж очень звучной английской фамилией (чуть ли не Кромвель), очаровательно любезный, необыкновенно быстрый, живой и остроумный, говорящий тихим и ласковым голосом о страшных и кровавых делах, в глазах которого при этом сверкали какие-то далекие огни не то веселья, не то насмешки, не то угрозы.

Поэтому наша следующая встреча, спустя лет девять-десять, носила вполне дружеский и сердечный характер, а ввиду торжествующей революции, даже трогательный. Для меня было тем более лестно и приятно, что, как оказалось, Савинков меня отлично помнил.

Не скрою, что для меня, по тогдашней моей настроенностии, встреча с автором «Коня бледного» была более волную-

щей и значительной, чем возобновление контакта с вчерашним начальником боевой организации партии с-р, хотя это тоже было обстоятельством немаловажным, ибо эсэры в то время уже руководили победоносной революцией, в которой я принимал деятельное участие.

Но Савинков, всегда что-то ищущий и готовящий, не приехал в Черновцы только для того, чтобы повидать давнишнего его знакомого «номерка» и не с тем, чтобы представиться членам Революционного Комитета 8-ой Армии. Всегда осуществлявший какие-то свои планы, неутомимо проверявший подробности завтрашней политической перспективы, он и на этот раз старался воплотить в жизнь начало своего плана спасения России от революционного развода.

Обращаясь ко мне и к трем моим комитетским товарищам, приглашенным мною для интимной беседы с именитым гостем, Савинков говорил своим тихим, но глубоко проникновенным голосом, всегда производившим на меня впечатление громкого шепота: — «Товарищи, вы видите сами, что наша армия в теперешней стадии революции, которая является ничем иным, как перманентной анархией, катится по наклонной плоскости к развалу и гибели. Вы не можете не сознавать, что победа противника в этих условиях является вопросом немногих недель и вы, как разумно думающие граждане и, прежде всего, солдаты, не можете не согласиться со мною, что победоносные австро-германские штыки не станут заниматься углублением и укреплением русской революции. На этих штыках они принесут нам наиболее черную русскую реакцию и наиболее кровавую и бессмысленную контрреволюцию. Не находите ли вы, что уже настало время, не без пяти минут двенадцать, как говорят журналисты, а всего одна минута до полнейшей катастрофы, после которой будут уже напрасны все усилия к спасению.

Спасать наше общее дело надо сегодня, ибо завтра уже будет поздно. Надо спасать родину от поражения и вражеского ига, а революцию от интервенции и контрреволюции. Единственным путем и единственным способом спасения как родины, так и революции является возрождение боевой готовности нашей армии в руках разумных, честных и решительных командиров, которые сумели бы вдохнуть в войска боевой дух для подготовки короткого, но решительного удара по врагу, тоже уже несильному и уставшему, чтобы одержанной победой приобрести почетный мир для России и лавры славы для нашей молодой Республики.

Если удар на участке вашей армии увенчается успехом — ударят соседние, после чего двинется весь фронт. Если в этом порыве воспрянут возвышенные чувства человеческой души, русской народной души, и сознание национального достоинства восторжествует над трусостью, подлостью и усталостью, над всем тем, что превратило нашу двадцатимиллионную армию в толпу вооруженных дезертиrov и трусов, — то мы победим и этой победой спасем Россию и революцию.

Да, я знаю и понимаю ваши сомнения, что быть может соседние армии не ударят. Быть может? Но у нас нет выбора, мы принуждены сыграть эту большую и опасную игру с судьбой. Другой игры уже не предвидится, ибо время утеряно.

Ваша 8-ая Армия благодаря вам является образцом и примером для других, но помните, в вашей армии тоже действуют разрушительные силы, которые вы до поры до времени держите взнужденными, но не забывайте, что время — ваш враг, бойтесь беспечности и промедления, ибо они вам сулят большие несчастья. Ведь вы не на необитаемом острове.

Для возрождения армии необходимы патриотический порыв чувств, героические усилия ума и воли. Необходимы исключительные люди, вдохновенные любовью к родине. Это обязывает всех: командиров, офицеров, солдат, членов революционных комитетов, — всех, всех, в чьих сердцах еще живо сознание общности с родиной и чувство ответственности за ее судьбу и за судьбу революции и свободы, которые нераздельны.

Я прибыл к вам чтобы привлечь вас к содействию группе людей, воодушевленных горячею верою в свой народ, разумною волею к действию и мужественною и честною инициативою к пробуждению в войсках боевого порыва. Я являюсь представителем этих людей и этой группы.

Предлагаю и горячо прошу комитет вашей Армии и все корпусные и дивизионные комитеты поддержать перед Правительством Республики и перед Ставкой нашу инициативу, чтобы Командующим вашей Армией был назначен геройский генерал Лавр Георгиевич Корнилов, недавно бежавший из австро-венгерского плена, а в настоящее время командующий войсками гвардии и Петроградского Военного Округа. Это искренний демократ, не имеющий ничего общего ни с аристократической военной элитой царской армии, ни с придворной камарильей, ибо он крестьянский сын Закаспийских

степей, высокообразованный человек, заслуженный и выдающийся офицер Генерального Штаба, отличающийся пытливым и ясным умом, горячим сердцем гражданина и железной волей полководца.

Если он в качестве Командующего вашей Армией, при вашем содействии, не сможет возродить боевых качеств, это значит, что никто этого уже не сумеет сделать. Тогда мы можем считать наше национальное и революционное дело проигранным и погибшим.

Я желаю, дорогие товарищи революционеры и граждане, чтобы вы поняли, что уже приближаются сроки нашей судьбы и судьбы нашей революции, что время торжествующего революционного веселья, выродившегося в гражданское безумие, близится к концу.

Путь спасения революции и сохранения ее завоеваний совпадает с путем спасения родины и это спасение только в руках армии. Если Россия проиграет войну, мы, революционеры, проиграем все наши ставки. Сто лет стремления к прогрессу и свободе пропадут безвозвратно. Чернейшая реакция, наиболее дикая и безответственная, слепая и мстительная утопит в крови каждую свободную мысль, каждый проблеск возрождения и освобождения жизни. Может статься, что Россия останется Россией, но нас в этой России уже не будет.

Я не пугаю вас, как вестник черного будущего, я деляюсь с вами моими скорбными мыслями, как ваши товарищи. Вы знаете, что я имею право так себя называть, вы знаете, кто я».

Так примерно говорил, и верил в то, что он говорит знаменитый русский революционер, Борис Савинков, почувствовавший себя русским патриотом, когда надвигающаяся гибель родины, а вместе с нею и свободы, стала для него очевидной. Революция, которой он служил долгие годы, убивая ее врагов, стала для него второстепенной позицией, ибо он понял, что от такой революции погибает и родина, и свобода.

В общении со мною с глазу на глаз Савинков не скрывал ни своих чувств, ни своих взглядов на ошеломляющую революционную действительность, ибо он чутьем угадывал, что хотя я и не русский, но совершенно разделяю его оценку и, так же как он, понимаю необходимость какой-то крутой перемены. Савинков удостаивал меня доверием и приобретал в моем лице, председателя Революционного Комитета Армии, полезного союзника для дальнейших планов и действий.

— Вы знаете, кто я.

Но в эти дни революции, в сознании такого живого и умного человека, каким несомненно был Савинков, не мог не возникнуть процесс суровой переоценки гражданской зрелости всей вообще русской народной массы. А печальный результат этой переоценки не мог не вызвать в нем убеждения о необходимости решительно отбросить революционный романтизм в подходе к идеи народоправства, сменив его революционным позитивизмом, свободным от охлократических предразсудков и гипнотизирующих прикрас литературного народовольчества.

Савинков ясно понимал, что надо перевести революцию с путей направляемых снизу патологической анархичностью народных масс на пути контролируемые сверху разумом и волею элиты, людей зрелого ума и совершенолетней совести.

Новое понимание действительности потребовало от Савинкова и совершенно новых решений и действий, как бы они ни были трудны и парадоксальны для него, вчерашнего революционера. Но эти решения он принял без оглядки по сторонам и без колебаний, ибо природа дала ему цельную натуру и сильную волю.

И все же пробужденный патриотизм и любовь к своей России, душевная боль за ее поругание и опасение за судьбу республики не вызывали у Савинкова отрицания революции. Для него было ясным, что революция была взрывом естественного протesta против разложения больного организма монархии, а вырождение революции и все ее политические и бытовые искажения явились лишь следствием непригодности и неподготовленности всей революционной демократии к живому делу возсоздания новых форм общества и государства.

Хотя в дореволюционное время Савинков был одним из наиболее решительных революционеров, прокладывавших убийством путь для будущей революции, он попутно позволял себе в своих литературных произведениях такие интеллектуальные и философские вольности, двусмысленные поэтические и прозаические намеки и символические параллели, которые совершенно определенно свидетельствовали об условности и даже неустойчивости его веры в непоколебимость революционных принципов и истин.

Из его литературных произведений следовало, что он тогда уже был готов приобщить многое из непоколебимого

для партии и революции к весьма сомнительному для человечества. Савинков нередко, как бы соблазнял читателя, и даже иносказательно внушал ему библейское: — «а кто знает, что такое истина?». Это нередко воспринималось как некий вызов, бросаемый своенравным автором-революционером не только революции, но и самому себе, беспрерывно находившемуся в какой-то потусторонней оппозиции к своему революционному воплощению.

Но когда тот же Савинков после революции стал государственником и патриотом, его ум и воля освободились от всякого *liberum veto*, от всякой парадоксальности и заносчивости его своевольной натуры. Не представляется вероятным чтобы в огне борьбы за судьбу страны, за настояще и будущее родины Савинков-государственник мог так играть идеей возрождения государства, как это делал Савинков-революционер с революцией.

Вот почему дореволюционный и пореволюционный Савинков мне кажутся двумя совершенно различными людьми.

Подчеркивая волевую напряженность Савинкова-государственника, как бы в укор его многим современникам, я рисую вызвать возражения, что и вожди российской контрреволюции, Белого Движения, тоже нисколько не сомневались в своей правоте и правде борьбы с большевиками за Россию.

Это несомненно так, но существенная разница между Савинковым-контрреволюционером и ими состояла в том, что все они, не исключая даже генералов не барского, а крестьянского или разночинного происхождения, как например генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, — не только отрицали революцию, но и ненавидели революционеров, как врагов, они их презирали как прокаженных и лишили их человеческих свойств и прав как противников.

Это презрение белых вождей, а за ними круговой психоз дикой ненависти всей белой массы не только к красным, но и ко всем розовым оттенкам демократии и либерализма были настолько глубоки и первично-эмоциональны, что лишили их чувства действительности и целесообразности.

Одному Господу Богу известно, сколько из-за этого было ненужных расстрелов, виселиц и судебных приговоров, уничтожавших и коверкавших жизнь неповинных людей.

Из всех выдающихся революционеров, ставших контрреволюционерами (стыдливо прячущимися под пристойным

званием «противников большевиков»), только Савинков решительно и открыто признавал необходимость широкого единения всех контрреволюционных сил и не пропустил ни одной возможности для реализации этого, не стесняясь, и не боясь, что скажет или подумает символическая революционная княгиня Марья Алексеевна, или реальная бабушка Брешко-Брешковская.

Но, к сожалению, он был один в поле воин.

Точнейший облик Савинкова-революционера дал Р. Б. Гуль в своих двух романах — «Генерал Бо» и «Азеф». О Савинкове того периода, на основании книг Р. Гуля, я составил точный образ того же самого человека, которого я наблюдал в непосредственной близости. Савинков-революционер, распоряжавшийся чужими жизнями с неотступным призраком собственной смерти, в часы душевной разбитости превращался почти в безответственную жертву разрыва своего пытливого ума и своих мятущихся страстей. Тогда он становился безответственным беглецом от самого себя.

Савинков-убийца искал оправдания у Савинкова-поэта и философа и, не находя его, ибо это было невозможно, бросался с высокого берега случая, становясь отрицателем и хулителем всего, что имело что-то общее с законом, моралью, порядочностью и тонул в умопомрачительном потоке разгула.

Савинков-революционер никого не любил, ничто не захватывало его сердца, его автоматизировала тогда революция и поглотила кровавая волна террора, в сущности и полноценности которого он сам сомневался. Савинков был душевно одинок и обезличен скепсисом. Но Савинков-патриот и государственник не только, по-моему, полюбил поруганную родину. Из сокровенной глубины своей природной, не литературной и философской, человечности он, по-моему, почувствовал долг отдать всего себя родине, дабы воспрепятствовать позорному разрушению государства и содействовать восстановлению целей загубленных революцией.

Сравнивая Савинкова-революционера с Савинковым-государственником и патриотом, я считаю (и предлагаю всем считать), что это были разные воплощения одной и той же человеческой души.

Во избежание вероятных обвинений в поверхностном суждении о внутреннем образе Савинкова считаю необходими-

мым добавить. Кто знал Савинкова близко, не только как революционера, писателя или политического деятеля, но и просто как человека, тот вряд ли усомнится в правоте моих суждений.

Внешне после революционного периода Савинков относился к русской действительности в ее общежитейском смысле немного свысока, снисходительно. Прожив на Западе почти всю сознательную жизнь и навещая Россию только на короткое время в условиях конспирации, он не имел возможности более внимательно присмотреться к российским будням, чтобы понять сложную сущность родной страны. Поэтому, очутившись только после революции на положении свободного гражданина, он на каждом шагу бывал то ошеломлен, то шокирован не только культурной и технической отсталостью русской жизни, но еще более покорным непротивлением русских, их вековой привычкой к тишине, покою и нетребовательности.

В долгих странствованиях с ним по градам и весям русской равнины я часто слышал от него, хоть и не злобное, но достаточно осудительное словечко: «Конго». Но это был лишь нетерпеливый укор, свидетельствовавший не столько об осуждении или презрении к родной действительности, сколько о патриотическом возмущении бездеятельностью виновников такого состояния, не умеющих, не желающих и не чувствующих потребности придать жизни другой лучший характер.

Савинков любил Россию глубоко и надо полагать что в этой любви было много наследственного чувства русского дворянина. Что он иногда «снисходил» к русским — говорит не столько об его осуждении, сколько об его отношении к людям вообще, ибо иностранцев он определенно внутренне чуждался и не любил, в особенности англичан и поляков, отдавая предпочтение, быть-может, лишь французам, и то вероятно только потому, что любил Францию из-за Парижа, где себя чувствовал по-настоящему дома. Там он был в столице мира, где к его услугам было всё — политические и интеллектуальные интересы, и развлечения: дорогие и дешевые рестораны, интересные женщины и скачки.

Но я хочу утверждать, что любовь Савинкова к своей России вовсе не вспыхнула вдруг из пустоты его дореволюционного сердца, а жила в нем в каком-то имманентном состоянии и составляла очень сложный источник его кровавой революционной деятельности.

Савинков, как мне кажется, принадлежал к той немногочисленной категории людей, которых природа одарила большой самоуверенностью в познании тайн бытия.

В нем мог быть и Достоевский, и Ницше, Пшибыльевский, и Сведенборг, и Макс Штирнер, автор книги «Единственный и его собственность». По убеждению одних, он был тяжким преступником, в глазах других он был герой, однако в своем собственном представлении, даже в самом горячем и боевом прошлом, он никогда не был тем слепым и тупым фанатиком, который не испытывал бы сомнений, если не совести и разума, то художественного чутья, что и выражалось в его литературных исканиях.

Когда после февральской революции 1917 года волна революционного развала, почти безумия, начала захлестывать и основные цели революции, и интересы народа и государства, Савинков без всякого колебания отбросил, как непригодный балласт, теоретический, утопический подход своих товарищей-революционеров и либералов к понятиям свободы и народовластия.

Став под патриотическое знамя возрождения родины, он громко и открыто стал требовать твердой власти, способной обуздить анархию дичающей с каждым днем народной толпы и мутающей умы, мутающейся в роковых aberrациях интеллигенции.

Сознавая необходимость перевода анархических устремлений революции на безопасные государственные пути, он избирал те способы овладения своеволием и анархией, которые были реальными и разумными. Но со стороны своих товарищей-революционеров он не только не встретил сочувствия, но возбудил к себе глубокое недоверие и даже враждебность.

Вопреки всем им он открыто явил пример гражданского мужества, отрекшись от призрачных и демагогических целей свободы в пользу непреложного долга, жертвы и ограничения, требуемых в интересах родины. Но в своей революционной и демократической среде он не нашел единомышленников..

Казалось бы, что государственное направление его мыслей должно было привлечь к нему те круги цензовой общественности, которые, приняв с восторгом февральскую революцию, как воплощение мечты либеральных поколений, вскоре же от нее отвернулись. Но и этого не случилось. В то

время, как его ближайшие товарищи-революционеры, не умеющие управлять революцией, отвернулись от него, как от потенциального контрреволюционера, либеральная русская демократия отвертываясь от Савинкова, психологически уже была склонна примкнуть к явной реакции.

Савинков игнорировал и осуждение товарищами-революционерами и отчуждение от него общественности. Как независимый человек, он ответил и одним и другим тем, что пошел к контрреволюционным генералам.

После этого не удивительно, что Савинков почувствовал ко всем своим современникам прогрессивного и революционного лагеря, к товарищам эсэрам и меньшевикам, некоторого рода отчуждение и личное отвращение. Он считал себя вправе не иметь никаких оснований уважать революционеров, расточающих во имя какой то доктринерской свободы материальное и духовное достояние государства и не мог оправдывать бездеятельного разочарования цензовой демократии в свободе и революции, считая ее роль достаточным доказательством ее полного ничтожества.

Его любимым термином для определения политической зрелости революционной демократии было слово «совунатики» и все их вдохновенные речи на темы «текущего момента» в советах, на митингах и в газетах он без гнева, но с достаточно презрительной снисходительностью называл «борьтанием». Их всех он считал виновными в развале России и был готов объявить их, как утерявших чувство связи с родиной и государством, заслуживающими суровой кары или уж во всяком случае изоляции от власти.

В его убеждениях, до времени скрываемых, день ото дня возрастала уверенность в необходимости и неизбежности отказа от многих искажающих свободу, революционных достижений, в пользу демократического, но уже несомненно диктаториального преодоления грубою силою всех болестей психики русских масс и девственного целомудрия русского интеллигентского романтизма. В этом смысле Савинков уже был как бы провозвестником демократической реакции, оставаясь в то же время убежденным противником реакции реставрационной, ибо он был уверен, что даже ее победа над анархией революции не только не обеспечит государству возрождения, но грозит еще глубже ввергнуть его в бедствия полнейшего разрушения.

Он знал и ясно предвидел, каков будет произвол контрреволюционных мстителей. В этом внутреннем конфликте

революционера с патриотом и государственником, Савинков, как опытный артиллерист, пристреливающийся к неприятельской позиции, из перелетов и недолетов разнородных явлений политической жизни выбрал единственную правильную для обстрела цель — развал государства и позор России. И стал без колебания больше русским, чем революционером.

Но если глубже всмотреться в эту психологическую перемену, то станет очевидным, что Савинков оставался самим собою. Как раньше он уничтожал людей, губящих монархическую Россию, так теперь он стремился к обезвреживанию людей, ведущих к гибели Россию республиканскую.

Степень точности многих моих впечатлений и заключений о Савинкове требует краткого пояснения. По времени я его знал недолго. Если не считать встречи на Стрелке до революции, то от приезда Бориса Викторовича к нам в Черновицы в 1917 году до моей последней встречи с ним в моем доме в Вильне в 1923 году прошло всего шесть лет. Конечно, все боевые и политические товарищи Савинкова, хотя бы те несколько человек, которых и я знал, как Рутенберг, Фондаминский, Моисеенко, имели возможность глубже чем я заглянуть в сложную душу своего долголетнего товарища, но я не уверен, что Савинков с ними всегда был самим собою.

Я не могу не поделиться с читателями моими наблюдениями, проверенными многократно, что Савинков в своих встречах с людьми в моем присутствии, среди которых были выдающиеся военачальники, политики, революционеры, литераторы, русские, французы, англичане, поляки, был совершенно иным, чем наедине со мною. Не знаю, моя ли индивидуальность, безусловно не располагающая к позе и искусственной игре, или потребность его природы в психическом отдыхе были тому причиной, но, когда мы оставались вдвоем, а это случалось месяцами в течение нескольких лет, Савинков как бы снимал маску и становился совершенно другим человеком. И хотя при нем всегда оставался его проникновенный и быстрый ум, сверкающий и блестящим анализом, и остроумием и юмором, он бывал тогда прост, безыскусственный, страшно дружелюбен, внимателен и даже ребячески послушен в мелочах товарищеской и компанейской жизни.

Но когда ему представлялся случай произвести тот или другой опыт заглядывания в чужое нутро, в данном случае в мое, он был жаден до беспощадности, настойчив до микроскопической точности и остер как бритва, но никогда не

злоблив. Помню случай, когда мы стояли с ним на открытом месте во время митинга в одной бунтующей резервной части под неприятным обстрелом немецкой артиллерией. Это продолжалось не долго, с полчаса. Снаряды рвались не низко, не высоко, но с довольно чувствительными и противными для нас эффектами. Тысячи солдат жадно наблюдали за нами. Нельзя было показать не только малодушия, но даже нервности. После одного довольно близкого разрыва, поранившего перед нами несколько человек, Савинков, добродушно-иронически улыбаясь, сказал: «Хорошо бы закурить, только у меня нет спичек».

Трусость — одно, эмоция — другое. Конечно, зажженная спичка под треск, шум и свист железа над головой будет дрожать почти одинаково и в руке труса, и в руке героя. Но природа дала человеку целую гамму возможностей умерить,нейтрализовать одну эмоцию другой. «Ах так», — возмущенно подумал я — «ты хочешь видеть мой позор в дрожащей от страха руке? Так вот тебе, получай», — и я быстрым, твердым движением моей злой руки сунул под папиросу Савинкова горящую спичку. Борис Викторович сдергивал, но весело и одобрительно засмеялся, как бы и понимая и оценивая сложные пути моих рефлексов от оскорблённого шляхетского гонора.

Таких случаев испытания меня (надо полагать, что не только меня) было не мало. Однажды в безоблачную минуту послеобеденного созерцания, весьма отдаленного от прозаической реальности бытия, располагавшего к философическим разговорам, Савинков спросил меня:

— А какие у вас были доказательства, что она вас любила?

— Доказательств могло и не быть, — ответил я, — но были некоторые указания, весьма подкрепленные внутренним убеждением и верой, когда сравнительно незначительное наблюдение приобретало вес доказательства. Когда вы ежедневно возвращаетесь позднею ночью домой, в темноте входите в свою комнату и на столике у кровати находите всегда на одном и том же месте свечу и полуоткрытую коробку спичек, можете не сомневаться, что женщина, которая вчера ласковым и горячим шепотом признавалась вам в своем несмелом чувстве, не притворяется любящей, а любит.

Мне было приятно, что Савинков, большой знаток всяких разновидностей женских чувств, оценил мое наблюдение и коротко сказал:

— Вы правы, любовь в большинстве случаев выражается в благодарности, а благодарность — во внимании.

Мне неоднократно приходилось замечать в моем внимательном наблюдении над Савинковым, что как бы ни были драматичны обстоятельства и как бы ни была велика опасность для его жизни, Савинков в минуту напряжения воли проявлял совершенно нездешнее равнодушие, спокойствие и самообладание. После многих случаев такого рода я понял, что это и был настоящий Савинков, природный игрок с судьбой.

Однажды в Пскове при выходе из гостиницы мы были окружены у моего автомобиля четырьмя молодцами из какого-то местного большевицкого исполкома или ревкома, вооруженными до зубов, грубо потребовавшими от нас предъявления документов. Действуя автоматически, я разыграл экс-промтом, но совершенно театрально, полукомедию, позволившую нам оторваться от очень для нас опасных контролеров. Возмущенный до глубины души непривычною для меня наглостью, а с другой стороны здорово напуганный возможностью отправки в Смольный, а из него к стенке, я разразился такою громовою, современно истерической речью, что все четыре лоботряса были ошеломлены и поверили, что наши документы у швейцара гостиницы, за которыми мы и пошли. Выйдя тут же черным ходом в огороды, мы исчезли из сферы этих еще малоопытных будущих чекистов. Пять минут спустя, Савинков, спотыкаясь среди высоко торчавших кочерыжек срезанной уже капусты, спокойно заметил:

— Как жаль, что такой вдохновенный оратор, трибун и оскорбленный революционный сановник принужден бежать по капустным пустырям от своих очарованных слушателей.

Было смешно, хотя было вовсе не до смеха, но настоящему Савинкову ничто не помешало от души смеяться, ибо положение наше, было и драматичным, и все-таки смешным.

В другом случае «трансцендентальность» Бориса Викторовича решающим образом повлияла на благоприятный исход в сцене, могущей иметь для нас трагический финал. Это было при переходе нами «фронта» между Ростовом и Новочеркасском. На ранней холодной и туманной заре ноябрьской ночи, когда мы, как воры, в наемном тарантасе пробирались через фронт между Ростовскими красными и Новочеркасскими белыми, вдруг из негустой мглы, окутывающей бездорож-

ные перелески, раздались грубые тревожные голоса: «Стой. Кто едет? Выходи, предъявляй документы!»

У меня не было никаких сомнений, что это враги. Савинков спервоначала вероятно думал так же, поэтому мы, во исполнение единственного возможного стратегического плана, стали приближаться к трем оборванцам, держащим нас, но как то неумело, на мушках винтовок. Декламируя фальшивым голосом: «А вот и наши документы», я одновременно сунул руку в нагрудный карман пальто, где был «кольт», когда Савинков вдруг спешно прошипел за мною по-польски: «Не стрелять, это наши». Он каким-то волчьим чутьем распознал в оборванцах станичную лесную заставу, хотя по виду это были типичные большевики.

Могу себе представить, что было бы, если бы я перестрелял этот казачий дозор. А ведь я его несомненно перестрелял бы, потому что в этом отношении состязание со мною нерешительных, медлительных парней, было безнадежно. Благодаря молниеносной прозорливости Савинкова и его необыкновенному самообладанию даже в такой драматической обстановке мы избежали не только рокового убийства своих людей, но по всей вероятности избежали и виселицы на станичной площади. Вместо такого конца нас ожидала в станице сердечная встреча в штабе казачьей части. Нас приняли как родных, а оценив спасительную для станицы и всего фронта информацию военного и политического характера, — привезенную нами из большевистского Ростова на Дону, нас чествовали и даже наградили почетным казачеством станицы, препроводив с рекомендациями в Новочеркасск, как друзей.

Возвращаюсь к хронологическому изложению событий, связанных с приездом к нам Савинкова и с последствиями его патриотической миссии.

Приезд ли его случайно совпал с предсмертным оживлением здорового духа в нашей армии или это была вспышка воодушевления еще не окончательно больной психики масс, — во всяком случае в ответ на патриотический призыв заслуженного революционера, в солдатской массе на какое-то время пробудилась активность. Стало очевидным, что настроение как бы пошло на патриотический подъем, стало казаться, что армия становится русским войском.

Равным образом благотворное влияние на массы в этом направлении оказали все наши дивизионные и полковые комитеты, подогретые и побужденные усилиями депутатов нашего Армейского Комитета, о чем просил Савинков, в особенности после приезда в Армию нового командующего — Л. Г. Корнилова.

Почти все корпусные, дивизионные и полковые комитеты, по нашему почину, под непосредственным личным и весьма горячим внушением наших армейских депутатов, разъехавшихся по всей территории, занимаемой Армией, вынесли соответствующие резолюции, которыми по телеграфу были засыпаны Временное Правительство, Верховное Командование и даже Петроградский Совет Солдатских и Рабочих Депутатов.

Не прошло и недели после приезда Савинкова, как мы уже встречали торжественно и почти по-старорежимному нашего нового Командующего Армией, быть может впервые в истории войска, избранного или рекомендованного солдатскими массами снизу.

Лавр Георгиевич Корнилов, уроженец Закаспийских степей, генерал-лейтенант Русской Армии, выдающийся офицер Генерального Штаба, отличившийся в молодости разведкой английских военных тайн в Афганистане, в Белуджистане и в Индии, по наружному виду был лишен обычной генеральской представительности в банальном значении этого слова. Малого роста, очень худой и к тому же как-то плоский в лице и фигуре, он казался рядовым текинским всадником, одетым в генеральскую форму. Корнилов лицом был бронзовый, с темно сосредоточенным взглядом и всегда как будто затаившимся в себе. Быстрыми, узкими глазами, казалось, глубоко и мудро проникал он во всё и вся. Сорокадевятилетний, угрюмый, непроницаемый, — он не производил впечатления первого встречного генерала и не был похож на зурядного, затерянного в толпе, человека. В нем сквозь обыденность проглядывали черты духовной избранности рокового человека в глубоком смысле этого слова. Это чувствовал каждый приближающийся к нему, переходящий границу поверхностных светских или служебных отношений.

Встречали мы его сердечно и, как я уже отметил, торжественно и немного по-старинке. Встречали всем комитетом, от имени которого приветствовал генералаober-офицер и солдат кратким обращением, заранее проконтролированным

по содержанию. Хотя ни один из ораторов ни одним словом, ни намеком, ни фальшивым тоном краткой речи не нарушил церемониальной благопристойности и торжественности встречи, Корнилов сам тут же не преминул развеять все возможные иллюзии, которые могли бы возникнуть в среде его многочисленных «выборщиков» как Командующего.

«...Если вы думаете и надеетесь, что я буду Командующим Армией только на бумаге, то ошибаетесь. ...Если вы ожидаете, что я буду углублять революцию, как об этом мечтают многие и к чему призывает Петроградский Совет, то вы ошибаетесь тоже. ...Я буду углублять оздоровление Армии, которую разрушила и развалила революция. Это мой долг и я его выполню, но это и ваш долг и вы его должны выполнить. Это ваш долг не только как сынов родины, это тем более ваша обязанность, как выборных от армии людей, как представителей ее русского и гражданского сознания. Я буду стремиться к спешному возрождению боевой готовности войск, чтобы ударить по врагу и..... победить или погибнуть. ...Я своей жизнью не дорожу, это вы все знаете... Я призываю вам, как командующий, пробудите вашу совесть, обратите ваше сердце к вашей родине и воодушевите массы, вас избравшие, к подвигу...»

Не всем пришлись по вкусу эти несомненно благородные, но жесткие и не совсем нужные слова. Каждому в них послышался контрреволюционный укор, вместе с боевым гулом надвигающихся решительных событий, в котором сквозь символический орудийный гул зазвучала горячая решимость необыкновенного игрока, готовящегося все поставить на последнюю карту.

Одни, слушая Корнилова, понимали, что это не только слова. Они разочарованно шипели про себя: «контрреволюция». Другие, однако, сильно подтянулись и в глубине души, робко, но облегченно вздохнули: «наконец то».

Корнилов оставил генерала И. Л. Романовского, неоценимого во всех отношениях гражданина и военачальника, на должности Начальника Штаба Армии. Впоследствии он еще глубже оценил его ум, честность, мужество, военные знания и чувство реальности, совершенно лишенное склонения в какую-нибудь демагогию. Корнилов полюбил его и не расстался с ним до своей смерти, настигшей его годом позже на Екатеринодарской позиции.

В штабе Армии и на высших постах командования последовали перемены. Генерал-Квартирмейстер генерал граф Гейден, полная противоположность генералу Романовскому, был отчислен в резерв Киевского военного округа. Ротмистру графу Бенкendorфу старшему адъютанту штаба, неразумному представителю реакции и легкомысленному вдохновителю в штабе корнетской контрреволюции, был бессрочно продлен отпуск. Много начальников дивизий переменили должности или ушли из Армии. Командирами полков стали наилучшие и геройские молодые офицеры.

Корнилов неистовствовал, рвал и метал, как будто старался в течение нескольких недель переделать и исправить всё, что в прошлом было плохим, нерадивым, вредным. В этом сказывалась его неоспоримая революционность, ибо он не считался в своих отчислениях и новых назначениях ни с чем, ни со знатностью фамилии, ни со связями с властью имущими, а только с личными качествами человека и офицера, с его гражданской и воинской пригодностью.

Корнилов чуть ли не ежедневно навещал окопы, заходил в землянки, разговаривал, просил, молил, убеждал, приказывал и грозил, стыдил трусов, сыпал вокруг искры гнева из своихечно горящих раскосых глаз, самолично усмирял в окопах бунты непослушных, распропагандированных или озорных, наказывал и награждал.

Огнем своего пламенного сердца он зажег сердца людей, наполнил патриотическим пламенем уже больные солдатские души и достиг чуда. Люди вопреки своей воле стали поддаваться обаянию этого воплощенного духа войны. Видя его проходящим по брустверам окопов, искушающим вражеские пули, люди очаровывались его отвагою, естественным презрением к смерти и вокруг него начинали складываться легенды об его неуязвимости и заклятии от смерти.

Быть может он сознательно стремился прикрыться Скобелевской славой командира, которого пули не берут, быть может он и в этом играл, как и во многом другом, но несомненно, что он также разыскивал игроков на роли Мининых и Пожарских, а преисполненный в своем полуазиатском сердце горячей любви к своей русской родине и веры в ее великие предопределения, он бессознательно исполнял загадочную волю судьбы.

Корнилов в душе презирал и комитеты и комитетчиков, и тем не менее он ежедневно задушевно беседовал с их пред-

ставителями. Корнилов пересиливал свое омерзение к этим революционным болтунам, ибо это действительно был особый и невыносимый для нормального человека тип, но именно от болтунов он и требовал поддержки в вопросе о смертной казни в войсках на фронте за измену, бунт и неисполнение боевого приказа. В этом направлении он заручился поддержкой и Савинкова и комиссара Фронта (кажется Крестинский, брат большевика) и президиума нашего Комитета и, имея в руках все эти революционно-демократические козыри, он до тех пор бомбардировал Ставку и Правительство, пока не достиг своей цели.

Именно тогда в глазах Петроградского совета он стал живым и грозным символом реакции и контрреволюции. В глазах же и в сердцах той части общественности, которая еще сохраняла какие-то проблески гражданского и государственного сознания, Корнилов с каждым днем становился избранником судьбы, вождем возрождения, которого одни начинали благословлять и любить, а другие бояться, ненавидеть и проклинать. На переломе революции Корнилов становился легендой.

В постоянной и тесной связи с Савинковым, ежедневно присутствовавшим в нашем Штабе в период подготовки войск, проходили лихорадочные последние дни перед наступлением. Корнилов бросил 8-ую Армию в атаку, прорвал австрийский фронт, как старое полотнище цирка, захватил десятки тысяч пленных и много военной добычи, — и тут же войска выдохлись, ибо слишком скоро исчез боевой подъем, искусно но поверхностно привитый уже больному солдатскому духу.

Соседние армии нас не поддержали и, хотя легче всего было объяснить это революционным разложением войск, но от хорошо осведомленных лиц приходилось слышать и о других, более веских, причинах воздержания наших соседей справа и слева. Для многих старорежимных высоких военачальников генерал Корнилов был «выскочкой». Его популярность, вспыхнувшая по всей России, возбудившая столько надежд не нравилась многим из глубоко консервативной среды старого генералитета. Эти люди держались другой формулы: — «чем хуже для революции, тем лучше для России». И этой формулой оправдывали свою бездеятельность.

Тем не менее наступление 8-ой армии оказалось эффективным взрывом. Осуществление этого взрыва, хотя и кратко-

временного, заронило в души его инициаторов и творцов надежду, что еще не все потеряно.

Савинков возымел новый план в более широком масштабе. Он решил настаивать на выдвижении Корнилова на пост Верховного Главнокомандующего, одновременно требуя для себя — военное министерство. Опять при содействии всех наших комитетов, выражавших волю революционной воинской массы, и при поддержке почти всей демократической общественности цель была достигнута. Повидимому климат был подходящий и назначения последовали.

Это был единственный и последний благоприятный момент на протяжении всей революции для достижения решительного перелома в настроениях не только культурной общественности, но и в гуще солдатских масс, еще не окончательно зачумленных анархией. Но хотя это и был несомненно разумный замысел — согласовать патриотический динамизм нового Верховного Главнокомандующего в лице Корнилова со сдержаным и прозорливым государственным социализмом революционера Савинкова в качестве военного министра, — дух смутного времени уже приносил симптомы болезненной настороженности и взаимного недоверия среди главных персонажей на верху управления республикой. В обществе уже чувствовалась нервозность, ходили смутные слухи, что Корнилов и Савинков готовят решительные перемены, что морально около них, в каком то благожелательном и выжидательном положении находится и председатель совета министров — А. Ф. Керенский.

Но это было далеко не так.

Не подлежит сомнению, что Керенский, несмотря на явный скептицизм его и его друзей по отношению к Савинкову, душою был за возрождение боеспособности армии на фронте и за обуздание «взбунтовавшихся рабов» в тылу. Но перспективы этого возрождения и техника его реализации в понятиях и сознании всех троих были совершенно разны. Кроме того, слишком мало было в ту пору Корниловых, Савинковых и Керенских и слишком много искусственных вдохновителей «взбунтовавшихся рабов» с одной стороны и ложных благодетелей закамуфлированной реакции — с другой, утешавших себя дурацким слоганом: «чем хуже — тем лучше».

Савинков по вступлении в должность управляющего военным министерством назначил Бурцева начальником политического департамента военного министерства, вменив ему

в обязанность, помимо разрешения текущих дел, сбрать и приготовить материалы для обвинения Ленина и товарищей в государственной измене. Бурцев заслуженно считался в то время лучшим специалистом по политическому розыску в революционной среде.

Савинков с некоторой затяжкой назначил меня военным комиссаром Временного Правительства в нашей 8-й Армии, привлек к сотрудничеству некоторых своих товарищей по террору: Рутенберга, Моисеенко, Крестинского и, поскольку было возможно, очистил департаменты министерства и главного штаба от реакционных саботажников. Но главной своей задачей он считал мероприятия совершенно не подлежащие ведению его министерства, а именно: роспуск Петроградского Совета и изоляцию и объявление вне закона партии большевиков, в особенности ее ЦК с Лениным и Троцким во главе, ограничение власти военных комиссаров и упразднение военно-революционных комитетов.

Стремясь к этому, он еще более сблизился с генералом Корниловым, тогда уже Главковерхом, на почве согласия, взаимного понимания и твердого убеждения, что достижение всех вышеназванных целей невозможно путем воздействия на совет министров словами и даже наиболее убедительными доказательствами преступной деятельности партии большевиков. Но слишком велико было чувство страха в душах старых революционеров, стоявших у власти, и у идеалистически настроенных либералов, которые полагали что решительный удар по большевикам и советам мобилизует реакционные и контрреволюционные слои и побудит их к выступлениям против революции и демократии, что им всегда казалось наибольшей опасностью для молодой республики.

Выступление большевиков в июле и вывод ими черни на улицы столицы, было сравнительно легко ликвидировано правительством, и в значительной степени изменило к худшему политические шансы тайных намерений Савинкова и Корнилова. Правительство возымело ложное представление о своих силах, которые в действительности были призрачными, почти театральными, к тому же ежедневно тающими. Большевики же, хоть и обезвреженные на некоторое время, приобрели опыт, весьма полезный для будущих выступлений, толкающих их к новым попыткам государственного переворота, главным образом потому, что их первое вооруженное выступление, хотя и неудачное, осталось безнаказанным. Это обстоятельство имело и обратное действие. Оно окончательно убе-

дило и Савинкова, и Корнилова, и всех людей мыслящих логически, что правительство республики лишено не только силы, но и чувства власти и чувства управления и поэтому совершенно не способно к решительным действиям для ее спасения.

Это тем более стало ясно, когда Савинков подал председателю Совета Министров Керенскому мотивированную записку о настоятельной необходимости ликвидации советов, об аресте ЦК партии большевиков, об ограничении компетенции военных комиссаров и комитетов армии, а равным образом о предоставлении командному составу дисциплинарных прав в отношении солдат, которых его лишил пресловутый приказ № 1. Керенский ответил решительным отказом, и Савинков ушел в отставку с поста управляющего военным министерством.

Я забежал немного вперед. Перед этим состоялось так называемое Московское Государственное Совещание, на котором Верховный Главнокомандующий встреченный восторженно подавляющим большинством, открыто бросил вызов Временному Правительству. И это несомненно поощрило Корнилова, ускорив его выступление против Временного Правительства.

«...Не революцию углублять, отечество надо спасать, о котором граждане в безумной погоне за достижениями революции совершенно забыли. ...Русские люди, — кричал в исступлении Корнилов, — я, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами государства, говорю вам в лицо, без лживых слов утешения и без трагических прикрас, говорю вам поистине трагическую правду, что если ничего не изменится в течение недели-двух, то перестанут существовать эти вооруженные силы республики, на которых лежит долг преградить врагу доступ внутрь страны. От этих вооруженных сил останутся лишь вооруженные банды убийц и грабителей, бегущих от противника и грабящих свой край на всем его протяжении, от западной границы до Тихого океана. Я призываю вас всех — опомнитесь. Я требую, чтобы Правительство взяло бразды правления твердой и решительной рукой, но не завтра, а теперь же, с этой минуты, ибо времени осталось немного».

Каждый присутствовавший, а ведь на этом совещании присутствовал цвет русской общественности, почувствовал недоговоренную угрозу Корнилова: — если правительство

этого не сумеет сделать, это сделаю я. Одни всполошились, но большинству стало легче на душе, затеплилась надежда. Некоторым хотелось верить, что рядом с Верховным Главнокомандующим не только Савинков, но что за их спиной — тень председателя совета министров Керенского.

Но это была ошибка. Корниловское выступление — явление более сложное, чем казалось, и трудно было сказать — кто с кем и насколько. Поверхностно могло казаться, что Савинков и Корнилов — заодно, но ни Савинков не знал сокровенных и окончательных целей Корнилова, ни Корнилов, даже вопреки своим желаниям, не мог расчитывать на Савинкова, как на долговременного союзника.

Вскоре после московского совещания я был вызван военным министром Савинковым в Ставку, в город Могилев на Днепре. Не требовалось особенной проницательности, чтобы догадаться, что Корнилов почти открыто заканчивает приготовления к вооруженному походу на столицу. В присутствии Савинкова Корнилов сообщил мне, что предполагалось мое назначение временным политическим комиссаром (вероятно правительства, но какого?) при войсках предназначенных для занятия столицы, но что предполагаемый командующий этой операцией, генерал Врангель, категорически отказался от моего сотрудничества.

Необходимо вспомнить, что за несколько недель до этого генерал Врангель по инициативе Комитета 8-ой Армии и по распоряжению Главнокомандующего Юго-Западным фронтом, был отстранен от командования 3-м Кавалерийским Корпусом, входившим в состав нашей 8-ой Армии. Его беспримерно вызывающее и демонстративное поведение, не столько контрреволюционное, сколько неразумное и лишенное какого-либо контрреволюционного смысла, грозило резней офицеров солдатами в эскадронах и полках.

Не скрывая своего удивления, я тут же спросил Савинкова, является ли мое предполагаемое назначение следствием его желания или указания, сделано ли оно по его почину? На это я услышал ответ: — «нет, это было личное желание Верховного Главнокомандующего, мотивированное соображениями что присутствие рассудительного революционера рядом с крайним контрреволюционером, но выдающимся офицером, в качестве командующего операцией, придаст рискованному предприятию нужный и тем самым более приемлемый характер. Инициатива Лавра Георгиевича — продолжал Савинков — вполне понятна, он вас хорошо знал по 8-ой Армии и

имел основание предполагать, что и вы, зная его, не откажетесь от неожиданного назначения».

Корнилов не казался особенно удивленным, когда я, поблагодарив его за память и доверие, отказался от этого назначения, сказав, что к этому у меня много оснований, не упомянув однако главного, что я никоим образом не мог считать назначение генерала Врангеля целесообразным для предполагаемого действия.

Об этом я сказал только Савинкову, добавив что если корниловские войска, предназначенные для вооруженного нажима на революцию и правительство выбраны так же удачно, как выбран их командующий, то не трудно предвидеть, что результат этого бунтарского, хотя и патриотического, дерзания будет чрезвычайно печальным, а может быть даже позорным. Если эти дивизии «вызваны» с фронта, без выбора и идеологической подготовки и подчинены такому командующему, как Врангель, то надо ждать полнейшей неудачи. Мои сомнения заставили Бориса Викторовича крепко задуматься. Он долго молчал, погруженный в думы, потом оживился и сказал: «Корнилов один, генералов много. Каждый из них думает по-своему и думает разно, большинство из них, привыкших автоматически выполнять приказы, не думают вовсе, чувствуя и действуя почти бессознательно. Но все они сходятся в одном, в полном презрении к демократии и революции и к каждому проявлению либеральной мысли. Для них революция это случайное завершение мятежной деятельности преступных элементов, не ликвидированных во время и не усмиренных нагайками и пулеметами по нерадивости старого правительства. Об историческом аспекте революции они не думают по ограниченности своих знаний и по лености своего ума. Но с другой стороны, — продолжал Савинков, — если бы они были умны и понимали революцию как явление политического искусства, то они, применив к ней разумные и искусные приемы борьбы, давно бы уже ее прикончили. Вы правы, опасаясь их генеральской простоты и даже грубоватости в таком сложном деле как контрреволюция, требующая не только хотения и воли, но и умения, а еще больше искусства. Если революция является искусством, как об это поучает Маркс, то контрреволюция требует еще большей тонкости чутья для ее подготовки и реализации.

Я не знаю, были ли подготовлены идеологически и эмоционально те войсковые части, которые штабом северного

фронта «прикомандированы», как вы говорите, к корниловской контрреволюции, но если это так как вы думаете, что они не были подготовлены, то, по всей вероятности, мы присутствуем при жалкой попытке свершения патриотического и государственного подвига совершенно негодными средствами. Ни я, ни вы и никто из революционеров не является настолько близким и авторитетным для генералов, чтобы они дали нам возможность действительно влиять на подготовительный период.

Если эти люди решились на контрреволюцию, которая по времени является ничем иным, как сопротивлением большевистскому засилью, и для боевой реализации своего плана привели первые встречные оболыщевиченные полки с северного фронта, то вы правы, это должно кончиться провалом и позором. Возможно даже, что в командовании северным фронтом есть активные сторонники гениальной доктрины — «чем хуже — тем лучше» — тогда не придется удивляться и переходу Ленинской красной гвардии на помощь Корниловской контрреволюции.

Но посмотрим, что будет. Отступления нет».

(Продолжение следует)

К. Вендзягольский

БОЙ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ *

Казаки отказались защищать Зимний дворец и ушли 25-го октября, оставив пулеметы юнкерам. Проходя по двору, я уви-дела юнкера Михайловского Артиллерийского Училища, про-хаживавшегося с обнаженной шашкой около орудия. Роту вво-дят в роскошные апартаменты, с окнами, выходящими на Дворцовую площадь. Говорили, что это — покой Екатерины Великой. Раздают патроны; новенькие гильзы блестят, как золотые. Почти все по одному-два патрона прячут за пазуху «на память». Усаживаемся на полу, не выпуская из рук винто-вок. Никто не решался сесть на мебель, боясь ее испачкать шинелями. И как мы впоследствии были возмущены, узнав, что солдаты, ободрав с мебели шелк и бархат, свалили вину на нас.

Проходя на обед, я видела сидевших на полу и стоявших юнкеров. Пока всё тихо. Мы уже знаем, что оставлены для защиты Зимнего дворца. Ночь не принесла никаких перемен. Доброволицы сидят, с винтовками, готовые по первому прика-зу вступить в бой. Я несколько раз приникала к стеклу, силясь что-нибудь рассмотреть. Незаметно никакого движения. По-ручик предупредил: «После приказа открыть огонь, наклады-вайте на стекла что-нибудь мягкое и выдавливайте!» Михай-ловское Артиллерийское Училище было обманом уведено пе-рекинувшимся к большевикам комиссаром. 25-го октября во дворец пробрался комиссар Абрам Гундовский, уговаривая юнкеров уйти. Он был ими арестован, но потом отпущен.

В ночь с 24-го на 25-ое броневики покинули Зимний дво-рец, оставив лишь один броневик, из которого солдаты вы-

* Автор этих воспоминаний, Мария Бочарникова, служила в Первом Петроградском Женском Батальоне, в звании старшегоunter-офицера, и принимала непосредственное участие в защите Зимнего дворца, в день октябрьского переворота. РЕД.

крали магнето. Во дворец с вокзала пробралось несколько ударников. Слыхала, что среди них была и женщина-прапорщик. Штаб Округа вызвал вечером 24-го фронтовые части, а Смольный — кронштадтских матросов. В Неву вошла целая флотилия (несколько тысяч матросов). Матросы высадились около Николаевского моста и оттуда повели наступление на Зимний дворец. Штаб Округа приказал развести мосты (Литейный, Троицкий, Николаевский), чтобы отрезать рабочие районы от центра. Мосты были разведены, но в 3 часа рабочие и красногвардейцы свели их снова. Ночью крейсеру «Аврора» было приказано подойти к Николаевскому мосту (находившемуся в руках юнкеров) и захватить его, что и было выполнено. Юнкера отступили.

25-го октября 1917 г., около 8-ми часов вечера, получаем приказ выйти на баррикады, построенные юнкерами перед дворцом. У ворот, высоко над землей, горит фонарь. Стоит группа юнкеров с офицером. Слышу приказ: «Юнкера, разбейте фонарь!» Полетели камни, со звоном разлетелось стекло. Удачно брошенный камень потушил лампу. Полная темнота. С трудом различаешь соседа. Мы рассыпаемся вправо за баррикадой, смешавшись с юнкерами. Как потом мы узнали, Керенский тайно уехал за самокатчиками, оставив вместо себя министра Коновалова, но самокатчики уже «покраснели» и принимали участие в наступлении на дворец. В девятом часу большевики предъявили ультиматум о сдаче, который был отвергнут. В 9 часов вдруг впереди загремело «ура!». Большевики пошли в атаку. В одну минуту всё кругом загрохотало. Ружейная стрельба сливалась с пулеметными очередями. С «Авроры» забухало орудие. Мы с юнкерами, стоя за баррикадой, отвечали частым огнем. Я взглянула вправо и влево. Сплошная полоса вспыхивающих огоньков, точно порхают сотни светлячков. Иногда вырисовывался силуэт чьей-нибудь головы. Атака захлебнулась. Неприятель залег. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой силой. Воспользовавшись затишьем, я спросила: «Четвертый взвод, есть еще патроны?» — «Есть, хватит!», раздались голоса из темноты.

«Есть еще порох в пороховницах, не ослабела еще казацкая сила!» — раздался веселый голос какого-то юнкера. Нас обстреливали от Арки Главного Штаба, от Эрмитажа, от Павловских казарм и Дворцового Штаба. Штаб округа сдался. Часть матросов прошла через Эрмитаж в Зимний дворец, где тоже шла перестрелка. В 11 часов опять начала бить артиллерия. У юнкеров были раненые, у нас — одна убитая. Прослу-

жив впоследствии два с половиной года ротным фельдшером в 1-ом Кубанском стрелковом полку, я видела много боев, оставивших неизгладимое впечатление на всю жизнь, но этот первый бой, ведшийся в абсолютной темноте, без знания обстановки и с невидимым неприятелем, не произвел на меня большого впечатления. Было сознание какой-то обреченности. Отступления не было, мы были окружены. В голову не приходило, что начальство может приказать сложить оружие. Был ли страх? Я бы сказала сознание долга его убивало. Но временами охватывала сильная тревога. Во время стрельбы становилось легче.

В минуты же затишья, когда я представляла себе, что, в конце концов, дойдет до рукопашной и чей-то штык проткнет меня, признаюсь, — холодок пробегал по спине. Надеялась, что минутует меня чаша сия и заслужу более легкую смерть — от пули. Смерть не страшила. Мы все считали долгом отдать жизнь за родину. «Женскому Батальону вернуться в здание!» — пронеслось по цепи. Заходим во двор и громадные ворота закрываются цепью. Я была уверена, что вся рота была в здании. Но впоследствии я узнала, со слов участников боя, что наша полурота защищала двор. И когда уже на баррикаде юнкера сложили оружие, доброволицы еще держались. Как туда ворвались красные, что там происходило — не знаю. Полуроту заводят во втором этаже в пустую комнату. «Я пойду узнаю о дальнейших распоряжениях», говорит ротный, направляясь к двери. Командир долго не возвращается. Стрельба стихла. В дверях появляется поручик. Лицо мрачное. — «Дворец пал. Приказано сложить оружие». Похоронным звоном отзовались его слова в душе. Мы стоим, держа винтовки у ноги. Через некоторое время просовывается в дверь голова солдата и быстро исчезает. Минут через пять заходит солдат и нерешительно останавливается у двери. И вдруг под напором толпы громадная дверь с треском распахнулась и толпа ворвалась. Впереди матросы с выставленными вперед наганами, за ними солдаты. Видя, что мы не оказываем сопротивления, нас окружают и ведут к выходу. На лестнице между солдатами и матросами — горячий спор: «Нет, мы их захватили, ведите в наши казармы!» — орали солдаты. Какое счастье, что взяли перевес солдаты! Трудно передать — с какой жестокостью обращались матросы с пленными. Вряд ли кто-нибудь из нас остался бы жив. Выводят за ворота. По обе стороны живая стена из солдат и красногвардейцев. Начинают отбирать винтовки. Нас окружает конвой и ведут в Павловские казармы. По

нашему адресу раздаются крики, брань, хохот, сальные прибаутки.

То и дело из толпы протягивается рука и обрушивается на чью-нибудь голову или шею. Я шла с краю и тоже получила удар кулаком по загривку от какого-то ретивого защитника советской власти. «Не надо, зачем?» — остановил его сосед. — «Изъ как маршируют и с ноги не сбиваются!» — замечает конвой. Подошли к какому-то мосту. Вдруг с улицы вынырнули броневик и пустил из пулемета очередь. Все упали на землю. Конвойные что-то закричали. Броневик умчался дальше. В суматохе доброволица Хазиева благополучно сбежала. В казарме нас завели в комнату с нарами в два яруса. Дверь открыта, но на треть чем-то перегорожена. В один миг соседняя комната наполняется солдатами. Со смехом и прибаутками, нас рассматривают, как зверей в клетке. Накануне парада из госпиталя выписалась доброволица. Несмотря на слабость, решила участвовать в параде. Всё перенесенное так подорвало ее силы, что ее вели под руки. В казармах же она потеряла сознание. «Господин взводный, наша больная кажется умерла!» — сказала мне доброволица. Высоко под потолком — маленькая лампа. На нарах темно. Забравшись, я взяла доброволицу за руку — прощупать пульс. Неошутим. Дыхания не слышно. Я подошла к двери: — «Товарищи, дайте огня, наша больная кажется скончалась!» — «Подожди, мы сейчас зажжем тебе электричество», — проговорил солдат и под гогот других стал щелкать дверной ручкой. Да простят мне читатели мое признание! В жизни не ругалась, не выношу сквернословия. Но помню, какое было искушение, единственный раз в жизни, забыв девичий стыд, за их издевательства — пустить их с упоминанием всех прародителей. И только сознание, что я этим их не оскорблю, а доставлю им веселую минуту, заставило меня стиснуть зубы и отойти прочь. Нас мучила неизвестность о судьбе командиров. Наконец, одна не выдержала: «Товарищи, а где наши офицеры?» — «Тю, о ком вспомнила! Да ваших офицеров красногвардейцы еще во дворце прикончили. А теперь очередь за вами...» Я почувствовала, как ослабели вдруг ноги и холод подкатился к сердцу. Страшное известие в миг разлетелось по роте. Везде, где свет выхватывал фигуры, видны были доброволицы с поникшими головами. Я подошла к сидевшей на нарах курсистке, с которой подружилась: «Поликарпова, наших офицеров убили красногвардейцы во дворце!..» Жестом отчаяния она схватилась за голову. Что-же дальше? Командиры погибли. Если нас даже не расстреляют, всё равно батальон

расформируют и фронта не видать. Да стоит ли жить? Впервые мысль о самоубийстве закралась мне в голову. Я подозревала, что та же мысль владела и другими. Все более или менее спокойно ожидали своей участи. Не берусь, конечно, судить, что творилось у них в душе. Только Б., с белым перекошенным от ужаса лицом, проговорила прерывающимся голосом:

— «Нас расстреля-а-а-ют!..» — «А вы думали по головке погладят?» — раздался чей-то спокойный голос с нар. — «Товарищ, вы знали на что шли, когда записывались в батальон. Если вы так дорожите своей жизнью, нужно было уходить до присяги. Знаете, есть украинская поговорка: «Бачылы очи що купувалы, а тепер їхте хоч повилазьте».

Настроение солдат постепенно менялось. Начались угрызы, брань. Они накалялись и уже не скрывали своего намерения расправиться с нами, как с женщинами. Что мы могли сделать, безоружные против во много раз превосходящих нас численностью мерзавцев? Будь оружие, многие предпочли бы смерть насилию. Мы затаились. Разговоры смолкли. Нервы напряжены до последнего. Казалось, еще момент и мы очутимся во власти разъяренной толпы. «Товарищи!» вдруг раздался громкий голос.

К двери, через толпу, протиснулись два солдата — члены полкового комитета, с перевязкой на рукаве. «Товарищи, мы завтра разберем, как доброволицы попали во дворец. А сейчас прошу всех разойтись!» Появление комитетчиков подействовало на солдат отрезвляюще. Они начали нехотя расходиться. Когда очистили комнаты от них, двери заперли. Появились вооруженные солдаты и окружив нас, внутренними переходами, где мы никого не встретили, вывели нас во двор. Решено было переправить нас в казармы Гренадерского полка, державшего нейтралитет. Путь до Гренадерских казарм и наше пребывание в них, к сожалению, совершенно выпали из моей памяти. Вспоминаю лишь момент, когда нас привели на обед, в столовую. На столах груды белого хлеба. Направо от стола, над баком с борщом стоит симпатичный кошевар-бородач, лет сорока пяти. Рядом с ним человек 15 солдат. Ловим на себе их доброжелательные взгляды. Чувствуем, что попали к друзьям. Усаживаемся за столы. «Встать! На молитву!» — командует наш фельдфебель. «Отче наш...» — по мере того, как поют, прибегая к Единому нашему Заступнику, нервы кой-у-кого сдают и по лицу текут слезы. И вдруг вижу, что у кашевара задергалось лицо и на глазах тоже слезы.

Вынув из кармана тряпичку, тяжело вздыхая и покачивая сокрушенno головой, начал он вытираять лицо. Когда же запели «Спаси, Господи, люди Твоя...» раздался голос: «Зачем они поют эту молитву, она запрещена!» — Никто из солдат не шевельнулся, а когда вместо «Благоверному императору...» пропели «Христолюбивому воинству...» успокоился и спрашивавший. Солдаты сами разносили нам пищу по столам. Говорили, что в нашу судьбу вмешался английский консул, хлопотал о нас... Под вечер, окруженные конвоем, мы были приведены на Финляндский вокзал. Ехать должны были до Левашово. Вдруг к поезду подошла большая группа вооруженных с ног до головы матросов, едущих с этим же поездом. До нас донеслось: «А... Керенского войско!.. Пусть едут, в Левашово мы с ними расправимся». Услыхали это и наши конвоиры и сели вместе с нами в поезд. В Левашово вылезли и конвой нас окружил.

Высыпавшие матросы, видя, что нас охраняют, с бранью вернулись в поезд. В лагере мы никого не застали. По одной версии, батальон ушел на маневры; по другой — в нескольких верстах окопался, ожидая «гостей». Конвой, приветливо с нами рас прощавшись, вернулся в Петроград. Двое же конвоиров просидели с нами до утра. Большинство доброволец заснуло мертвым сном. А небольшая группа разговаривала с конвоирами всю ночь. «Вот, товарищи, — рассказывала одна из взволнованных, — говорят, что революцию хотел простой народ. Я — сельская учительница. Помню, как после первых дней революции приехали агитаторы и собрали митинг. Слыши, один дед говорит: «Ливарюцья, пушай себе ливарюцья, только бы царя нам дали подобрея!» — Это вызвало смех конвоиров.

На утро мы с грустью рас прощались с ними. Петроградские гренадеры! Если кому-нибудь из вас попадутся эти строчки, примите от всей нашей роты, хотя и с большим запозданием, сердечную признательность за братское отношение в ту тяжелую для нас минуту. Мы навсегда сохранили добрую память о часах, проведенных в ваших казармах, 7-го ноября — 25-го октября 1917 года. Ходили слухи, что погибли все защитницы Зимнего дворца. Нет, была только одна убитая, а поручику Верному свалившейся балкой ушибло ногу. Но погибли многие из нас впоследствии, когда безоружные разъезжались по домам. Нас ловили солдаты и матросы, насиловали, выбрасывали на улицу с верхних этажей, выбрасывали находу из окон поездов...

Кончилось наше веселое житье, полное надежд и упновий на скорое выступление на фронт. Командиры убиты...

Нас, конечно, расформируют. Уныние и тоска овладели всеми. Слонялись по даче без дела, не находя себе места. Вдруг дверь во взвод быстро распахнулась, влетела доброволица. На ней, что называется, лица не было. «Наши командиры идут!..» — не крикнула, а по-поросачьи взвизгнула. Боже, что тут поднялось! Побежали оповестить другие взводы. Налетая друг на друга, застревая в двери, все бросились на шоссе. Вдали виднелись наши командиры. Поручик Верный сильно хромал. С громоподобным «ура!», которое, думаю, не оглашало так ни одного поля сражения, мы бросились к ним навстречу. Забыв дисциплину и выдержку их обнимали. Не то их несли, не то на них висли, разобрать было невозможно, так как от офицеров торчали только их головы, и они подвигались чепральшим шагом.

А из дачи выскачивали всё новые доброволицы, и опять ширилось и гремело, переливаясь по шоссе, нескончаемое «ура!». Всё забыто! Командиры с нами и мы счастливы. В тот же день мы были снова вооружены винтовками из цейхгауза, но патронов оказалось всего около сотни. Во все стороны разослали разведчиков. Доброволицу Подгорных, в прошлом сапожника, 35 лет, поразительно похожую на мужчину, достали и нарядили в полушибок, кепку, в карманы насыпали семячек, неизменную принадлежность всякого «товарища», и она поехала в Петроград потолкаться и послушать о настроении солдат. На второй или третий день прибежала запыхавшаяся разведчица со станции Левашово: «Господин поручик! На станции Левашово высадились четыре роты вооруженных красногвардейцев. Двигаются к нашему лагерю!»

Поручику было уже известно местонахождение нашего батальона и он немедленно отправил несколько человек за патронами. С какими целями большевики направлялись к нам — неизвестно. Если успеют принести патроны, решено не сдаваться. Настроение у всех приподнятое, будет бой. Через полчаса являются парламентеры с требованием сдать оружие. Поручик попросил отсрочки для ответа, не помню, на час или два. Красногвардейцев нигде не видно. Наша дача с трех сторон окружена лесом, с четвертой — выходит на шоссе. Оно на возвышении, так что, согнувшись, с той стороны можно пробежать и залечь незамеченными. Патронов всё нет. Поручик нервничает. Да и вряд ли наши посланцы смогли бы с патронами пробраться к нам. Наверняка дорога — под наблюдением красногвардейцев. Появляются вновь парламентеры. Поручик вторично просит отсрочки: «Если через десять минут

вы не сложите оружие, мы открываем огонь!» — предупредили они. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я вижу, что бой был бы бесполезным истреблением роты. Дача была деревянная, с несколькими окнами. Правда, мы не знали какая нас ждет участь, если сложим оружие. По тому времени можно было ожидать всего. Правительство, которому мы присягали, пало. Мы хотели защищать самих себя. Прошло десять минут, пришлось капитулировать. Приказано: винтовки сложить в кучу, на землю, на шоссе. «Черта с два я отдаю вам винтовку целой!», услыхала я голос соседки. Схватив винтовку, она вынула затвор и сунула его в вещевой мешок. Несколько человек последовали ее примеру. Подъехала подвода и подводчик сам бросает винтовки по несколько штук сразу. Красногвардейцев нет. Как только винтовки были погружены и подвода отъехала, начали стекаться на шоссе и строиться красногвардейцы. Остался в памяти правофланговый, здоровенный, красивый детина, лет 23. Раздалась команда: «По порядку номеров расчитайся!» — «75 полный!» Итого в роте 150 человек. Другие роты приблизительно такого же числа. Всего около 600 человек.

Красногвардейцы ушли, а через полчаса доброволицы принесли 10.000 патронов. Когда вернулся наш батальон, при каких обстоятельствах он сложил оружие — не знаю. Дачи были далеко разбросаны одна от другой и мы почти не общались. Объявлено о расформировании батальона. Подвоз продуктов прекратился. Хлеба уже не было, а из капусты и брюквы варили бурдицу. Карабулов уже не выставляли. Не с метлой же ставить часового! Доброволицы начали разъезжаться по домам, но многим было суждено погибнуть не в честном бою, а от руки своего же брата-солдата или матроса! Душевное состояние ужасное! Мысль о самоубийстве не уходила. Как-то вечером, когда уже все спали, меня разбудил дежурный:

«Поручик требует кого-нибудь для связи». Я, помню, разбудила 18-летнюю девку Михайловой: «Товарищ, в связь к поручику!» — «Идите сами, если хотите, а я хочу спать!» Я разбудила вторую: «Я боюсь, господин взводный...» — и улеглась тоже. Разбудила третью: «Да какая там связь? Батальон расформирован!» — ответила и эта, и улеглась поудобнее. Я разбудила шесть человек и ответ получила тот же. «Товарищи, пойдет ли кто-нибудь в связь к поручику? Или я сама пойду и заявлю, что вы не повинуетесь приказу». Я это крикнула настолько громко, что разбудила спящих. Поднялась одна с раздутой флюсом щекой: «Нет, вы больны и должны оставаться». Больше никто не пошевельнулся. Я поняла... Страшные

слова: «батальон расформирован» были произнесены и вчерашие солдаты, шедшие по первому приказу, не рассуждая, сегодня превратились только в обывательниц, для которых на первом плане был отдых и покой. Совершенно потрясенная, я пошла к командиру: «Господин поручик! Явилась для связи сама, так как взвод отказывается мне повиноваться!» — «Не нужно, Бочарникова, идите ложитесь спать. Я хотел на всякий случай иметь кого-нибудь под рукой. Я обойдусь...» — и он как-то грустно и устало махнул рукой. Видимо, воспоминания о расформировании родного полка были еще памятны, и он знал, что никакие приказы уже не возымеют действия. С тех пор на несение нарядов уже не назначались, а вызывались желающие. Однажды, пополудни, ко мне подошла отделенный Баженова. Взяв под козырек, проговорила: «Господин взводный, я сегодня утром самовольно отлучилась в Парголово». Меня поразил ее вид. Осунувшаяся, сразу точно постаревшая, а главное, ее глаза. Это были тусклые глаза мертвеца на живом лице. Батальон уже фактически расформирован, дисциплину мы старались поддерживать сами. Я не хотела с нее взыскивать — «Ничего, Баженова, только никому не говорите, что вы отлучились самовольно». После обеда зашел дежурный: «Поручик требует кого-нибудь для связи».

Баженова вскочила: «Я пойду!» Часа через три она пришла вместе с ротным. Мне утром сказали, что, якобы, поручики Сомов и Верный едут на фронт. Я решила проситься ехать с ними. Я обратила внимание, что Баженова была с винтовкой. Как потом мне рассказали, она, прия по поручению в одну из рот и увидев несколько винтовок, предназначенных для охраны цейхгауза, со словами: «Я назначена к поручику в связь, а ходить сейчас небезопасно», схватила винтовку. Те засмеялись: «Ай да храбрая, боится днем перейти через поле!..» Баженова не обратила внимания на насмешки и унесла винтовку. Выйдя из ворот, я поджидала поручика. Он показался в сопровождении Баженовой.

Я подошла к нему: «Господин поручик, мне сказали, что вы с поручиком Верным едете на фронт. Разрешите мне ехать с вами. Если нельзя рядовым, то хотя бы как ваш денщик». — «Не говорите, Бочарникова, глупостей! Вы же знаете, что новая власть денциков отменила. И никуда мы не едем...» Рущилась и последняя надежда попасть на фронт. Начало смеркаться. В дверях показалась Баженова: «Поручик требует всех взвоздных к себе!» Нас четверо отправилось к ротному. Он

был сильно простужен, опасались воспаления легких. Держась рукой за грудь и страшно кашляя, отдавал нам какое-то приказание. Вдруг дверь быстро распахнулась, вбежала взволнованная дежурная по роте Хваткова. Взяв под козырек, она что-то быстро отрапортовала. Я не рассыпалась. Поручик схватился руками за голову: «Взводные! Чтоб этого больше не было! Идите, идите!» — замахал он на нас руками.

Мы бросились бежать. «Товарищи, что случилось?» Мне никто не ответил. По шоссе, в сторону канцелярии, где жили офицеры, бежала доброволица. Я повторила свой вопрос. Мне ответили: «доброволица застрелилась!» Когда мы подбежали к даче, в передней маленькой комнатке, где раньше стояли винтовки, толпа доброволиц (кто-то высоко держал лампу) обступила небольшое место, и все смотрели вниз. «Товарищи, пропустите взводного!» — раздался голос. Передо мной расступились. На полу, с остановившимся взглядом, лежала бледная Баженова. Кто-то держал винтовку с привязанной веревочкой к курку. Крови не было. Я встала на колени и взяла ее руку, чтобы пощупать пульс. Умерла! Десятки мыслей вихрем пронеслись в голове. Вспомнился ее помертвевший взгляд... Сожаление, почему она вызвалась на дежурство... Может быть, поговорив с ней, я бы смогла облегчить ее душевную тяжесть и не случилось бы непоправимое. Я заплакала. «Это возмутительно, что такое!.. Безобразие!.. Позор, солдат, а плачет!..» — послышались негодящие голоса. Тело Баженовой отправили к родным в Парголово. Мне рассказали потом: Баженова поступила в Батальон против родительской воли. В день смерти, приехав домой, она сказала матери:

«Мама, наш Батальон расформирован», — на что та раздраженно ответила: «Говорила тебе, незачем было поступать, а сейчас сами без работы, голодные, а еще ты сядешь нам на шею...» Слова матери были последней каплей, переполнившей и без того горькую чашу. Выпросив у матери сухарей, она их раздала доброволицам и вечером, когда мы отправились к ротному, привязав к курку веревочку и заложив патрон, спрятанный «на память» в Зимнем дворце, приставив дуло к сердцу, ногой спустила курок. Во взводе стоял такой гам, что никто не обратил внимания на выстрел. Доброволица же, спавшая в коридоре, открыла дверь во взвод: — «Товарищи, кто-то нечаянно выстрелил...»

Схватив лампу со стены, бросились в коридор. На полу, вздрагивая в предсмертных конвульсиях, лежала Баженова. На

другой день мы поехали в Парголово на панихиду. У гроба страшно убивалась старшая сестра Баженовой. Поражало выражение необыкновенного покоя на лице умершей. Точно после тяжелого, утомительного пути, она заснула безмятежным сном. На погребении мне не пришлось быть, так как я была дежурной. На другой день после самоубийства в роту зашел вольноопределяющийся, недавно назначенный к нам в роту, лет 24-х, фамилии не помню. Он говорил об этом самоубийстве и закончил словами: «Может быть, еще кто-нибудь у вас на подозрении, способный последовать примеру Баженовой?» Я вдруг увидела обращенные на меня взгляды. «Я скажу...», — услыхала я чей-то голос. — «Да, господин вольноопределяющийся, Бочарникова...» Меня точно хлестнули эти слова. Что-ж? Отпираться? Лгать? Не в моем характере. Я опустила голову. «Бочарникова, — обратился он ко мне. — Уйти из жизни вы сможете в любой момент, но зачем же кончать так бесславно, если свою жизнь можете отдать родине за правое дело?» — «Господин вольноопределяющийся, фронт развалился. Батальон расформирован, все кончено!» — «Неужели же вы думаете, что наше офицерство и все те, кому дорога Россия, останутся только зрителями всего происходящего?.. Нет, борьба скоро начнется и жестокая борьба! Вот там вы и сможете, если захотите, пожертвовать своей жизнью...» Он еще долго говорил на эту тему. После этого разговора мне стало немного легче. Но с тех пор, куда бы я не шла, всегда замечала за собой Канценебину... «Вы куда идете?» — «Фельдфебель послал с поручением». В другой раз: «Куда вы идете?» — «Адрес нужно спросить у товарища...» Впоследствии я узнала, что она была приставлена следить за мной. Вольноопределяющийся оказался прав и подоспевшие события вылечили меня окончательно от желания покончить с собой.

Вскоре доброволицы начали разъезжаться по домам. Мне ехать было некуда, так как на Кавказ не пропускали, да я и не стремилась попасть туда, слишком тяжело было расставаться с Батальоном. Выпал снег и ежедневно команды со всех рот отправлялись в лес за дровами. Кругом рыскали красногвардейцы. Раз, семнадцатилетняя доброволица возвращалась со станции. Дорога шла среди леса. Встречный красногвардеец набросился на нее, пытаясь изнасиловать. На ее крики прибежал другой и начал того стыдить. Тогда тот злобно ее толкнул и, когда она упала, начал бить ногами. Второй оттащил его силой. Этот случай на девушку так подействовал, что она оставаясь во всем нормальной, всё время искала «черного».

Мы слышали об этом, но в глаза ее не знали, так как она была из другой роты. Однажды доброволицы нашей роты пошли в лес за дровами и встретились с другой командой. Одна девушка несла веревки с мешком и топор. «Дайте я понесу топор», — предложила соседка. Та дала. На шоссе показался красногвардец. И вдруг та, занеся топор, бросилась к нему. Наша от ужаса замерла... Мелькнула догадка: сумасшедшая.. Та же, не добежав несколько шагов, остановилась: «Черный, да не тот...» И медленно пошла обратно.

Как-то во взвод вбежала наша доброволица: «Товарищи, из отпуска вернулись две, над которыми солдаты издевались. Идемте слушать, они будут рассказывать». Мы направились в соседний взвод. Одна интеллигентная барышня лет 18, вторая крестьянка лет 20. И вот, что мы услыхали. Они шли по Петрограду мимо каких-то казарм. На них напали солдаты и силой затащили в помещение. Комната быстро наполнилась гогочущей солдатней. «А ну, барышни, раздевайтесь!» Видя, что те не двигаются, один со словами — «нужно помочь раздеться!» — толкнул младшую на койку и когда та упала, схватил ее за ногу и сдернул. Та затылком ударила об пол. И сейчас же на них набросились солдаты с подобающими выражениями, и оказывая «внимание», сорвали с них всю одежду. «Надо посмотреть нет ли молока!» — кричал один из них и схватил младшую за грудь. Доброволицы заметили молоденького вольноопределяющегося, который не принимая участия, смотрел на всё со слезами на глазах. Вдруг он быстро выбежал из комнаты, и тут же в дверях показался прaporщик: «Товарищи, прaporщик Владимиров пришел!» Солдаты обратились к нему: «Товарищ прaporщик, мы здесь свежинки приготовили». Тот нагло улыбаясь, направился к пленницам. Вдруг дверь распахнулась и вбежали члены полкового комитета, повидимому, предупрежденные вольноопределяющимся. Они приказали немедленно вернуть одежду и освободить их. Тогда солдаты начали махать руками: «Ну их к чорту! Мы их не трогали. Еще заразишься от них!»

Головы стриженые, значит, — доброволицы. Группа в 40 доброволиц поехала по домам. В Петрограде их захватили матросы и увезли в Кронштадт. Было получено письмо от родителей одной из уехавших с этой группой. Справлялись о судьбе дочери. Участь их неизвестна, они домой не вернулись. Вторая группа в 36 человек была в Москве захвачена солдатами и приведена в казармы. От одной из доброволиц наши получили письмо, где она сообщала о случившемся и в конце

писала: «Рассказать, что было с нами, я не в состоянии... Лучше бы нас расстреляли, чем после всего пережитого, отпустили...»

Число доброволиц всё уменьшалось. Из взводных осталась я одна. Как-то поручик тоном просьбы спросил: «Бочарникова, не примете ли вы командование над сводным взводом?» — «Не хочется, господин поручик... Так все распустились, что нет никакого слада». — «Бочарникова, примите командование над сводным взводом!» — уже тоном приказания проговорил он. Я вытянулась: «Слушаюсь, господин поручик». От всей роты нас осталась небольшая группа. Однажды мы сидели, разговаривая, когда вбежала доброволица: «Товарищи, из Петрограда приехала доброволица, привезла какие-то важные новости. Все собираются наверху. Идемте!» Мы застали уже человек десять. «Товарищи, выставьте кого-нибудь на площадку, чтобы нас не подслушали. На Дону какой-то генерал поднял восстание. К нему присоединяются офицеры, солдаты и вообще все недовольные советской властью. Идут бои. Есть ли среди вас желающие пробираться туда?» Нужно было видеть, как у всех прояснились лица и засияли глаза. — «А как же и куда пробираться?», — послышалось со всех сторон. — «Пока что нужно сидеть на месте и бытьтише воды и ниже травы. Я буду связью и буду держать вас в курсе всего. Затем вторая новость: в Петрограде в доме графа Шереметева устраивается под видом лазарета общежитие для доброволиц. И третья, — продолжала приехавшая, — запасайтесь отпускными билетами, указывая или Дон или место, куда нужно пробираться через Дон». Дав еще кой-какие наставления, она уехала. Вскоре к нам в каждую роту был прислан комиссар и несколько красногвардейцев. А через несколько дней я пришла в канцелярию за отпускным билетом. Заставила там поручика Верного, начальника хозяйственной части кап. Мельникова и комиссара. Красивый, упитанный тип, напоминающий матроса. Во всем кожанном и в кубанке. Я обратилась к кап. Мельникову с просьбой написать увольнительную записку: «Куда вы едете?» — «На Дон». — «К кому?» — «К родным...»

И вскоре после разных тяжелых приключений — я уже пробиралась на Дон, в Добровольческую армию, где служила потом фельдшером в Первом Кубанском стрелковом полку.

Мария Бочарникова

В ХИБИНАХ

I

Хибины своеобразны. Грозная природа с дикими ущельями и обрывами в сотни метров высотою. Яркое полуночное солнце, несколько месяцев подряд освещающее своими длинными лучами снежные поля высоких нагорий. И здесь в темную осеннюю ночь сказочное северное сияние своими фиолетово-красными завесами озаряет полярный ландшафт лесов, озер и гор. А закаты! Как трудно передать скучным человеческим языком это ошеломляющее «видение красок» Далекого Севера.

Но есть у горнопроходцев старинное поверье, что там, где «пышино горят цветы неба, яркими красками пылают закаты, надобно прилежно искать скрытые минеральные склады земли, сияющие в ее глубинах разноликие каменные цветы».

«...По многим доказательствам заключаю, что в северных недрах пространно и богато царствует натура, а искать оных сокровищ некому.

А металлы и минералы сами во двор не придут. Они требуют глаз и рук для своего прииску» писал Ломоносов.

Но ни глаз, ни рук этих не находилось. Уходили годы а девственные тундры Лапландии с ее громадными озерами и недоступными горными хребтами все еще оставались манящей загадкой для человека. Лишь отдельные случайные исследователи проникали на полуостров, да и то в его прибрежные районы.

Пионерами-исследователями горных тундр были финские ученые Рамзай, Гакман, Петрелиус. Еще в конце прошлого столетия осветили они сложную геологию района и нашли здесь первые указания на присутствие редких минералов, на месторождения апатитовых руд Хибинского массива и сульфидных руд в Заимандровских тундрах. В науку вошли имена Рамзая и Гакмана. Рамзайтом и гакманитом назвали минералоги открытые ими здесь минералы. Но все же финны не разгадали Хибин.

«Оманный хибинский камень» не показался им во всю. Он ждал своего исследователя. Вот как зачиналась история Хибин...

... Первая половина заседания, посвященного разработке экспедиционных планов Всероссийской Академии Наук на 1920 год, подходила к концу. На кафедре у стены, покрытой диаграммами и картами, стоял профессор Крыжановский.

За длинными столами перед кафедрой, в нетопленном помещении Минералогического Музея заседали члены экспедиционного совещания — все видные ученые, проживавшие тогда еще в Ленинграде. Председательствовал президент Академии Александр Петрович Карпинский. Полузакрыв свои выразительные глаза, он, казалось, подремывал под журчание голоса докладчика.

Несмотря на холод, зал был переполнен. Докладчик — среднего роста, коренастый, лет тридцати пяти, с необычайно характерным лицом, несущим еще следы уральских ветров. Он докладывал о своем посещении Ильменских копей, и в его голосе чувствовалось глубокое волнение, выражавшее боязнь за будущее этой уральской жемчужины.

Докладчик красноречиво рассказал, в каком безотрадно тяжелом положении находятся знаменитые Ильменские копи. Эти копи были под рачительством Минералогического Музея. Докладчик видел единственную возможность их спасения в объявлении Ильменей Государственным Заповедником.

— Ильменские копи — не только жемчужина Урала, — сказал в заключение докладчик, и его голос задрожал, — но это гордость русской науки, и любой ценой они должны быть спасены. Те редкие и редчайшие минералы, которые мы нашли там, мы уже нигде не найдем. Ильменские копи — это уникум, и поэтому они не могут погибнуть. А если это произойдет, Россия не простит этого прежде всего нам.

Докладчик поклонился и сошел с кафедры. Слушатели были под впечатлением его заключительных слов. Академик Карпинский оглядывал аудиторию, отмечая желающих взять слово.

— Ленин не даст на это деньги! Заповедник ему не интересен, как не интересны и мы с вами, — четко произнес чейто голос из зала.

Лицо Карпинского как-то собралось, и мимолетная, невероятно милая, как бы извиняющаяся улыбка озарила лицо патриарха русской геологии. Постукивая карандашом по столу и

не останавливалая внимания на слышанной реплике, президент обратился к недавно избранному академику Ферсману.

— Александр Евгеньевич, пожалуйста, ваше слово.

— Я думаю, — загремел под сводами могучий голос Ферсмана, — что мы еще плохо знаем российские просторы. Ильменские копи, — конечно, надо спасать, но надо помнить, что это не уникум.

В зале произошло волнение. Послышались вопросы:

— Как же так? Где же еще есть что-нибудь подобное?

На лицах некоторых выдающихся ученых — иронические улыбки. Лицо Карпинского выражало нескрываемое удивление, и это же выражение было на лице докладчика, профессора Крыжановского.

А могучий голос Ферсмана продолжал, никак не смущаясь:

— Я не хочу быть плохо понят, но я готов утверждать, что многие из нас болеют «уральским патриотизмом». Мы так привыкли к богатствам Урала, что из-за деревьев не видим леса.

Последняя фраза насторожила аудиторию, в большинстве состоявшую из «уральцев». Всем было ясно, что последняя фраза была камешком в огород академика Карпинского, буквально поклонявшегося Уралу и создавшего своеобразный культ неисчерпаемых минеральных кладовых Урала.

— Я уверен, — заканчивал академик Ферсман, — что в Хибинах, в Хибинских тундрах мы найдем грандиозного двойника Ильменей. В этом меня убеждают последние работы финского геолога Рамзая. Поэтому я, как директор минералогического музея, проектирую экспедицию на Кольский полуостров для поисков минералов и редких элементов.

Речь академика Ферсмана была встречена присутствующими без особого энтузиазма. Однако она склонила к концепции Ферсмана прежде всего самого президента Академии наук А. П. Карпинского. И в 1920 году Ферсман уже организовывал первую академическую экспедицию на Кольский полуостров для ориентировочной оценки минеральных возможностей Кольского севера. О, чудо! 74-летний президент А. П. Карпинский, увлеченный идеями замечательного исследователя, выехал с Ферсманом в составе его экспедиции на Кольский полуостров.

Судьбе было угодно, что на одной из станций поездостоял около часа. В это время Ферсман и Карпинский пошли посмотреть породы близлежащей горы. Массив оказался сложен-

ным из серой крупнозернистой нефелиновой породы, в которой, как изюм в булке, были натыканы какие-то незнакомые минералы, еще неизвестные тогда в России. Так Кольская земля преподнесла нашим путешественникам царский подарок: в руках у них оказались редчайшие минеральные экспонаты. Так, счастливая рекогносировка поставила перед Академией Наук загадочную проблему Хибин.

После этого Ферсман приступил к организации последующих экспедиций.

.... Далекая, мглистая Кола, Кольский полуостров...

Кольский полуостров — это, ну, как Чехословакия, может быть чуточку поменьше.

Со времени экспедиции финляндских геологов мы знаем на его геологической карте два красных интригующих пятна — два мифических брата-близнеца, два горных массива, сложенных теми же самыми загадочными горными породами.

В моей памяти встают эти два подземных вулкана, отпированных могучими плугами великого скандинавского ледника. Их серые скалы хранят в себе неслыханные и невиданные подземные сокровища.

Западный брат — это Хибины, восточный — Луявурта.

На безжизненном сером фоне болотистой тайги вздымаются они своими голыми округлыми вершинами... У бедного народа Саами есть сага об этих двух братьях: — злые подземные силы разделили их, и с тех пор — по лопской легенде — живут они в вечной разлуке и льют неутешные слезы... Чистое, прозрачное озеро Имандря — слезы Хибинской горы. Слезы Луявурта — воды озера Умпъяvr. При известном воображении можно увидеть в этой легенде большую символическую правду.

Между крутыми скатами Хибинского массива и озером Имандря — дивный полярный ландшафт, и в нем, как змейка, вьется железно-дорожный путь. Хибинский массив окаймлен густыми зарослями еловых лесов. Ущелья здесь в несколько сот метров, типичные северные троговые долины, подобные норвежским фиордам, расщепили его каменную твердыню. Причудливы эти отвесные обрывы. Красочны тут озера. Шумны пенистые водопады.

Прекрасны Хибины, когда их убаюкает полярная ночь!

Но есть у холодной своеобразной природы и своя пере-

дышка, когда в короткую, двухмесячную весну-лето развивается тут бурный рост цветущей растительности, и:

Чайка стонет
Человечьим голосом,
В тундрах мокнет
Серый мох олений
И на скалах плесенью весенней
Расцветают грустно незабудки . . .

Неудивительно, что Север чарует и увлекает исследователя природы. Так увлек он и группу минералогов-энтузиастов из Минералогического Музея Академии Наук.

Увлечение этими исследованиями в суровых условиях полярного ландшафта вызывалось не только своеобразною привлекательностью этого уголка русской земли, лежащего на полтора градуса севернее Полярного Круга. Влекла сюда и заманчивость неразгаданных загадок, волнующих геохимика, и минералога, загадок из далекого геологического прошлого великого Фенноскандинавского щита.

В этом дерзании вырвать у природы ее тайны эти люди забывали, что они граждане советского государства, люди неуверенные в своем завтрашнем дне, и — строго говоря — люди не свободные. И забыть им это самое страшное как раз и помогала эта же Всеисцеляющая Природа. Ну, вот например: Перед вами огромная, почти отвесная стена, поросшая серыми лишаями и мхами. Куда ни глянешь, сперва только и виден серый сплошной тон этого каменного нефелинового ковра. Но — молоток в руки и смело за работу! Стремитесь освежить поверхность, дробите серый замшелый камень — он скрывает от ваших глаз сокровища. Грохочущие куски летят вниз. Вы устали, ваша рука дрожит от напряжения. Работа геологическим молотком не проста. Она, как и все, требует сноровки, техники удара. Но всмотритесь! Уже есть некоторые результаты. На сером фоне вы начинаете улавливать стершиеся линии царственного рисунка природы. Тусклые краски ковра ожидают. По углам вспыхивают острые яркие звездочки каких-то кристаллов. За ними показались тонкие иглы, вонзающиеся зелеными стрелками в какое-то золотистое серо-голубое поле, отягченное какими-то пирамидальными черными пятнами. Не щадите ударов! Тогда перед вашими глазами расцветут и невиданные узоры. Ваш монотонный ковер становится неузнаваем. В се-

рой однообразной природе, среди скал с серыми лишаями и мхами спрятана пестрая гамма редчайших минералов.

Ваша рука невольно потягивается к кроваво-красным, редко-вишневым замечательным кристаллам — по Лопской легенде — закристаллизовавшимся каплям саамской крови. Имя этого красавца Хибин и Ловозерья — эвдиалит. Нигде в мире нет таких эвдиалитов, и руки всех музеев мира тянутся к ним. Как будто сглаживая эту кричащую окраску саамской крови, природа смягчила ее разбросанными иглами длинных ярко-зеленых эгиринов и оправила их сверкающими блестками-лепестками золотого астрофиллита.

Причудливая игра красок нефелинового ковра сменяется в другом углу новыми чудесными соединениями темно-красных редчайших нептуниотов, золотистых сферонов, фиолетовых и зеленых флюоритов... и не перечесть той пестрой палитры цветов, которою с такою щедростью одарила природа этот северный уголок забытой Богом земли.

Но основное-то богатство Хибин — не в «аристократах»-камнях — эвдиалитах, сферах, эгиринах, астрофиллитах...

Впервые в мурманской газете мелькнуло притягательное слово «апатит» — оманый камень.* «Экспедиция академика Ферсмана открыла залежи апатита». Это открытие оказалось прежде всего на руку управлению мурманской железной дороги, серьезно заинтересовавшейся им. Положение дороги было совсем критическим из-за пассивного баланса. Да и что удивительного, дорога проходила по таким трущобам, где местами и лопарей-то лишь раз в полгода увидишь. Болота, гнус, холода, безлюдье, бездорожье — проклятый Богом край. Поэтому-то железнодорожники за находку Ферсмана ухватились обеими руками. Срочно сочиняется дипломатичный запрос их Колонизационного отдела дороги в Институт Севера: «Что такое апатиты? Между строк дается понять, что Колонизационный отдел не прочь бы отпустить даже средства на разведку апатитов если Институт Севера выделит соответствующих специалистов. Для Академии Наук, в ее безденежные годы, это было манной небесной. Геолог Лабунцов неожиданно получает через Академию письмо от Института Севера, сообщающее о заманчивом предложении Колонизационного отдела мурманской

* Так как первые исследователи обманывались, принимая этот минерал либо за кварц, либо за какой-то другой камень, то они называли его апатитом от греческого — «обманываю».

дороги. Так организуется первый поисковый отряд Лабунцова, которому Колонизационный Отдел дает ... 1000 рублей на разведку апатитов в Хибинах в 1927 году.

И за эти 1000 рублей профессор Лабунцов с тремя студентами Ленинградского Института, без рабочих, без всякой помощи со стороны, обязался не только произвести разведку апатитовых месторождений, но и сделать топографическую съемку в этом диком районе.

Сорок три дня тяжелой упорной работы, где минералоги были в одно и то же время горнорабочими, носильщиками, погонщиками оленей, топографами, охотниками, поварами. Но эти дни дали блестящие результаты. Запасы апатитовой руды выросли с 3 до 12 миллионов тонн!

Акции Мурманской железной дороги в Н.К.П.С. неожиданно «полезли вверх». Раскошелился Колонизационный отдел, и в следующем году по следам Лабунцова пошел новый отряд геолога Владавца на разведки Хибинского Эльдорадо.

Осенью в газетах появились сообщения, из которых советские граждане узнали об астрономических цифрах запасов апатитовой руды в Хибинах. Эту руду исчисляли уже не миллионами, а миллиардами тонн. Так была найдена единственная в мире фосфорная жемчужина Хибин, о которой заговорил мир.

И лишь тогда советское правительство проснулось. Кто-то на кого-то в Кремле закричал. Не обошлось без нагоняя в Промышленном отделе Ц.К. В конце концов, чтобы загладить неловкое положение, Владавец был вызван к Калинину, и угодливый всесоюзный староста за замечательные результаты по разведкам приколол ему на грудь орден — «Знак Почета».

В 1929 году правительство в первый раз отпустило деньги на промышленную разведку хибинских апатитов. Ни про пионера Хибин академика Ферсмана, ни про главного виновника открытия, профессора Лабунцова, даже никто тогда и не вспомнил.

Советская печать необычайно любит писать о прогрессивности «социалистической системы». На примере апатитов видно, как далеко все это от правды.

В самом деле, фосфоритов в СССР явно не хватало, а в 1928-1929 году страна стояла перед кризисом фосфато-туко-вой промышленности. Казалось бы, что богатейшая фосфорная руда — апатиты — «падает с неба, как манна небесная», и на открытых крупнейших месторождениях этого ценнейшего фосфорного сырья легко и быстро нужно создать крупней-

шее в мире промышленное предприятие. Но этого не было! Советская действительность не такова. Во-первых, всё новое встречается не только с недоверием, но и со страхом: — а не выйдет ли из этого какая нибудь беда? И старые закоснелые понятия, рутина, закоренелость привычек, всё это поднимается против.

Так было и с апатитовыми энтузиастами. Советская бюрократия оказалась самым сильным тормозом в создании апатитовой промышленности. Больше того: Полит-Бюро, прежде всего старики, и в первую очередь Сталин и Каганович, оказались самыми упорными противниками апатитов.

Как ни странно, но главное руководство проектировавшихся предприятий, глава химической промышленности СССР, Главхимпром, не был энтузиастом апатитового дела. Наоборот, здесь с большим сомнением и недоверием всматривались в новое предприятие, скрупультно отпуская ему средства, урезая и «зарезая» его финансовый бюджет.

СНК СССР не решался выносить то или иное окончательное решение. И Хибинская проблема, как быстро выплыла, так быстро и затонула, т. к. среди старших членов Политбюро царило недоверие к «оманному камню». Лопарская холодная земля, «край непуганных птиц», совершенно не интересовал Кремль.

Но, как ни странно, продвижению идеи разработки апатитов помогли два обстоятельства: дипломатия академика Ферсмана и выступление против разработки апатитов известного германского ученого, профессора Крюгеля, писавшего в своей статье: — «Очень сомнительно, чтобы те большие надежды, которые русские ученые возлагают на применение составных частей апатитов, когда-либо оправдались. Климат местности, где встречаются залежи, неблагоприятен, и люди едва ли могут там жить. По моему мнению, от гордых надежд Советов останется очень мало».

Это выступление профессора Крюгеля дипломатично использовал академик Ферсман, обративший на него внимание тогдашнего владыки Северной Пальмиры, Кирова. Прекрасно сознавая, что для Хибин надо найти могущественного покровителя, умный дипломат академик Ферсман, умело играя на самолюбии Кирова, прочитал ему целый цикл лекций, посвященных богатствам Хибин. Так Ферсман исподволь подготовлял в Политбюро защитника Хибинского дела, который бы действительно знал, какие богатства хранят в себе эвдиалит, аст-

рофиллит, лопарит и другие диковинные минералы Хибин. В лице Кирова Ферсман воспитал патриота Хибинских тундр, который должен был достать с «политбюровского дна» утонувшую Хибинскую проблему. Теперь надо было только выждать удобный момент.

Этот момент настал, когда профессор Крюгель выступил со своей, довольно-таки злобной статьей. Профессор Крюгель, как и большинство крупных западных специалистов, был, конечно, очень далек от понимания психологии советского руководства, и его статья привела к совершенно противоположному результату: она только пришпорила Кирова.

С его согласия по инициативе академика Ферсмана, Комитет по Химизации СССР созвал широкое совещание ученых, на котором академик Ферсман прочел свой исторический доклад, пророчески определяя могучую роль богатейшей Хибинской провинции. Через несколько дней протокол совещания, признавшего за хибинским апатитовым месторождением общесоюзное значение с точки зрения вопроса о развитии фосфато-туковой промышленности, уже лежал на столе у Кирова.

Речь Кирова на заседании Политбюро была убедительна, — и, опираясь на решение совещания при Комитете по Химизации СССР, Киров полностью добился того, чего хотел от него Ферсман. Киров оказался способным медиумом. Так была решена судьба Хибинских апатитов.

II

Кипит работа по созданию Хибинского комплексного комбината. Начали с ничего! На голом месте ростет «новостройка»: город, дороги, рудник, фабрики, улицы, электростанции, дома... На всем пространстве десятков тысяч кв. километров Кольских тундр в 1929 году стоял только один каменный сарайчик. Нагнали тысячи бесправного люду из Бермановских распределителей У.С.Е.В.Л.О.Н.

Полярная темная ночь! Стужа, бураны, снега. Жили в палатках, простоявались. Умирали. Ни лекарств, ни докторов. Молодой коммунист Рончин, присланный для руководства общественной работой (на Хибинах-то!), стал передовой фигурой. Фактически он был на первых порах неограниченным диктатором над массами бесправного ссыльного люда.

Всегда под градусом, всегда беспокойный, с совершенно расшатанной нервной системой, с неясной урывчатой речью, он не признавал невозможного. Арестантские мускулы, кровь, кости — были теми средствами, которыми было предназначено преодолевать невозможное. Дожигая остатки нервной системы огромными дозами спирта, Рончин посыпал людей на смерть, а часто и сам в ажиотаже лез на смерть без разбора.

Страшно вспомнить те людские жертвы, которыми заплачено за закладку первых апатитовых штолен на Юкспоре с его головокружительными обрывами. Несмотря ни на что Рончин эту работу довел до конца, показав пример «горящего на работе, настойчивого большевика», поставившего своей целью — всякой ценой, но достать на грудь орден.

Рончина премировали, о нем говорили речи, к нему приклеили крылатую кличку: «Мастер Хибин».. Он был героем Хибин. А скоро он стал первым секретарем первой партийной ячейки в Хибинах.

... Рубили первые деревянные бараки в тундре, врастали в оседлость. Выростал Хибинский Комбинат. Рончину было поручено планирование этих первых «жилищ» из сырого слезящегося неподготовленного леса.

Нетерпевший никакой критики, считавший себя «юберменшом» среди рабочих-ссыльных, этот горе-строитель, не знавший самых элементарных правил для устройства горных поселков, Рончин решал все проблемы сам.

Умудренные опытом старые прорабы советовали Рончину расположить поселки подальше от гор. Но в ответ сыпалась только густая матерная ругань. «Мастер» видел в этих советах только оттяжку времени. И не понимал вероломства гор.

И вот пришла страшная зима 1935-36 года. Темное декабрьское утро. Побудка — полным ходом. Измученных трудом, намерзшихся за ночь под жидким арестантским одеялом поднять с нагретого места нелегко. Люди, или вернее подобия людей, в арестантских бушлатах, продрогшие, небритые и грязные, выстраиваются в очередь за кипятком и утrenнею баландою на улице, в проходах между бараками.

В воздухе разлита серая, какая-то безнадежная мгла. Прямо перед поселком мрачно высится могучая скалистая темная башня Юкспоря. Вдали слышны свистки подходящего поезда. Подвозят очередные порции Бермановского «живого пара». И вот откуда-то сверху из заоблачных горных просторов вдруг врывается могучий горный шквал.

С Юкспором несется леденящая дыхание волна холода. Чувством слепого инстинкта людские массы припадают к грунту, падают, ищут спасения на груди матери земли. Сила волны нарастает с каждым мгновением. Еще какая-то доля секунды... и гигантское снежное облако — юкспорская лавина проносится над идущим поездом и с невероятной силой бьет в зону поселка.

Ужас овладевает людьми, когда на их глазах воздушная волна, сопровождающая лавину, подхватила громадный двухэтажный дом и бросила его с размаху на другой, как будто это была спичечная коробка. Больше 30 человек нашли свою смерть под этим снежным шквалом.

Страшно отомстила гора, но кому?

Три дня раскапывали жертв Юкспоря. Обезумевших от ужаса, разбежавшихся людей приходилось силой приводить к поселкам.

Как то странно, как в сказке для больших, звучали слова лопарей — нехитрых детей природы, приехавших навестить несчастных поселенцев: — «Не надо ворошить зачарованного Юкспоря. Гора не любит, чтоб ее грудь разрывали пляшущим железом.* Юкспор опять пошлет беду».

И пророчества лопарей оправдались! Пошли неслыханные выюги, колоссальные массы снега неслись с небес. Юкспор накопил новые гигантские лавины. Смерть нависла над домами и поселками, спланированными горе-строителем Рончином.

Не взирая на угрозы охранников, люди разбегались массами из угрожаемых лавинами мест.

Рончина вызвали к начальнику Местного Управления Г.П.У. для объяснений. Он возвратился белее снега. Как после выяснилось, против него было начато дело по обвинению его во вредительстве. Рончин хорошо знал свою систему и, конечно, не ждал от нее пощады. Тут, вероятно, и созрел у него безумный план.

Не раздумывая, покуда никто еще не знал ничего, он организует на свой страх и риск небольшой отряд и, напоивши его участников спиртом и подогревши обещаниями скинуть «сроки», Рончин начинает восхождение на Юкспор, с целью выяснить размеры грозящей опасности.

Его отговаривают, но безуспешно.

* Буровые пневматические молотки с врачающимися сверлами.

Ео время подъёма всё время идет снег, и отряду приходится подниматься по гребешку Юкспоря среди мягких податливых снежных масс. Смерть подстерегает участников этого похода буквально на каждом шагу. Люди идут, как в сомнамбулическом сне. Опьянение на высотах, на морозе, оказывается удивительно на психике. Люди идут, не замечая опасности, забывая, что не только неловкое движение, но даже резкий звук может стать причиной начала движения снежных масс. Но Рончин явно экзальтирован, он ведет свой отряд дальше и дальше. Наконец раздаются несмелые голоса здравомыслящих участников этого сумасшедшего рейса:

«Товаришу начальныку Рончын, та чы нэ повэртаты нам додому? Загынемо ни за цапову душу!» — взмолился один из украинцев.

Но Рончин верен себе: — «Повернуться будете сами, а мне от лавины не уйти ни тут, ни там!» — и он быстро отделяется один в направлении вершин Юкспоря. Вот он уже на перешейке. Бравируя, он взбирается по заснеженному склону. Вот Рончин стал. Стоит внизу и группа, и смотрит на эту неизвестную игру со смертью. Вдруг в морозном воздухе Рончин запел любимую песню блатных, уркаганов...

«Динамитом по мне оттрезвонят,
Ветры тундры над гробом споют
И кровавой китайкой укроют
Сулливаном побитую грудь...»

Восходители на Юкспор ушам не поверили: что случилось с Рончином, коммунистом, активистом, первым человеком на Хибинах? С чего запел блатную, антисоветскую песню?

А Рончин помахал рукой и, очертя голову, полез еще выше. И вдруг в воздухе повис его крик:

— «Лавина, лавина, берегитесь, братцы!»

Снежный ком, все время нарастающий, с страшной быстротой несся сверху и на своей дороге погрёб Рончина. Говорили, что «мастер Хибин» сознательно предпочел смерть под снежной лавиной казематам Г.П.У.

Потрясенная его гибелю группой восходителей с большими трудностями спустилась в лагерь. Весть о смерти Рончина разнеслась по лагерю с быстротой молнии и странная душа у нашего народа, отходчивая! Рончину всё простили, всё

забыли, а его вольная безумная смерть сделала его еще героем. Говорят, что умереть без громких фраз может только тот, кто знает, за что он умирает. Но как раз этого то и не знал Рончин. Зато Г.П.У. отлично знало это за него. Обвинение во вредительстве было забыто. Смерть Рончина была самым подходящим пропагандным материалом, который умело и использовали. Из самоубийства Рончина создали миф о человеке новой эпохи, о советском герое, беззаветно пожертвовавшим жизнью для процветания Хибин.

Немедленно была организована группа для раскопок тела Рончина. Хоронили его с величайшей помпой. Снова речи, зеленые венки, тысячные толпы. А над его могилой порывистый хибинский ветер трепал надгробные черные транспаранты с яркими большими снежнобелыми буквами: — «Безумству храбрых поем мы песню».

Да, гибка политика карательных органов в СССР и сопровождает она человека даже и после смерти.

... На месте лопарских веж выростали здания будущего заполярного города, центр и опора Кольского Заполярья. На совещании активистов Кольской базы Академии Наук было принято решение просить Ленинградский Облисполком назвать этот город Ферсманогорск. Но «мудрая политика партии», всегда считала, что страна не должна знать своих истинных героев. И город был назван нейтрально: Хибиногорск.

Росло детище Ферсмана. В недрах Хибинских тундр оказались скрыты действительно сказочные богатства. Денежная стоимость Хибинского комплекса определялась в десятки миллиардов золотых рублей. Ферсман был в зените своей славы. И снова в академических кулуарах заговорили о готовящемся торжестве — переименовании Хибиногорска в Ферсманогорск.

Но пуля Николаева оборвала жизнь ленинградского вождя. Сталину во что бы то ни стало из Кирова нужно было сделать советского фараона, а фараону нужны пирамиды. Одной из таких пирамид и стал Хибиногорск, переименованный в Кировск.

Над тундрами горят огни, огни заполярного Кировска. Над городом царит монумент. На монументе надпись, восхваляющая «вождя и трибуна». Твердо стоит на гранитном цоколе Киров: в сапогах, в военной шинели.

Сбылись казавшиеся несбыточными надежды академика Ферсмана, и попал никель Мончи, а за ним и финляндский за-

поведный никель в цепкие руки Кремля. Апатит, нефелин, пентландит. Названия этих минералов станут нам понятнее, если мы расшифруем их значимость: фосфор апатита для хлеба, для удобрений, а нет — так для бомб, алюминий нефелина — для крыльев и фюзеляжей всяческих МИГов, никель пентландита — для бронебойных снарядов.

K. Иренин

ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЙ МИР В ИСТОРИИ РОССИИ

1

Человек есть часть природы, но вместе с тем сознает себя отдельным от нее. Благодаря уму и сознанию он способен влиять на окружающую природу и изменять ее лицо. В нашу эпоху небывалого развития науки, техники и промышленности процесс преобразования человеком природы все ускоряется. «Впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше... Минералогическая редкость — самородное железо — вырабатывается теперь в миллиардах тонн. Никогда не существовавший на нашей планете самородный алюминий производится теперь в любых количествах. То же самое имеет место по отношению к почти бесчисленному множеству вновь создаваемых на нашей планете искусственных химических соединений (биогенных культурных минералов). Масса таких искусственных минералов непрерывно возрастает... Лик планеты — биосфера — химически резко изменяется человеком сознательно и, главным образом, бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка суши, все ее природные воды».¹

В наше время роль человека как действенной силы в жизни природы не только земного шара, но уже и космоса, стала очевидна. Не нужно забывать, однако, что роль эта началась с древнейших эпох существования человечества, хотя в древние времена и была ничтожной по сравнению с нашей эрой. Лишь постепенно, в связи с ростом населения и научно-техническими открытиями действенность человека в природе возрастала — и возрастала неуклонно, если смотреть с точки зрения общеисторического процесса.

Но если присматриваться к истории отдельных стран и отдельных отрезков времени, то видно будет, что процесс роста шел неровно, иногда рост сменялся периодом упадка. Развитие часто шло не по прямой линии, а по спирали, в ритмах его надо различать периоды подъема и депрессии.

Хозяйственно-промышленную деятельность человека в смысле влияния ее на окружающую природу естественно представить себе в трех главных отраслях — деятельность по отношению к металлам, к растительному миру и к миру животных. В действительности отрасли эти в хозяйстве человека часто переплетались.

Хозяйственное творчество человека неотделимо от других проявлений его творческой мысли, от умственного и художественного труда. Овладение силами природы невозможно без понимания этих сил — инстинктом, интуицией или разумом — без вдумчивого наблюдения за работой этих сил и размышления о средствах для обращения этой работы на пользу человека. Здесь мы подходим к началам науки и техники.

Начала эти в древние эпохи тесно связаны были с магией и магическими обрядами. С особенной яркостью это проявлялось в древней металлургии — в кузнечном деле. В осетинских сказаниях о древних великанах — Нартах — упоминается небесный покровитель кузнецов Куырдалагон, который помогает Нартам в их борьбе с врагами. Куырдалагон закалил, как сталь, в небесном горне одного из главных Нартов — Батрадза. Кавказ, где создались сказания о Нартах, — один из древних очагов металлургии. В осетинском языке сохранилось старое слово «куырд» — кузнец. «Куырдалага» — наковальня, отсюда и имя небесного кузнеца.

Во многих местах Кавказа наковальня до недавних пор считалась священной эмблемой кузнечного дела. По сведениям, собранным в 1860-х годах, в Самурзакани и Абхазии распространено было не только почитание, но даже поклонение наковальне. Во многих местах наковальне приносили жертвы. Почитание и страх наковальни были так велики, что присяга, произнесенная на наковальне, или заклятье наковальней, были ненарушимы. Кузнец считался посредником с высшими силами, волхвом-целителем.

Так было и в древней Руси. После принятия христианства на святых Кузьму и Демьяна стали смотреть как на покровителей кузнецов, и в старинных заговорах их имена призывались для излечения от болезней.

Магические обряды играли большую роль также и в древнем земледелии, уходе за скотом и охоте за дикими животными. Орудия труда и охоты — так же, как и военное оружие — произведения кузнецов, — наделяемы были в воображении человека самостоятельной силой. Отсюда представления о магической силе лука и стрел, которые по молитве человека могут сами действовать в его пользу (былина об Иване Годиновиче). Отсюда и такие образы русской сказки и духовных стихов, как «меч-кладенец» или «меч-самосек».

Представления эти отразились и в древнерусской юридической формуле трудового освоения земли («куда топор, кося и соха ходили»).

Постепенное накопление хозяйственного опыта, а затем и развитие научных знаний, укрепляли рост и значение промышленной деятельности человечества.

В географических рамках России большое значение для характера взаимоотношения человека и природы имели (и в ином виде и до сих пор имеют) различия природных условий в разных полосах страны — природных зонах (тундра, лес, лесостепь, степь, полупустыня и пустыня). Учение о природных зонах создано главным образом русскими учеными. Основоположником его был создатель науки почвоведения В. В. Докучаев. Для разработки этого вопроса большое значение имели труды Г. И. Танфильева и Л. С. Берга.

Различие природных зон не могло не отразиться на формах хозяйственно-промышленной деятельности человека в разных полосах России во всех трех упомянутых выше ее отраслях (металлы, растительный мир, животный мир).

Во взаимоотношениях между человеком и животным миром (которые являются предметом настоящей статьи) мы различаем два главных разряда: включение прирученных животных в обиход хозяйственной деятельности человека (скотоводство, птицеводство) и использование человеком диких животных для своих надобностей (звероловство).

Обе формы отношения человека к животным развивались на всех природных зонах, но во многом по-разному, в зависимости и от разницы природных условий в разных зонах и от различия видов животных, водившихся в различных полосах страны.

Степная полоса представляла наиболее благоприятные условия для жизни крупных копытных животных — как в диком виде, так и в рамках хозяйственной деятельности чело-

века — скотоводстве. Соответственно с этим, в степной полосе издавна создалась и особая форма людского строя — кочевническая орда. Богатство кочевников состояло в их необозримых стадах, и весь ритм жизни людей в степях был приурочен к ритму жизни животных. Отсюда и сезонные перекочевки людей и животных. Весной и ранним летом вся степь представляла собою роскошное пастбище. Когда позже летом степь выгорала от зноя, орда с ее стадами перекочевывала в более подходящие для нее по сезону угодья — предгорья или поречья.

Подобные же сезонные перекочевки наблюдались и в среде диких животных.

Главными помощниками человека в управлении стадами и охране стад были конь и собака. Только мелкие роды и племена, преимущественно овцеводы в горных местностях, как, например, на Яиле в Крыму и на Балканах, могли довольствоваться собаками. В степи управляться с огромными стадами могли только конники. Конники же составляли основу войска степных кочевников. Конь был лучшим другом человека. Кочевник жил на коне и часто умирал вместе с конем. Лошади родовичей были как бы частью рода и таврились родовой тамгой. В древне-турецких надписях VII-VIII веков при перечислении добычи вождя-победителя захваченные им лошади упоминались под родовым именем побежденных родов.

Роды и племена назывались часто по масти их лошадей. Отсюда и имя «половцы». «Половая лошадь по хвосту и гриве глядя, бывает половобуланая и половосоловая» (Даль).²

Психологические основы отношения человека к животным создались в обстановке древних верований — тотемизма. Это верно по отношению и к скотоводству и к охоте, а также и к земледелию. Каждый почти род скотоводов или охотников избирал себе животное-покровителя. Некоторые земледельческие (в том числе и славянские) и полу-земледельческие (как, например, чувашские) роды избирали себе покровителем дерево или иное растение.³ Такое животное (или растение) часто считалось предком рода или союза близких родов.

Первоначально особь почитаемого как тотем животного вскармливалась и содержалась родом. Образовывался тотемический союз человека с животным. У некоторых родов существовали ритуальные пиршества, на которых родовичи потребляли своегоtotема, чтобы теснее соединиться с ним и чтобы силаtotема перешла в силу человека.

В дальнейшем развитии культа животных-покровителей живая особьtotема заменена была его изображением (из дерева, металла или кости). Для такого изображения Д. К.-Зеленин ввел в этнографическую науку термин «лекан» (употреблявшийся русскими сибиряками для обозначения этих изображений). Духа totема, обиталищем которого считался лекан, Зеленин называет монголо-бурятским термином «онгон».

В культе охотничьих родов и племен зооморфные леканы имели различные назначения. По понятиям культа, в изображениях зверей и птиц (часто носимых охотниками при себе) таилась магическая сила — привлекать к охотнику тот род добычи, за которым он вышел. Другая функция охотничьих онгонов заключалась в том, чтобы оживлять и возрождать в природе убитую охотником дичь, иными словами, чтобы поддерживать богатства животного мира. Были и леканы-обереги, целью которых было уберечь охотника от нападения, укусов и ранений со стороны тех хищных зверей, которых эти леканы изображали.

В скотоводческих обществах с культом онгонов связано было и почитание живых, посвященных духу животного, особей (такие назывались «изыхами»). Леканы свои сибирские народы большей частью перевозили при перекочевках именно на изыхах. Характерно, что у коневодов считалось, что лошади каждого бога (духа изыха) были особой масти.

Целый ряд животных был представлен в почитании онгонов у разных родов и племен: конь, олень, лось, медведь, волк, кабан и другие. Из птиц — орел, сокол, лебедь, гусь и др.

Как предполагает Зеленин, в древние времена люди (род или объединение родов) вступали в договорно-культурные союзные отношения с онгонами. Онгон, как объясняли шаманы, брал на себя обязательство помогать роду, оберегать родовичей и их семьи от болезней, посыпать достаточно дичи на встречу охотникам и вообще всячески благоволить роду. Родовичи должны были ублажать онгон, воздавая ему почет через посредство леканов, предлагая ему жертвеннную пищу, исполняя в честь его ритуальную пляску. Создавался таким образом как бы симбиоз человека с животными (представленными онгоном).

Если онгоны не приносили ожидаемого счастья и благополучия, союз с ними разрывался. Шаман тогда советовал сжечь старых онгонов (леканы их) и завести новые. При распространении христианства в Сибири это иногда способство-

вало переходу людей из древней родовой религии в христианство или приспособлению к христианским обрядам. По сведениям, относящимся ко второй половине XIX века, «часто случается (среди тунгусов), что хозяин, рассердившись на онгон, просто выбрасывает его из юрты без дальнейших околичностей, а для безопасности от мести злых духов зажигает свечи перед христианскими иконами».

II

Использование человеком прирученных животных — животноводство — рассматривается с хозяйственной точки зрения в трудах по экономической истории, а с других (например, ветеринарной) в соответствующих исследованиях и обзорах.

В работах по истории народного хозяйства России отводится обычно место и экономическим результатам звероловства (охоты).

Общая проблема взаимоотношений человека с вольным миром диких животных не была, однако, до сих пор достаточно широко поставлена в исторической перспективе и не было до сих пор достаточно систематической сводки материалов по этому вопросу. Тем более надо приветствовать недавно появившийся труд русского географа, доктора биологических наук Сергея Васильевича Кирикова, об изменениях животного мира в природных зонах СССР.⁴

Труд Кирикова состоит из двух частей: 1) степная зона и лесостепь и 2) лесная зона и лесотундра. В каждой части дается сначала сводный очерк изменения среды жизни зверей и птиц в XIII-XIX веках, затем изучаются изменения в размещении отдельных видов животных и наконец характеризуются общие черты изменения животного мира в России. Во второй части особо рассматривается «значение охотничьего промысла в жизни населения в прошлые века».

Книга написана сжато, но ярко, и насыщена интереснейшим материалом; изложение оживлено обильными цитатами из исторических источников.

В предыдущих исследованиях по этому вопросу, как, например, А. Ф. Миддендорфа (1869), М. Н. Богданова (1871, 1884), Кеппена (1883, 1896, 1902) и других, в большинстве слу-

чаев были использованы сведения, извлеченные из отчетов зоологов и путешественников и, в значительно меньшей степени, печатные исторические документы, как-то различные грамоты, купчие, писцовые книги и т. п. Обширные материалы архивов почти совсем не были привлечены к исследованию. С. В. Кириков в своем труде изучил как сведения путешественников, так и печатные исторические документы, но основой его исследования являются архивные материалы.

Наиболее полные сведения о прошлом размещении диких животных (зверей, птиц и рыб) Кириков нашел в делах Разрядного и Сибирского приказов (XVII век) и в экономических примечаниях к генеральному межеванию (конец XVIII века и начало XIX века) в Центральном государственном архиве древних актов в Москве. Для Сибири важнейший источник представляют так называемые «ясачные книги», т. е. записи платежа «ясака» (подати, собирающейся с туземного населения мехами соболей, куниц и других животных).

«В Центральном государственном архиве древних актов хранится более 1.700 ясачных книг. Не имея, естественно, возможности изучить весь этот материал, я ознакомился с 5-6 книгами по каждому из сибирских уездов, относящимися к различным десятилетиям XVII в. и к началу XVIII в.» (Кириков, предисловие к 1 части книги).

В общих чертах историческая картина судеб вольного животного мира в России известна была и раньше. Черты эти — уменьшение численности диких животных и сокращение площади их обитания — явления сначала медленные, а потом, начиная с конца XVI века, все ускоряющиеся. Но процесс сокращения шел неодинаково в различных полосах России и шел не по прямой линии, т. к. для некоторых видов животных упадок сменялся периодами подъема. Эти особенности исторического процесса, равно как и основные причины общего хода процесса теперь документально и тщательно выяснены Кириковым.

С исторической точки зрения хозяйственная деятельность человека была главным постоянным фактором оскудения животного мира, но были и другие причины, вносявшие местные и временные изменения в состав этого мира, климатические и биологические. Общие климатические условия уже в XIII веке были сходны с теперешними, но иногда происходили резкие отклонения (необычно многоснежная и суровая зима, гололедица, необычайно сухое или, наоборот, дождливое лето

и т. д.). Такие отклонения часто отражались на жизни и человека и животных. В суровые зимы с глубокими снегами и продолжительными буранами погибало, особенно в степной полосе, множество и домашних животных и диких копытных. Гололедица также бывала гибельна и для тех и других. В лесной полосе засушливое лето способствовало лесным пожарам, принимавшим иногда страшные размеры, о чем отмечалось и в летописях. Так в Новгородской первой летописи под 1430 годом записано: «Тоя же осени вода бысть мала вельми, и земля и леса гореху, и дым мног вельми, иногда друг друга не видети; и с того дыма мяржу рыбы и птицы, а рыба дымом воняше и по два года». Опасность пожаров была и в степи летом, когда степная растительность выгорала от солнечного зноя. И татары и русские иногда в это время поджигали степь, чтобы предотвратить готовившееся противником нападение.

Дикие копытные животные, как и домашние, подвержены были эпизоотии. В Прибалтийском крае, например, в 1752 году много лосей погибло, заразившись чумой (или сибирской язвой) от рогатого скота. В то время крупные партии скота перегонялись из южных и восточных губерний к Москве, Петербургу и Риге. Скотопрогонные тракты проходили во многих местах и опасность заражений диких копытных от рогатого скота была очень велика, т. к. эпизоотии рогатого скота в то время случались часто.

Воздействие человека на размещение животных было и прямым (добыча самих животных) и косвенным (через изменение природных угодий). Сокращение угодий, пригодных для жизни вольного животного мира, стояло в прямой связи с ростом численности людского населения, колонизации малозаселенных местностей, распашки земли и скотоводства. Кириков составил несколько таблиц, в которых сопоставляется плотность населения (человек на 1 квадратную версту) с соотношением земельных угодий (пашня, сенокос, усадебная земля, лес, неудобная земля). В нижеследующем примере я различаю только два разряда — освоенные человеком угодья — пашня, сенокос, усадьба, и неосвоенные — лес и неудобные земли. Вот этот пример: сравнительные цифры для двух уездов, расположенных в области дубравно-боровых лесов:

Алексинский уезд (данные 1776-1780 годов). Плотность населения — 35 с лишним человек на 1 кв. версту. Процент освоенных земель: 74,4; процент неосвоенных: 25,6.

Рогачевский уезд (1783-1784). Плотность населения —

11 чел. на 1 кв. в. Процент освоенных земель: 39,1; процент неосвоенных: 60,9.⁶

Для распашки земли в лесной полосе использовались прежде всего лесные поляны (на Урале и в Сибири их называют еланями), а потом вырубались участки леса; крупные деревья свозили, а сучья и хворост сжигали (подсечно-огневая или подсечно-новинная система земледелия). По мере того как расчищенная земля истощалась, ее забрасывали и приготавливали под пашню другой участок. Заброшенные пашни заростали мелким лесом, но его было легче расчистить, чем целинный лес, и к нему часто возвращались первоначальные хозяева. В некоторых местах лес и пашня неоднократно сменяли друг друга. В XV и XVI веках в замосковном крае различали «леса пашенные» и «леса дикие».

В степной полосе и плодородие почвы (чернозем) и открытый характер местности были чрезвычайно благоприятны для земледелия. Не требовалось предварительной затраты тяжелого труда на расчистку местности, как в лесной зоне. Но зато существовали препятствия военного и политического характера, которые на несколько веков задержали использование степи для пашни. Основной причиной этого была постоянная опасность опустошительных татарских набегов. Татары жгли и разоряли деревни, а иногда и города, и после каждого крупного набега уводили в плен десятки и сотни тысяч мужчин, женщин и детей. Сначала казанские, потом крымские татары и ногаи проникали глубоко на север, не только в лесостепь, но и в лесную зону. Для отражения этих набегов делались засеки в лесах, строились укрепления, держали сторожевые отряды войска, но эти меры не всегда были действительны. Земледельческое население то выдвигалось на юг, то отступало, и только после русско-турецких войн Екатерины II и покорения Крыма степи были открыты для русско-украинской земледельческой колонизации.

Препятствием для распашки степи служила и политика казачьих войск — Донского и Запорожского. Запорожский «кош» (военная община) в XVI-XVIII веках не допускал земледелия на своей территории. Еще в 1755 г. кошевой атаман писал императрице Елизавете, что «войско Запорожское низовое из давних лет и ныне хлеба не пашет».

Такой же обычай был и у Донских казаков. Причинами его была постоянная опасность татарских набегов и необходимость обеспечить быстрый сбор войска для отражения напа-

дений. Расселение казаков по далеко друг от друга отстоявшим пашенным угодиям было бы препятствием для быстрой мобилизации. Кроме того, с развитием крепостного права в Московском государстве среди казаков появилось опасение, что рост земледелия, права на которое добивались новоприходцы из московских земель (большей частью беглые крестьяне), неизбежно приведет к крепостному праву и на Дону. В 1670-х и 1680-х годах новоприходцы, поселявшиеся в «верховых» (считая вверх по Дону и его притоках) городах все-таки начали заводить пашню. В ответ на это приговором Донского Войскового Круга 1689 года установлена была смертная казнь за занятие хлебопашеством. Эта крутая мера остановила рост земледелия на Дону лишь временно, и в конце концов старый запрет пришлось отменить.

Военная и политическая обстановка в русских и украинских степях привела к тому, что распространение пашни шло в степной полосе России гораздо медленней, чем в лесной зоне, отчего вольный животный мир сохранялся в степях дольше, чем на севере.

Природные условия менялись человеком не только для развития земледелия. Лес рубили также для строительства городов, сел и деревень, на топливо, на постройку морских и речных судов (кочей, стругов, лодок). Особенно усилились рубки строевых деревьев после заведения военно-морского флота Петром Великим. В XVI веке стали сводить лес и с промышленными целями — для производства поташа. В XVII веке усилилась рубка леса для железоделательной промышленности ввиду основания новых, по тому времени крупных, оружейных и железоделательных заводов (Тула, Кашира, Олонецкий край). При Петре главной базой русской металлургии сделали Урал. В XVIII веке спрос на различные лесные материалы сильно возрос. К концу этого века на Урале было около сотни металлургических заводов. Для плавки руды и выплавки чугуна требовалось большие количества древесного угля. Для этого хищнически вырубались леса. В XIX и XX веках уничтожение лесов пошло еще быстрей.

Переходим теперь к прямому воздействию человека на размещение животного мира, т. е. к звероловству и птицеводству. Охотой человек занимался издавна. В древней Руси охота составляла один из важнейших промыслов, доставляя человеку пищу, кожи и меха.

В степной зоне в кочевнических государствах периодиче-

ски устраивались грандиозные облавные охоты. Помимо провольственного значения такая охота служила цели подготовки армии к войне — военными маневрами.

Подробное наставление для организации такой охоты было включено в Великую Ясу (государственный устав) Чингис-хана (XIII век). Это наставление известно нам в изложении персидского историка Джувейни. «Ловитву Чингис-хан строго содержал, говорил, что-де лов зверей подобает военачальникам: тем, кто носит оружие и в боях бьется, надлежит ему обучаться и упражняться, дабы знать, когда охотники доспеют дичь, как вести охоту, как строиться и как окружать дичь, по числу людей глядя... Цель не только сама охота, а больше то, чтобы воины приобщали и закалялись и своивались со стрелометанием и упражнением».⁶

Такие облавы Чингис-хан установил устраивать в зимнее время. «Кольцо для лова охватывается за месяц, либо за два-три месяца, и зверя сгоняют постепенно... чтоб он не вышел за кольцо». Постепенно кольцо сжималось и оказывалось густо набитым дичью. Тогда ее начинали расстреливать из луков. В конце бойни небольшое количество недобитых зверей выпускалось «для продления жизни остатков зверья».

Кроме облав — больших и малых — в степной и лесостепной зоне люди охотились, конечно, и небольшими ватагами и в одиночку. Опытные следопыты знали повадки дичи и места, где звери водились. Кубанские пластуны умели различать ночью по звуку, какой идет зверь (перевожу с украинского из цитаты приведенной Кириковым): «У оленя ход ровный; кабан прошелестит ровным ходом, послушает и опять идет; коза, пройдя ровно, раз в два-три скачет; у волка ход ровный, но мельче оленя, потому и шума от него в камышах меньше».

Ватагами и в одиночку происходила охота и в лесной полосе. Из отраслей промысловой охоты очень важное значение имела охота за пушными зверями. Наиболее ценными считались меха соболя и черной лисицы. Добыча ценных мехов служила первоначально главным побуждением для русских людей при исследовании Сибири и продвижения в ней. Русские не только охотились сами, но стремились регулярно получать подать мехом от туземных племен. В XVII веке Сибирская «соболиная казна» составляла одну из существенных статей дохода Московского государства. Добыча и продажа мехов подлежали строгому правительенному контролю. Ясачный сбор поступал в казну (лучшие меха отбирались для царского двора). За

остальные меха, добытые в Сибири, платилась пошлина при выезде из Сибири.

Меха представляли собою один из главных козырей Московской дипломатии XVI-XVII веков. Мехами платились «упоминки» («подарки» — фактически замаскированная подать) Крымскому хану. В какое бы государство ни отправлялись московские послы, они везли с собою соответствующее количество мехов. Меха дарились и персидскому шаху, и турецкому султану, и «цесарю» (германскому императору), и королям. Мехами оделялись и влиятельные лица при каждом восточном или европейском дворе — те, которых по сведениям послов, выгодно было иметь на стороне Москвы. Еще в 1493 г. турецкий султан Баязит II просил крымского хана Менгли-Гирея получить ценные меха от Ивана III. Султан писал Менгли-Гирею: «у твоего брата (Ивана III) в земле черные лисицы живут». В начале XVI века жена хана Магомет-Гирея (сына и преемника Менгли-Гирея) писала великому князю Василию III: «Да еще у тебя, у брата моего, одно прощенье есть: у нас в сей земле лисицы черные не мочно добыти, и яз ныне у тебя, у брата своего, великого князя, на шапку одной черной лисицы добрые прошу».

Доход московскому правительству или царскому двору давали продукты охоты не только в Сибири, но и в до-Уральской России. Во владениях и Московского государя и великого князя Литовского, а также и на монастырских землях, и в вотчинах московских бояр, и западно-русских панов немаловажное значение имели охотничьи промыслы и угодья всякого рода, как например, «лосиные стойла», «зубровые остуны» и «бобровые гоны». Звероловческую службу несли, по специальностям, «бобровики», «птичий стрелки» и другие охотники. Для облав привлекались местные крестьяне.

Помимо поставки в царский дворец мяса, кож и мехов убитых животных, для царя ловились и живые особи, как например, кречеты для царской охоты, а также всякая «зверина». Например, за 1693, 1695 и 1696 г.г. гетман Мазепа послал из Малороссии к царскому двору 19 лосей, 23 кабана, 7 косуль, 3 сайгака, двух оленей и одного зубра.

Ввиду ценности охотничьих угодий и великие князья Литовские и Московские цари принимали иногда некоторые меры для охраны более дорогих зверей. Так при короле польском (великом князе Литовском) Стефане Батории охота на зубров в Беловежской пуще разрешалась только с согласия

короля. В 1577 г. одному из крупнейших литовских панов Радзивиллу, было разрешено убить четырех зубров, а польскому канцлеру Яну Замойскому — вывезти из пущи четырех убитых им зубров.

В 1635 году царь Михаил Федорович послал Пермскому воеводе грамоту, в которой предписывалось воеводе объявить «в Перми Великой, в Чердыни на посаде и в уезде, по всем торгам и по малым торжкам... чтоб всякие люди по ловлям бобров и выдр вперед капканами не ловили и не побивали, а ловили б бобры и выдры по-прежнему, без капканов». (Охота капканами была особенно губительна). Бобровым охотникам приказывалось сдать воеводе их капканы, а кузнецам — перестать изготавливать капканы. За ослушание положено было тяжелое наказание: в первый раз битье кнутом и штраф 2 рубля, во второй раз кнут и 5 рублей, в третий раз — битье кнутом «нешадно» и сажать в тюрьму «до указу». Вряд ли это и другие подобные распоряжения оказались действительны (разве что на короткий срок), т. к. истребление бобра шло и дальше неуклонно.

Гораздо большее значение имели в XVI и XVII веках меры Московского правительства, направленные на сохранение пояса лесов к югу от Оки (приблизительно по направлению Одоев-Тула-Шацк), хотя меры эти отнюдь не имели целью охрану животного мира. Задача их была военная: путем устройства «засечной черты» преградить путь татарам на Москву.

III

Рассматривая процесс изменения животного мира, Кириков отмечает случаи, когда условия, губительные для одних видов животных, оказывались благоприятными для распространения других видов. Так, например, вырубка лесов в общем катастрофически отзывалась на судьбе крупных копытных животных и пушных зверей, но во многих местах создавала благоприятные условия для жизни тетерева (особенно там, где в XIV-XVII веках пашня и лес неоднократно сменяли друг друга и на месте леса и пашен появлялось мелколесье и кустарники). Превращение старых лесов в мелколесье с осинами и березами отчасти подходило и для лосей.

Установив общие и особенные явления процесса изменений животного мира на территории России, Кириков затем

детально рассматривает судьбы отдельных видов зверей и птиц в главных природных зонах. Для многих видов даны в тексте карты распространения их в прошлом и в настоящее время. В мою задачу не входит подробное рассмотрение всего материала, изученного Кириковым, и я хочу здесь только отметить некоторые черты в историческом изменении ареала соболя, куницы, бобра, лося и зубра.

Основная масса соболей была сосредоточена за Уралом; основная масса куниц — к западу от Урала. Но ареалы обоих видов отчасти перекрывали один другой, т. к. соболь раньше водился и по сю сторону Урала, а куница и за Уралом, в южной части Западной Сибири. В зоологической литературе западная граница распространения соболя в прошлом долго считалась спорной. Кириков установил эту границу на основании архивного материала, главным образом — дел генерального межевания. Во второй половине XVI века и в первой половине XVII-го соболь водился еще в Литве и в Белоруссии (в Белоруссии еще в XVIII веке), а также на русском севере, в бассейнах рек Мезени и Печоры и в верховьях Вычегды (когда на севере встречался еще и в первой половине XIX века). В Сибири в XIX в. соболь еще держался в некоторых местах, но в других был истреблен. В настоящее время западная граница распространения соболя проходит по средней части Уральского хребта (см. карту, составленную Кириковым, часть 2 его труда, рис. 2 на стр. 71).

Соболь считался в XV-XVII веках одним из самых ценных зверей. Самым дорогим был мех черной лисицы. В конце XVII века стоимость хорошей черно-бурой лисицы равнялась стоимости 15 соболей. Бобр ценился дешевле черной лисицы, но дороже соболя. Черный или черно-карий бобр ценился дороже карего или рыжего. В конце XVII века черно-карий бобр равнялся по стоимости пяти-семи соболям, а рыжий бобр — трем-четырем. Выгодность бобрового промысла привела к почти полному истреблению бобров на территории России, так что к концу XIX века оставалось лишь несколько небольших очагов этих животных.

Ценным животным был лось. Мясо его шло в пищу, между прочим доставлялось ко двору и литовских и московских государей. Шкуры лосей (с шерстью) употреблялись для одежды (лосины, лосиные дохи), а кожа (замша) — на различные поделки (кошели, ремни). В 1634 г. московское правительство выдало десятилетнюю привилегию иноземцу

фабриканту на устройство завода для выделки лосиных кож новым техническим способом, но предприятие оказалось недолговечно, и лосиные кожи продолжали обрабатывать прежними способами. В 1660-х годах лосиные кожи были одним из основных предметов вывоза с Дона в Московское государство.

В давние времена лоси жили и в лесной полосе, и в лесостепь, проникали и в глубь степной зоны, местами до ее южной окраины. В степном Предкавказье лоси наблюдались еще в конце XVIII-го столетия. В Полтавщине лоси стали очень редки к середине XVIII-го века. На Волыни и в Черниговщине они почти вывелись к началу XIX века. В смежных уездах — Брянском и Трубчевском — леса были густо заселены лосями в середине XIX века, но к концу столетия стали редки и там. В Тульской губернии к 1850 году лосей уже не стало совсем. В Подмосковном крае в это время лоси еще держались, но их было очень мало.

Зубр в XIX веке был уже редким животным. По данным начала 1890-х годов в Беловежской пуще насчитывалось 340 зубров. Небольшое количество зубров в то время уцелело еще в некоторых урочищах Кавказа — в горных трущобах по верховьям Терека и Кубани. В XV-XVII веках зубр был распространен не только в Беловежской пуще, но и в украинском лесостепье, а отчасти и степи в Подолии, Киевщине, Черниговщине и Полтавщине, и дальше на восток вплоть до Дона.

Во время международного съезда государей и князей средней и восточной Европы, созванного Литовским великим князем Витовтом в Луцке в 1429 году, каждую неделю для пиров собравшихся гостей доставлялось сто зубров (и сто лосей). На Дону зубры исчезли в начале XVIII века. В 1716 году Петр Великий приказал воронежскому губернатору Колычеву поймать и послать в Петербург 5-6 зубров. В ответ Колычев сообщил Петру, что на Дону в последний раз видели зубров в 1709 году, а потом уже они никому не встречались.

IV

Подводя итоги сказанному — к середине XIX века, благодаря вырубке лесов, распространению земледелия, росту фабрично- заводской промышленности и увеличению населения, а

также прямому истреблению зверей и птиц путем охоты за ними, от прежних богатств животного мира уцелели только остатки и сильно сократилась площадь распространения многих видов. С тех пор в России неуклонно и все более ускоренным темпом продолжался рост фабрично-заводской промышленности, а в некоторых степных районах — рост запашки. Продолжался и рост населения, несмотря на убыль от войн — первой мировой, гражданской и второй мировой. Площадь, пригодная для размещения животного мира, все более сжималась. Несмотря на это, в некоторых местностях, начиная с 1850 года, стало наблюдаться увеличение числа того или другого вида зверей или птиц. В некоторых случаях это явление имело местный характер и могло объясняться переселением какого-то количества особей этого вида из менее для них благоприятного района в более благоприятный. В других случаях увеличение наблюдалось на довольно большом пространстве.

Известную роль в сохранении или даже в увеличении поголовья животных должны были сыграть охрана лесов и ограничение охоты в казенных лесных дачах и засеках, а также и в крупных частновладельческих лесах. В 1837 г. учреждено было министерство государственных имуществ, в составе которого образован корпус лесничих для надзора за исполнениями правил о сбережении казенных лесов и для поощрения лесоразведения и устройства лесов на землях частных владельцев.

Первый общий указ, регулировавший охоту, был издан при Екатерине II в 1763 году. Охота на зверей и птиц, кроме хищных, была воспрещена ежегодно на период от 1 марта до 29 июня во всем государстве. Указом следующего года разъяснено, что правило это отменяется для Сибири ввиду того, что «многие сибирские народы не имеют другого пропитания как только весенним временем налетевших в бесчисленном множестве всяких птиц, а по заливным островам зверей бывают».

В 1892 году изданы были новые правила об охоте (не касавшиеся Сибири). Производство охоты на не-хищных животных было запрещено на разные времена года, отдельно для каждой породы (и пола) животных. Охота на лосей-самцов была ограничена временем с 15 августа по 1 января, охота же на самок лосей и их телят вовсе воспрещена. Запрещена была и охота на зубров. За убой зубра назначено было денежное взыскание в 500 рублей с каждого убитого животного (вследствие чего дела об убое зубра были изъяты из ведомства ми-

ровых учреждений и должны были производиться в окружном суде).

С 1850-х годов (местами с 1840-х годов) лоси стали появляться в тех местах, где их давно уже не было, а в тех, где их уцелело очень мало, их поголовье стало увеличиваться (северная Белоруссия, лесные уезды Смоленской и Орловской губерний, Тверская, Московская, Владимирская, Нижегородская губернии). Увеличение поголовья лосей в этих областях продолжалось до 1870-х годов. В это время считали, что сохатые — «подмосковная дичь новых времен». Во Владимирском крае один охотник за зимы 1872/73 и 1873/74 смог убить 50 лосей.

Еще в 1890-х годах лоси держались в Московском, Богословском, Дмитровском, Клинском и Бронницком уездах, но в начале XX века поголовье их стало уменьшаться от усиленной охоты за ними (причем охотничьи правила 1892 года, очевидно, не соблюдались или недостаточно соблюдались). К 1925 году лоси в Московской области были истреблены почти полностью.

Из птиц, в 1870-х годах тетерева в изобилии водились в Литве и других местах лесной полосы. После того, на южной окраине лесной зоны тетеревов становилось все меньше, но в тайге русского севера (Кольский полуостров, северный Урал) тетерева стали многочисленнее.

В своей книге, а также в докладе на XIX международном географическом конгрессе в Стокгольме и в статье в журнале «Природа» (1961) Кириков сообщает ряд данных о состоянии некоторых видов промысловых животных за последние десятилетия.

С начала 1930-х годов началась новая волна расселения лосей, захватившая громадную территорию — от Белоруссии и Прибалтики на западе до Казахстана на востоке. Расселение шло не только на юг, но и на север. По данным приблизительного учета 1954 года, на территории Российской Федерации насчитывалось около 300 000 лосей.

Приняты были меры к восстановлению некоторых пород ценных зверей. «Наблюдения над восстановлением ареала и численности животных показали, что даже при очень сильном истреблении какого-нибудь вида запасы его могут быть довольно быстро увеличены. Но для этого необходима не только действенная охрана этого вида, но и некоторые другие

условия. Восстановление ареала и численности будет итти тем быстрее, чем обширнее территория, на которой животные могут находить себе пищу и защиту от врагов». (Кириков в журнале «Природа»).

Начиная с 1920-х годов, стала проводиться охрана бобров и число их увеличилось, особенно в Белоруссии, в западной части Смоленской области и в Воронежском заповеднике. Одновременно производилось искусственное расселение бобров. По данным Всесоюзного научно-исследовательского института, животного сырья и пушнины за время с 1930 по 1958 г. расселено было 2800 бобров.

Одновременно приняты были меры и к восстановлению ареала и повышению численности соболя. Организованы были специальные заповедники и на довольно долгое время запрещена была охота на соболей. В результате этих мер численность соболя к настоящему времени сильно увеличилась, и он вновь расселился в Сибири по прежним местам. Теперь соболя ежегодно добывается примерно столько же, сколько в конце XIX века (около ста тысяч соболей).

Зубр принадлежит к числу тех видов, которые сделались настолько редкими, что обычных мер для охраны их уже недостаточно. В течение последних двух десятилетий ведутся работы по восстановлению зубров. Их содержат в заповедниках в полувольных условиях. Заповедники эти — Беловежский, Приокско-Террасный и Хоперский (см. карту во 2-й части книги Кирикова, рис. 4 на стр. 85). Кроме того, в Кавказском заповеднике находится стадо гибридных зубро-бизонов.

В заключение моего обзора хочу отметить выводы Кирикова по одному из затронутых им общих вопросов биологии, а именно по вопросу об особенностях проявления полиморфизма млекопитающих и птиц в различных природных зонах и областях. В свое время Дарвин высказал следующее положение: «В ограниченной или изолированной области, если она не очень велика, органические и неорганические условия жизни будут в общем весьма однородны, так что естественный отбор будет стремиться изменить во всей области все особи варьирующего вида в одном и том же направлении относительно одних и тех же условий». Л. С. Берг причиной явления, отмеченного Дарвином (изменения всех особей вида в определенном направлении в условиях ограниченной области) считает не естественный отбор, а географический ландшафт (определен-

ленную область природной зоны), который «воздействует на организмы принудительно» (Берг, «Номогенез», 1922).

Изучение размещения бобра, хомяка и других видов различных морф привело Кирикова к выводу, что «вопрос об изменении в определенном направлении всех особей, находящихся в какой-либо естественно ограниченной природной области, более сложен, чем это представлялось Дарвину и Л. С. Бергу. В ряде природных областей наблюдается не изменение всех особей в определенном направлении, а стойкое существование различных морф в течение очень длительного времени, изменяемого по крайней мере несколькими столетиями».

Вопрос этот — и вывод Кирикова — важен и интересен не только для биологов, но — в другой плоскости — и для социологов и историков.

Г. В. Вернадский

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *В. И. Вернадский*, Несколько слов о ноосфере, Успехи современной биологии, 1944, т. 18, ч. 2, стр. 113-120; *The Biosphere and the Noöosphere*, American Scientist, January 1945, pp. 1-12 (английский перевод Г. В. Вернадского, редакция профессора G. E. Hutchinson'a); В. Некрасов, В. И. Вернадский, Новый Журнал, 61 (1960), стр. 274-275; Лев Гумилевский, Вернадский (Москва, 1961), глава 32. (Владимир Иванович Вернадский родился в 1863 г., умер в 1945 г.).

2. См. также *Г. В. Вернадский*, Из древней истории Евразии: Хунну, Новый Журнал, 62 (1960), стр. 279.

3. *Д. К. Зеленин*, Культ онгонов в Сибири (Москва-Ленинград, 1936); его же, Тотемы — деревья в сказаниях и обрядах европейских народов (Москва-Ленинград, 1937).

4. *С. В. Кириков*, Изменения животного мира в природных зонах СССР, XIII-XIX вв., 2 части (Москва, Академия Наук, институт географии, 1959-1960). Книге этой предшествовало несколько предварительных сообщений автора, напечатанных в «Известиях Академии Наук», серия географическая (1952-1960), и специальных этюдов.

Некоторые итоги труда Кирикова подведены в его докладе на XIX международном географическом конгрессе в Стокгольме (отдельный оттиск, издательство Академии Наук, Москва, 1961) и в статье «Человек изменяет животный мир» (журнал «Природа», май 1961).

5. Таблица I на стр. 14, часть II труда Кирикова. В этой части Кириков дает пять подобного рода таблиц. В I части (лесостепь и степь) дано три таблицы.

6. Перевод В. Ф. Минорского в приложении к книжке Г. В. Вернадского «О составе Великой Ясы Чингис-Хана» (Брюссель, 1939), стр. 44.

ТРИ МНЕНИЯ О РОССИИ

На этот раз мне хочется побеседовать с читателем по поводу трех недавно вышедших книг о России, и прежде всего по поводу книги нашего соотечественника Н. П. Вакара, озаглавленной (в русском переводе с английского) «Глубочайшие корни советского общества.»

Книга эта — результат большого труда по сопоставлению и обобщению материала, рассеянного по книгам, журналам и даже газетным статьям. Список использованных источников (при том неполный) содержит 322 номера; а ему предшествуют обширные библиографические заметки, характеризующие литературу, имеющуюся по каждому из поставленных автором вопросов. Это сделано так хорошо, что последующие труженики на ниве советоведения (такой термин повидимому вошел в наш эмигрантский язык) смогут использовать работу Н. П. Вакара, как исходную точку для дальнейших исследований.

Но к сожалению труд испорчен тем, что он насквозь проникнут парадоксальной теорией, согласно которой, со временем Сталина советское общество стало строиться по образу и подобию общества, сохранившегося в массах после петровской реформы, при чем строителями его были самые умные и пронырливые из числа бывших кулаков. Общество это было построено на основе патриархальной и деспотической семьи и передельной общины, совершенно подавлявшей свободу своих членов. Этот патриархально-общинный строй и был будто бы перенесен в новое государство и общество. В довершение всего, автор пользуется фрейдовской гипотезой, приписывающей громадное значение роли «отца», который понимается по аналогии с Зевсом — громовержцем; таким всероссийским отцом оказывается Сталин! К мифологическому отцу Фрейда в книге Вакара, часто прибавляется термин «батюшка», который, кстати сказать, всегда должно переводится французами словами *«petit père»*, а англичанами и американцами *«little father»*. Иными словами, у Вакара как бы воспроизводится ложная мысль,

будто Сталину беспрекословно подчинялись потому, что видели в нем новое воплощение «царя-батюшки»; это предполагает подлинное проникновение в народ «культта личности Сталина». Автор обращает внимание читателя на то, что после развенчанья Сталина Хрущевым, этому самому Хрущеву пришлось изворачиваться и частично подправлять как бы развенченную фигуру. Тут автору не повезло: он кончил свою работу до 22-го съезда партии, на котором очернение Сталина было усилено и завершено постановлением — убрать его мукию из ленинского мавзолея.

Спора нет: Сталин и его сотрудники (в особенности после ликвидации старой гвардии) оказались культурно много ниже соратников Ленина. Такое явление по мнению многих историков, постоянно вторгается в поступательный ход исторического процесса — ведь и ленинская революция заменила дореволюционные верхи (правящие и неправящие) элементами, гораздо менее культурными. Величайший из современных историков, А. Тайнби, в своем десятитомном труде «A Study of History», с прискорбием отмечает, что вокруг каждой подымающейся культуры образуется коалиция внешних и внутренних варваров (он довольно неудачно называет их пролетариями), которым нередко удается прорваться в культурный центр и там все испортить.

Если бы таков был тезис Н. П. Вакара, он был бы правилен, но вовсе не оригинален. Но тезис его звучит иначе. Он утверждает: 1) что сталинское общество построили уцелевшие от разгрома кулаки, и 2) что построили они его по образу и подобию той деревенской России, которую они будто бы только и знали.

Ознакомившись с этими тезисами из вступительной главы, я все ожидал, что автор дальше предложит биографические очерки главных пособников Сталина и докажет, что они были спасшимися от разгрома кулаками. Я ждал такой главы с нетерпением — но не нашел ее. Автор многократно повторяет свой тезис, но нигде не приводит доказательств. И это понятно: трудно представить себе более невероятное утверждение, нежели положенное автором в основу своего историософического построения. Мы отлично знаем, (это конечно знает и автор), что ранние годы своей власти Stalin посвятил массовому раскулачиванию, которое постепенно перешло в «ликвидацию кулаков как класса». До пяти миллионов человеческих жизней при этом было загублено. А вот оказывается,

что каким-то хитрецам удалось не только спастись (что верно), но и стать строителями нового общества. Самого Сталина автор нигде не называет кулаком. Но для него он — крестьянин, что пожалуй верно по паспорту, но не по существу. И с какой стати было бы Сталину переносить на возглавлявшееся им государство черты русской деревни, когда он был грузином, не жил в деревне и передельной общине не знал?

Такое понимание советского общества предваряется довольно пространным разбором русской патриархальной семьи уже отживавшего типа и передельной общины. При этом автор пользуется односторонним материалом, подчеркивающим темные стороны семьи и общины. Не буду на этом настаивать, потому что ко времени революции и передельная община (кстати, далеко не укорененная в истоках русской истории и далеко не повсеместная), и патриархальная семья, состоявшая не из двух, а из трех или даже больше поколений, находились уже в состоянии распада. Последние годы перед революцией разделы дворов участились, а при проведении столыпинской реформы обнаружилось, что во множестве общин переделы отходили в область истории. И во всяком случае не кулаки были носителями этих институтов; они, да и большинство крестьян, были правильно обозваны Лениным «мелкими хозяйствами». Стремление к «своей земле» всё росло и росло и, как хорошо известно, и сейчас сильно развито в крестьянской среде.

Н. П. Вакар усугубляет невероятность своего тезиса тем, что как-то примазывает к нему и церковный раскол половины 17-го века, не изжитый, но сильно смягченный ко времени революции. Он заявляет, что раздвоение русской культуры произошло еще до Петра, а именно со времен патриарха Никона. Как сочетать это с основным тезисом — не знаю. Церковный раскол захватил скорее всего народные массы. Но автор благоразумно умалчивает о том, кто же преобладал среди хитроумных кулаков — раскольники или «никонианцы»? Но тогда зачем же вводить это раздвоение русской культуры в дополнение к основному — на западнические культурные верхи и застывшие в московской старине низы?

Справедливость требует сказать, что во второй половине своей книги автор мало пользуется своей основной гипотезой. То, что он говорит о новой культуре, которая начинает подыматься, как лес на вырубленных делянках, об идеологии или, зачастую, ее отсутствии, и в особенности о смене поколений, уже произшедшей или еще предстоящей, интересно

и зачастую оригинально. Но и там встречаются, часто без большой нужды, ссылки на теорию, развитую в первой половине книги. Книга наглядно показывает, как родившаяся в уме автора теория может овладеть этим умом, несмотря на то, что она не подтверждается фактами, тогда как соответствие фактам — основной критерий для различия между правильными и неправильными теориями.



Перейдем теперь к книге молодого американского историка Джерома Блюма, озаглавленной «Помещики и крестьяне в России с 9-го по 19-й век». Она дает много больше, нежели обещает заголовок; в сущности, это социально-экономическая история России, с сосредоточением на отношениях между князьями (позже царями), помещиками и крестьянами, с очень ясным показом того, как изменения в одном из этих трех элементов влияли на другие; при этом оттеняется, что крестьянство вовсе не всегда было пассивным фактором. Интересны многочисленные параллели между изменениями в социально-экономическом быте России и других восточно-европейских стран — Польши, Литвы, Венгрии и «Богемии» (чешской земли), а не Европы вообще, под которой нормально понимают западную Европу, т. е. Англию, Францию, отчасти Германию. Такое сопоставление русской истории можно было бы использовать для нового, среднего решения в спорах между русскими западниками и нынешними преемниками славянофилов, в частности евразийцами. Россия — часть Европы, но более точно восточной Европы. Такого вывода автор не делает, потому что это отвел бы его в сторону от его основной задачи. При этом любопытно, что в отношении целых периодов русской истории автор приходит к выводу, что существенные изменения в строе и в основном движении от периодов обогащения к периодам обеднения и обратно проходили одновременно; этим сильно подрывается трафаретный тезис об общей отсталости России — она конечно была отсталой в сравнении с Англией, Францией и т. д., но далеко не со всеми частями Европы. То, что теперь известно о культурном состоянии многих частей Испании или Португалии, южной Италии и балканских государств в начале 20-го века, никак не вяжется с суждением об огульной отсталости России.

Но проф. Блом не склонен к преувеличению установленных им аналогий. В одном случае он мог бы подчеркнуть контрастное развитие России и почти всей остальной Европы: киевский период, вплоть до середины 12-го века, был периодом роста и обогащенья, но периодом застоя и даже упадка на западе. Правда, автор оспаривает слишком оптимистическую оценку киевской Руси, но к сожалению не вводит в свой анализ блестящую мысль бельгийского историка Н. Pirenne, который показывает, что и расцвет России, и временный упадок запада были вызваны арабскими завоеваниями, приведшими к разрыву тесных связей между Византией, тогда культурным центром Европы, и западом, но поставило Россию в особенно выгодное положение, так как теперь через нее протекало движенье мыслей и ценностей между Византией и большей частью Европы.

На своем долгом пути (в книге свыше 600 страниц) автор постоянно сталкивается с разными гипотезами русских и иностранных историков и внимательно их разбирает. Он не высказывается определенно о теории норманнского завоеванья; лишь мимоходом он указывает, что развитие на Руси частного землевладенья можно объяснить так: потомки завоевателей постепенно почувствовали себя укорененными на Руси и потому решились на расселенье вдали от княжеских столов. Но на своем объяснении он не настаивает.

Автор даже не разбирает одной из основных доктрин славянофилов, об исконности русской передельной общинны. Он относит возникновение такой общинны к позднему времени, к 15-му и даже 16-му веку; по его мнению она возникла не по приказу власти, а как бы самопроизвольно, из сложившейся к тому времени конъюнктуры. Он упускает интересную возможность провести аналогию с Англией, где переделы земли были обычным явлением вплоть до середины 18-го века.

Автор даже не упоминает о той доктрине, которая преподносилась ученикам средней школы даже в начале 20-го века, о введении крепостного права каким-то потерянным указом конца 16-го века. Крепостные существовали тогда почти повсеместно, и то, что произошло в России в конце 16-го века, было лишь завершением длительного исторического процесса.

Большая часть книги посвящена «последнему веку крепостного права», от указа Петра III об освобождении дворянства от обязательной службы, которая в России, как и в за-

падном мире, служила как бы оправданьем крепостного права, до освобожденья крестьян в 1861 г. В книге подробно разбираются многочисленные категории государственных крестьян, экономическое и социальное положенье которых было много выше, нежели положенье помещичьих крестьян. А ведь эти государственные крестьяне ко времени реформы были более многочисленны, нежели помещичьи. Вплоть до царствования Александра I над ними висел дамоклов меч — обращенья в помещичьих крестьян в порядке царского пожалованья частным лицам. За последние полвека существования крепостного права, эта опасность фактически исчезла.

Детально разбирает автор многочисленные гипотезы о причинах освободительной реформы. Он решительно и убедительно опровергает гипотезу, будто крепостное право стало экономически невыгодным: огромное большинство помещиков не имело никакого понятия о прогрессивном земледелии, а той архаической системе, которая продолжала наличность крепостных давала барину известный доход. В конечном счете он приходит к выводу, что реформа состоялась в силу твердого убежденья нового императора в невозможности и недопустимости его сохраненья. По характеру нерешительный, император Александр II, поддержанный либеральным менышинством дворянства и чиновничества, навязал свою волю и массе помещиков, и подчиненной ему бюрократии.

Автор упустил при этом возможность провести аналогию между двумя освободительными реформами половины 19-го века, русской и американской. В американской литературе еще недавно преобладало мнение, что эмансипация рабов произошла потому, что рабовладенье стало невыгодным. В настоящее время такое объясненье оставлено: американская реформа, как и русская, объясняются укреплением идеи, что рабовладенье морально недопустимо.

Следует отметить, что американский профессор подчеркивает факт освобождения русских крепостных с землей. В сопоставлении с этим фактом, все недочеты и недоделки реформы кажутся

*

От на редкость содержательной и обоснованной книги проф. Блюма да позволит мне читатель перейти к ее контрасту, скверному пасквилю на культурную историю России,

а именно к книге немецкого профессора Вернера Келлера, озаглавленной «Восток минус Запад равен нулю». Книг враждебных России выходит немало; но эта заслуживает особого внимания, т. к. она написана популярным историком, уже переведена на английский язык и вызвала несколько рецензий, в общем одобрительных, хотя иногда и с оговорками.

Уже заглавие книги абсурдно: если Восток минус Запад равен нулю, то, значит, Восток равен Западу. Не то хочет сказать автор: если бы русского народа никогда не существовало, то это никак не отразилось бы на том, что Запад предлагает человечеству. Но и в так формулированном тезисе легко усматривается недопустимая подстановка понятий: то, что противопоставляется Западу, это не Восток, а только Россия. Но Запад многогранен; его культура развивалась во многих центрах, которые многократно перемещались, то возвеличивались и давали бурное цветенье, то падали и утрачивали былое значение. Италия, Испания, Франция, Англия, Голландия, Германия — вот главные из них, к которым сравнительно недавно присоединилась Америка (в смысле Соединенных Штатов). И если бы от культуры каждого из них, по примеру Келлера, отнять все то, что она заимствовала от других, то осталось бы не так уж много.

Положение это блестяще развито одним из самых талантливых антропологов нашего времени, Р. Линтоном в книге «A Study of Man». Он доказывает свой тезис очень эффективно: перебирая шаг за шагом действия состоятельного молодого американца за первый час после того, как он проснулся, автор называет культуры, в которых возникли отдельные элементы материальной культуры Америки — и показывает, что почти все, чем пользуется наш молодой человек, откуда-то заимствовано. Где только не были сделаны соответствующие открытия и изобретения, — и в Китае, и в Индии, и в Месопотамии, и в Средней Азии, и в Греции, и в Италии, и во Франции, и в Германии, и в Голландии, и в Скандинавии, или среди американских индейцев. Вывод Линтона таков: каждая культура есть результат взаимодействия многих культур, на почве «рассеивания» в пространстве открытий и изобретений, где-то сделанных, при чем каждая культура впитывает в себя гораздо больше, чем отдает. Заметим, что этот тезис доказан в отношении материальной культуры, вклад в которую Америки особенно значителен. Тоже самое справедливо и в отношении нематериальной или духовной культуры. В этом

отношении не представляет собою исключения и наша Россия. Вклад России в мировую сокровищницу культуры так же значителен, как вклад других наций. На этот счет даже автор одной из хвалебных рецензий на книгу Келлера, В. Г. Чемберлин, делает оговорку: он прямо указывает, что как никак Россия дала миру Толстого, Тургенева, Достоевского, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Менделеева, Мечникова и Ивана Павлова; к этому краткому списку любой человек, знающий русскую культуру, может прибавить много имен.

А Келлер смакует свой тезис и с восторгом подчеркивает, что правители России неоднократно обращались к другим культурам и делали из них заимствование. Он указывает на то, что государственность занесена в Россию норманами (что далеко не бесспорно); кстати, и современная государственность Англии произошла от норманского завоевания (1066 г.). Мы не будем спорить, что письменность пришла к нам из Византии; а откуда взяли ее остальные европейские народы? Преимущественно из Рима, куда она тоже была занесена греками.

В дальнейшие подробности входить не стоит. Книгу проф. Келлера можно поставить рядом с озлобленными статьями К. Маркса, напечатанными в разгар крымской войны, с целью наускать на Россию весь Запад; они недавно были переизданы в Америке, как доказательство того, что Россия всегда была агрессивна. А другие страны? Но можно поставить книгу Келлера на полку и рядом с книгой маркиза де-Кюстина, пустившего в ход мысль, что русская нация проникнута тем раболепием, которое характеризует монгольскую и производные от нее культуры.

Русская культура, конечно, не наивысшая из всех, как то утверждают наши ура-патриоты. Но «наивысшей культуры» вообще нет просто потому, что не существует объективного критерия, который позволил бы нам поставить разные культуры под ранжир. Мы скорбим о том, что в наше время русская культура придавлена тяжким ярмом «партийного руководства», и верим, что настанет час освобожденья, после чего творческие силы русского народа вновь дадут обильные плоды во всех областях культуры, материальной и духовной.

Н. С. Тимашев

ЗАМЕТКИ О ПРОЧИТАННОМ

Статью проф. В. Зеньковского в 66-й книге «Нового Журнала» — «Мифология в науке» (По поводу трудов Theilhard de Chardin) я читал с волнением. Писательская судьба Тейара необычна. Он был иезуитом. При его жизни католическая иерархия не разрешала ему печатать его произведения. Он умер в 1955 году. Только тогда его книги начали издаваться стараниями двух комитетов, специально для этого образованных. В первый вошло больше тридцати выдающихся французских, американских, английских, итальянских и голландских учёных. Среди них не только палеонтологи и биологи, но и физики: Луи и Морис де Брой. Во втором комитете участвовал ряд философов, писателей и историков: Гастон Башляр, Жак Шевалье, Жорж Дюамель, Жан Ипполит, Жан Лякруа, Андрэ Мальро, Анри Марру, Мерло-Понти, Жан Валь и другие.

Впечатление, произведённое идеями Тейара, было огромно. Политики увидели в них начертание моральной реформы, учёные возможность тотального синтеза, христианские мыслители новое выражение христианства, переосмыслиенного в контексте современного научного космогенезиса. Член французской Академии Наук Жан Пивето без колебаний называет Тейара одним из величайших мыслителей всех времён. Выдающиеся богословы и учёные сравнивают его с Блаженным Августином и Аквинатом. Клод Тремонтан говорит о Тейаре, что он «открыл» новый вид святости, а доктор Шошар объявляет его учение образцом современной апологетики.

Но некоторыми другими католическими авторами и католической иерархией идеи Тейара были приняты враждебно. В декабре 57-го года Ватикан даже издал декрет об изъятии его книг из библиотек семинарий и всех религиозных учреждений. Впрочем, Ватикан окончательно ещё не установил своего отношения к учению Тейара. Тем временем оно завоевывает всё большее признание, даже среди тех, кого сперва оттолкнуло. Об этом говорит в февральской книжке католического

журнала «Этюд» учёный иезуит Даниелу. Он пишет: «Сегодня тейарово учение ещё актуальнее, чем вчера... оно указывает выход из определённого числа тупиков: из противоположения науки и веры, духовной жизни и задач нашего времени, объединения мира и личной жизни. Оно возвращает разъятому миру возможность единства». А протестантский богослов Жорж Креспи свою книгу «Богословская мысль Тейара де Шардена» кончает словами: «Благодаря Тейару в нас оживает надежда «познать, подобно как мы познаны». Это не значит, что мы уже теперь можем достичь полноты знания. Оно нам только приоткрылось вдалеке. Но уже и за это мы должны быть благодарны Тейару».

Возрождение надежды — вот несомненно то, что делает учение Тейара таким нужным сегодня людям. Доктор богословия Вильдье пишет: «В наше время может быть не раздалось ни одного голоса, который бы вдохновлял нас такой надеждой на будущее, как голос автора книги «Человеческий Феномен». В момент, когда слишком много писателей проповедует абсурдность мира, отвращение к жизни и отчаянье, он, один из немногих, открыл в размышлении над наукой значение и цель человеческого существования и дал современно му человеку новые основания надеяться».

Философ-коммунист Роже Гароди признаёт, что за исключением французского просветительства и марксизма, ни одна философия не проникнута такой верой в человека и его будущее, как философия Тейара. Прибавлю от себя: ни энциклопедистам, ни марксистам и в голову не приходил тот «абсолютный оптимизм», который проповедует Тейар. Правда, персоналист Жан Лякруа высказывает мнение, что Маркс в своей прометеевой вере должен был считать, что коммунизм приведёт не только к разрешению всех социальных противоречий и полному овладению человеком силами природы, но и к победе над смертью. Однако вряд ли кто-нибудь из теперешних марксистов с этим согласится. Между тем Тейар был убеждён, что известная часть «ткани вселенной» высвободится из энтропии и «человек вырвётся из условий времени и пространства, определяющих теперешнюю фазу его эволюции».

В последней дневниковой записи, сделанной им перед смертью, Тейар пишет: «Святой Павел три стиха: *En pâsi ranta Theus*». Это три стиха из первого послания к Коринфянам: «Последний же враг истребится смерть. Потому что всё

покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему всё покорено; то ясно, что кроме Того, который покорил Ему всё. Когда же всё покорит Ему; тогда и сам Сын покорится Покорившему воё Ему, да будет Бог всё во всём».

Учение Тейара знал Борис Пастернак. В предисловии к первому тому его сочинений, изданных Мичиганским университетом, Жаклина де Пруаяр пишет: «Показательно, что по собственным словам Пастернака, из всех современных писателей и моралистов в духе Альберта Швейцера «самым значительным, самым близким и родным» ему был Пьер Тейар де Шарден».

Я прочёл об этом с волнением. Значит и вправду никакие железные занавесы, никакие преграды не могут остановить «пропаганду» духа. Принятие мира, вера в жизнь, в победу над смертью и в конечное торжество любви, этого «высшего вида живой энергии», — все эти общие черты, сближают Пастернака и Тейара. Они люди одного светлого и доброго вдохновения. Вот достойный предмет для будущих исследователей духовных движений нашего времени.

Имя Тейара промелькнуло даже в «Вопросах философии», в статье Роже Гароди. Насколько мне известно, Гароди даже хлопотал о переводе «Человеческого Феномена» Тейара на русский язык. Сомневаюсь будет ли переведена даже книга самого Гароди «Перспективы человека». В этой книге, написанной с целью вывести французскую компартию из той духовной изоляции, в которой она очутилась после подавления венгерской революции, он говорит о Тейаре, персоналистиах и экзистенциалистах не как о «слакеях буржуазии», что ещё недавно было обязательно для коммуниста, а с удивительной степенью беспристрастия. Но если даже, хотя это весьма невероятно, Тейар и будет частично переведён, советская цензура, конечно, никогда не позволит, чтобы его учение стало доступно советским людям во всей его полноте синтеза христианства и науки. Теперь, когда усилия казённой антирелигиозной пропаганды как раз направлены на доказательство несовместимости науки и религии, это наша эмигрантская задача стараться, чтобы подлинный голос Тейара дошёл до тех советских людей, которые, несмотря на всё страшное давление коммунистического аппарата, ищут пути к такому синтезу. Этим людям христианство Тейара, выраженное не на традиционном языке богословия, герметическом для огромного боль-

шинства, а на языке современных представлений о мире, будет огромной помощью в их борьбе за новое сознание.

Содействовать всеми силами распространению идей Тейара — это тем более наше дело, что Тейар не только замечательный учёный и мыслитель, воскресивший «великую общую надежду», но и подлинный пророк всечеловеческого Нового Града. Разве его идея братского объединения всего человечества, это не та же идея, что вдохновляла всех лучших русских людей? Разве это не убеждение Толстого — «наше благо заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между собой»? Разве это не убеждение Достоевского — «национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение»?

Но по святости личной жизни и по пониманию значения науки Тейар ближе всего к Николаю Фёдорову. Это новый Фёдоров, но Фёдоров, вооружённый всем современным научным знанием и вдохновенный мистический поэт.

В эмиграции многие уже знают Тейара, особенно среди молодых учёных и философов. Я слышал даже, что хотят собираться для обсуждения его идей. В том же 66-м номере «Нового Журнала», где напечатана статья о Тейаре проф. В. Зеньковского, меня поразило стихотворение Николая Моршена «Ответ на ноту». Я не знаю знаком ли Моршен с учением Тейара, но его стихотворение вдохновлено тейаровым духом, тейаровым убеждением, что жизнь должна «вырваться из энтропии».

«Хочу, чтоб создавало творчество
Из бунта храмы, а не храмики,
Чтоб побеждало смертоборчество
Второй закон термодинамики».

Однако, настоящего разговора о Тейаре в эмиграции ещё не было. Я помню одну статью в «Новом Русском Слове».* Л. А. Зандер дал для первой тетради Общества Друзей Пьера Тейара де Шардена перевод нескольких неизданных фрагментов Тейара. Но этот перевод вряд ли дошел до широкого эмигрантского читателя. Вот почему я стал читать статью проф.

* Моя статья была написана до появления в «Мостах» (№ 8) статьи К. Тремонтана «Творение и эволюция» в перев. и с предисловием К. Померанцева.

В. Зеньковского с таким волнением. Я думал, никто не сможет представить Тейара русскому читателю лучше, чем автор замечательной «Истории русской философии». Тем больше было моё разочарование. Научные теории Тейара, особенно его своеобразный «нео-ламаркизм», уже подвергались ожесточённой критике. Но, насколько мне известно, ещё никто до сих пор не называл их просто мифологией, как это делает проф. В. Зеньковский. Его статья о Тейаре так и называется «Мифология в науке». При этом проф. В. Зеньковский подчёркивает, что он «вовсе не имеет в виду «почтенную и глубокую» мифологию греков. Он пишет: «только в греческой мифологии затронуты все глубокие темы о мире, человеке, жизни — в мифологии других народов мы видим скучное воображение и скучность мысли. Но для современного европейского сознания понятие мифа стало равнозначным пустой фантазии, может быть и поэтической и интересной, но для критической мысли, для научного сознания неприемлемой».

Здесь я со многим не согласен. Разве действительно в мифологии всех других народов, кроме греков, мы «видим скучное воображение и скучность мысли»? А как же мифологические темы Ветхого и Нового Заветов и священных книг других современных и древних религий? А гностические мифы? Но даже если взять космогонию и фольклор самых отсталых и тёмных дикарей, как можно после работ Леви-Брюля, Мирчеа Иллиада и стольких других отрицать в них глубину?

Но вернёмся к Тейару. Проф. В. Зеньковский прежде всего считает мифологией идею Тейара о «космическом скольжении от простого к сложному». Но при этом автор не разъясняет, что Тейар имел в виду комплексную сложность, определяемую не только многочисленностью составных элементов, но ещё больше степенью их организованности. Тейар указывал, что если даже классифицировать эти различные централизованные комплексы только по числу атомов, то мы найдём, что в самых больших минеральных молекулах число атомов не превышает ста (10^2). Но при переходе к органической химии это число быстро увеличивается. Так в самых простых белках, оно достигает уже десятков тысяч. В самой же простой живой клетке по самым скромным предположениям число атомов должно превышать миллиард. Человек же состоит приблизительно из десяти миллиардов клеток. Число атомов в человеческом теле достигает таким образом астрономической цифры (10^{22}). Но Тейар подчёркивает, что количество атомов вы-

ражает далеко не самую важную сторону организованного комплекса. Так по общему молекулярному числу человек, конечно, меньше слона или кита, но решающее значение имеют миллиарды клеток человеческого мозга, в которых материя достигла предельной физико-химической сложности и предельной степени иерархической организованности.

Вероятно, не эти приводимые Тейаром числа атомов в разных молекулах проф. В. Зеньковский считает пустой фантазией. Но что же тогда? Может быть убеждение Тейара, что эти различные по числу атомов и по степени организованности 'молекулы' появились не одновременно, а в процессе восходящей эволюции? Если проф. В. Зеньковский считает мифом самое гипотезу эволюции, это его право. Но огромное большинство современных учёных эту гипотезу эволюции принимает, и при этом не как одну из возможных гипотез, а как общее условие научного познания, которому должны соответствовать все теории, все гипотезы, все системы. Это основная научная идея эпохи, хотя несомненно найдутся отдельные консервативные учёные и мыслители, нежелающие признать это новое «измерение» вселенной. Но может быть проф. В. Зеньковский считает мифом не самое гипотезу эволюции, а только то объяснение эволюции, которое предлагает Тейар? Действительно, с точки зрения последовательного позитивизма и чистого феноменализма тейарово учение о смысле и направлении эволюции, поскольку оно вносит понятие ценности, не может быть признано строго научным. Однако, очевидно вовсе не все учёные стоят на этой точке зрения. Я уже упоминал, что труды Тейара изданы комитетом, в который вошло свыше тридцати учёных с международными именами. Но если даже встать, на эту, по-моему, неверную точку зрения, что тейарова интуиция движения эволюции к всё большей «комплексификации» и всё более высоким степеням жизни, сознания и свободы не является научной гипотезой в точном смысле, то почему же всё-таки это миф, пустая фантазия, а не философия? Иначе нужно признать мифологией, как это и предлагал Поль Валери, всякое целостное представление о вселенной. Ведь и теория относительности, не говоря уже о том, что она построена на априорных постулатах, по признанию самого Эйнштейна, вносит в науку метафизику. Да только ли теория относительности? Сегодня, в отличие от века Ньютона, среди учёных и мыслителей всё шире распространяется сознание, что наука, если только она хочет дать связное «тотальное» представление о все-

ленной, не может обойтись без метафизики. Из статьи проф. В. Зеньковского видно, что он и сам вовсе не стоит на позициях чистого феноменализма. Наоборот, он Тейара, и это одновременно с обвинением в мифологии, винит в том, что тот будто бы «утверждает, что дело науки касается изучения лишь одних 'феноменов', одного внешнего лика бытия». Проф. В. Зеньковский пишет: «...он (Тейар) имеет в виду лишь внешний лик природы — «феномены», «явления»... Он настаивает на том, что он изучает лишь «феномены», даже говорит о 'феноменологии или обобщённой физике'...»

Эти утверждения представляются мне очевидным недоразумением. В предисловии к своей книге «Человеческий Феномен» Тейар действительно говорит, что её предмет только феномен. Но он сейчас же прибавляет: «но весь феномен». Что значит эта оговорка, которую не учитывает проф. В. Зеньковский? Возьмём хотя бы эту главу, где Тейар говорит о феноменологии и «обобщённой физике». Касаясь нескончаемого спора между материалистами и спиритуалистами, детерминистами и финалистами, он пишет: «Я убеждён, что эти две точки зрения должны соединиться и что скоро они соединятся в своего рода феноменологии или обобщённой физике, в которой внутренняя сторона вещей будет так же приниматься во внимание, как и внешняя сторона мира. Мне кажется иначе невозможно охватить тотальность космического феномена в связном объяснении, к какому должна стремиться наука». И дальше: «В глазах физика (по крайней мере так было до сих пор) правомерно нет ничего кроме 'внешней стороны' вещей. Подобный интеллектуальный подход ещё допустим для бактериолога... Но он уже гораздо затруднительней в мире растений... Он просто бесполезен при изучении позвоночных. В применении же к человеку он терпит окончательную неудачу, так как в человеке существование 'внутренней сферы' невозможно обойти, она становится предметом непосредственной интуиции...»

Как мы видим, Тейар утверждает противоположное тому, что пишет о нем проф. В. Зеньковский. «Своего рода феноменология» Тейара это конечно не феноменология в обычном смысле. Она охватывает не только «внешний лик природы», но и «внутреннюю сферу». Когда Тейар говорит, что в своей первой книге он хочет ограничиться только описанием феномена, он имеет в виду «экспериментальные соотношения между сознанием и комплексной сложностью». Но и тут он оговаривает

за собой право говорить в дальнейшем о действии более глубоких сил. И он отказывается согласиться с пессимистическими утверждениями, что человеческий разум никогда не сможет вырваться из «магического круга чистого феномена». Он даже упрекает науку за то, что она ограничивается изучением только внешних детерминизмов и поэтому не способна дать целостный образ реальности, в которой вместе со внешней стороной существует всё развивающаяся внутренняя сфера сознания и свободы.

Я думаю, что из неправильного понимания «своего рода феноменализма» Тейара проф. В. Зеньковский делает и неправильный вывод, что стихия науки у Тейара внутренне не связана с его религиозными идеями. Ведь свое описание тотальной реальности Тейар хотел последовательно изложить в четырёх планах: физики, диалектики, метафизики и мистики. Профессор протестантского богословия Жорж Креспи в своей книге «Богословская мысль Тейара де Шардена» совершенно правильно, по моему, замечает, что если в первом из этих четырёх планов изложения Тейар придерживался подобающего учёному «теологического нейтралитета», то это вовсе не значит, что в своей исследовательской работе он отказывался от стремления теологически понять действительность. Его общий замысел присутствует при всех четырёх планах. Креспи пишет: «Даже если мы решили никогда не отступать от научной объективности, мы всё-таки по другому смотрим на исkopаемое, если мы предчувствуем, что в нём совершился процесс, последнее значение которого постигнуто только в мистике. Отсюда парадоксальность этого учения; оно полностью отвечает всем требованиям научной работы и в то же время непрестанно стремится к пониманию, превышающему возможности науки».

Другой богослов, проф. Католического Института в Париже Поль Бреннэ, на книгу которого и проф. В. Зеньковский ссылается в своей статье, пишет, что мысль Тейара нельзя понять, «если мы не будем всё время помнить о католическом символе веры, который вдохновлял его построения и был для них незамаскированными рамками». Сам Тейар говорил, что занятие наукой, с устранением философских и теологических вопросов — «психологически нежизненный подход».

Теперь, после того, как опубликованы письма Тейара, написанные им в 14-18 годах, когда он служил санитаром на фронте и в аду Вердена ему открылось его видение Бога и мира, больше не может быть сомнения, что хотя он не смешивал раз-

личные дисциплины, его научная работа вдохновлялась его религиозной верой. Любопытно, что это понял философ-коммунист Гароди. Он пишет: «...неправильно думать, что Тейар удовлетворился тем, что прибавил к диалектике природы своего рода продолжение, чтобы экстраполировать движение и вывести из него христианского Бога. На самом деле он открывает Бога не в конце только, а видит Его в самом источнике всякого движения: мир движется призывом сверху» (Гароди, конечно, оговаривается, что эта «концепция мистической трансцендентальности» чужда марксизму).

В своей статье проф. В. Зеньковский делает ещё несколько замечаний, которые, как мне кажется, могут дать неверное представление об идеях Тейара. Проф. В. Зеньковский пишет: «...в одном месте наш смелый, но неосторожный автор с за-видной легкостью говорит: ‘в мире ведь часто бывает, что действует счастливая случайность’. Слово найдено: жизнь в своём возникновении сводится к ‘счастливой случайности’».

Это заключение проф. В. Зеньковского представляется мне неверным. Ведь Тейар неустанно утверждает прямо противоположное, а именно, что жизнь возникает не в результате случайности (*accident fortuit*), а является постоянным и универсальным феноменом, связанным с процессом космической эволюции. «Жизнь рождается во вселенной повсюду, где она становится возможной». Тейар даже считал, что жизнь научно необъяснима, если не признать, что она существует «под давлением» с самого начала и повсюду. Во всех своих книгах он всё снова и снова возвращается к мысли, что скольжение «прогрессивной части вселенной» к всё большему расцвету жизни, сознания и свободы — это такое же универсальное и необратимое движение, как и энтропия, но движение «восходящее» и энтропии прямо противоположное.

И ещё одно замечание проф. В. Зеньковского, которое, думается, может ввести в заблуждение читателя. Проф. В. Зеньковский пишет: «Он (Тейар) признаёт, что таинственное превращение мегамолекул в клетки продолжается и ныне». На самом же деле Тейар говорит следующее: «Априори легко можно вообразить, что вокруг нас за пределами различимого в микроскоп всё ещё незаметно продолжается таинственное превращение мегамолекул в клетки, начавшееся миллионы лет тому назад». Но вслед за этим Тейар объясняет почему он пришёл к убеждению, что на самом деле это не так. То, что при этом он взвешивает все доводы за и против «спазматического» за-

рождения жизни на земле, только свидетельствует, как мне кажется, о научной добросовестности.

В заключение своей статьи проф. В. Зеньковский говорит: «Я не буду здесь входить в обсуждение богословских взглядов Тейара, укажу лишь, что у него действие Бога в мире оказывается, по существу единственным двигателем в мире... Такая богословская позиция во всяком случае не отвечает христианству, которое признаёт, что в акте творения земля, как и всё видимое бытие, получает известную самостоятельность и активность». До сих пор большинство богословских критиков Тейара обвиняли его прямо в противоположном. Утверждая, что Бог не столько «делает» вещи, сколько «делает, чтобы они делались» (*«Dieu ‘fait’ moins les choses, qu’il ne ‘les fait ve faire’»*), Тейар будто бы преуменьшал свободное вмешательство божественного творчества.

Жаль, что проф. Зеньковский совсем не упоминает о тейаровом замысле моральной реформы, о его идее всечеловеческого объединения.

Язык Тейара не всегда точен. Как всякому подлинно оригинальному мыслителю ему приходилось для выражения своего видения мира переделывать слова, придавать им новое, необычное значение, или даже создавать новые слова. Так в 25 году он создал слово и понятие Ноосферы, принятое затем некоторыми другими учёными, в том числе и В. И. Вернадским, с которым Тейар часто в то время встречался в Париже. Введение новых или наново переделанных слов и понятий часто затрудняет чтение Тейара.

Свою статью проф. В. Зеньковский начинает с признания, что Тейар как первоклассный учёный и замечательный представитель натурфилософии заслужил свою мировую славу. Но, как мне кажется, некоторое предубеждение к идеям Тейара у автора оказалось сильнее. И всё-таки мы должны быть благодарны проф. В. Зеньковскому за эту статью, ибо она вызывает обсуждение идей Тейара.

B. Varshavskiy

КУПЕЧЕСКАЯ СЕМЬЯ ТИХОМИРНОВЫХ

Пятьдесят лет тому назад, 5 мая 1912 г., вышел в свет первый номер легальной большевистской «Правды». Этот юбилей можно отметить, как «половка неправды», потому что трудно себе представить более грандиозное нагромождение неправды, чем то, которое накопилось в «Правде» за пятьдесят лет с ее основания в 1912 году. Но меня интересует сейчас не история или характеристика «Правды» за эти полвека. Я хочу коснуться сейчас той неправды, той легенды, которая повторяется в советской литературе о возникновении первой «Правды». Сколько раз мы читали, что первая «Правда» была «создана питерскими рабочими», что она финансировалась денежными сборами среди рабочих и так далее. Можно обойтись без цитат, которых нетрудно набрать десятки. На самом деле история возникновения «Правды» была несколько не похожа на эту легенду. «Правда» была основана не на proletарские, а на купеческие деньги, почему я и хочу вспомнить о той казанской купеческой семье, которая была источником этих денег.

Я должен писать, не дожидаясь юбилейного 5 мая и не зная поэтому, насколько правдиво в рамках этого торжества будет рассказана история первой «Правды». Убежден, что правдивой она не будет. Если ошибусь, принесу свои извинения и выражу свое удовольствие по поводу того, что историческая правда стала проникать и в коммунистическую печать. В первые годы после революции эту правду еще можно было высказывать, и в литературе советского времени есть совершенно ясное подтверждение того, что я об основании «Правды» знаю и из других источников. В пореволюционном издании энциклопедического словаря Граната, во 2-ой части 41-го тома имеется биография Молотова, написанная его близким другом и правоверным коммунистом Аросевым. Молотов был первым секретарем редакции первой «Правды», и в

биографии его было естественно рассказать и о возникновении «Правды», что Аросев и сделал, не всё договаривая, но в общем правдиво. Чтобы понять соответствующее место в аросевской биографии Молотова, нужно напомнить некоторые факты из юношеских лет Молотова. В 1906 г., будучи учеником Казанского реального училища, Молотов вступил в революционную организацию средних и высших школ. По словам Аросева, в то время в этой организации «едва ли не единственным настоящим, то есть уже самоопределившимся большевиком» был Виктор Тихомирнов, как и Молотов, ученик реального училища, но старше Молотова, кажется, на два класса. Под влиянием Тихомирнова «самоопределился» как большевик и Молотов. Затем они вместе несколько лет работали в казанской большевистской (нелегальной) организации, в 1909 г. оба были арестованы и отправлены в ссылку на два года и были освобождены в 1911 г. В биографии Молотова Аросев рассказывает:

«В 1911 г. Тихомирнов окончил срок ссылки и получил разрешение выехать заграницу. Там Тихомирнов видался с Лениным и, обладая соответственной материальной возможностью, вел с Владимиром Ильичем разговоры об издании в России легальной большевистской газеты. Эти разговоры привели к тому, что, по инициативе Владимира Ильича, Тихомирнов присоединил свои материальные средства, свою энергию, знания к почину легального органа большевиков. Разумеется, Тихомирнов прежде всего обратился к Молотову и другим его сотоварищам».

Такова подлинная история возникновения первой «Правды». В рассказе Аросева курьезное впечатление производят слова «по инициативе Владимира Ильича», явно вставленные для того, чтобы не выходило, что не только материальные средства, но и инициатива издания такой газеты шли не от Ленина, а от Тихомирнова. Между тем из предыдущего ясно, что не Ленин обратился к Тихомирнову, а Тихомирнов обратился к Ленину, приехав за этим заграницу. Но это не так уже важно, потому что желание поставить в России газету было у Ленина и раньше. Не было «материальной возможности», которую Тихомирнов и предоставил. Но что же это была за «соответственная материальная возможность», которой обладал Тихомирнов?

Я не имел никакого отношения к основанию «Правды» и вообще не имел тогда никакого соприкосновения с большеви-

виками. Историю возникновения «Правды» я узнал позже от человека, который был в свое время ближайшим другом и Молотова и Тихомирнова, но впоследствии самым решительным образом порвал с большевизмом. Но, не зная в свое время истории «Правды», я хорошо знал казанскую купеческую семью Тихомирновых, о которой мне и напомнило пятидесятилетие «Правды». О «Правде» могут рассказывать и писать очень многие, а о семье Тихомирновых, в своем роде чрезвычайно интересной, кроме меня мог бы рассказать, вероятно, только Молотов. Благодаря Виктору Тихомирнову, его семья входит, так сказать, в историю большевизма. «Разумеется, — как писал Аросев, — Тихомирнов прежде всего обратился к Молотову», который и стал первым секретарем «Правды». Верховное руководство газетой уже не по инициативе Тихомирнова, а по решению партийного руководства было поручено Сталину и, таким образом, впервые сошлись пути Сталина и Молотова. А это многое объясняет в дальнейшей истории большевизма. Да и сам Виктор Тихомирнов играл значительную роль в нелегальной большевистской организации во времена Первой мировой войны. В советский период он не успел занять особенно большого положения, он умер в 1919 г. будучи членом коллегии НКВД. Кроме Виктора, известную роль в большевистской партии играл его младший брат Герман Тихомирнов, который участвовал в гражданской войне (при Чапаеве), а в тридцатых годах был ученым секретарем Института Маркса-Энгельса-Ленина.

Когда я в 1908 г. познакомился с семьей Тихомирновых, она состояла из матери-вдовы и пятерых детей — четырех сыновей и одной дочери. Два старших сына, которых я знал лучше других, были женаты. Отца я уже не застал и почти ничего о нем не знаю. Не составил я себе достаточно ясного представления и о торговом деле, которое Тихомирнов оставил своей жене и детям. Насколько вспоминаю, это было торговое дело, имевшее несколько своих грузовых пароходов. О состоянии Тихомирновых сколько-нибудь точных сведений у меня не было. Позднее мне рассказывали, что дети получили от отца в наследство каждый по 300 тысяч рублей. По впечатлению от образа жизни детей это было вполне правдоподобно, и если это более или менее верно, то стало быть отец их был «миллионером», хоть и в «первых миллионах»; а детей надо «оценивать» в сотнях тысяч. После смерти отца дело вели вдова и старший сын, Сергей Александрович,

остальные дети никакого отношения к ведению дела не имели. Торговое дело Тихомирновых меня не интересовало, но семья Тихомирновых была мне очень интересна, — я познакомился с нею, став учителем жены старшего брата, решившей сдать экзамен на аттестат зрелости и поступить в университет. А было ей тогда уже не меньше 30 лет. Муж ее, Сергей Александрович, был единственным из детей, не проявлявшим никаких политических интересов. И не только потому, что вместе с матерью вел дело. В отличие от всех других членов семьи он был как бы несколько отшлифованным пережитком того купечества, которое изображал Островский. Не злой, но с изрядной долей хамства, способный в пьяной компании хвастаться тем, как он за сто рублей на голом теле кафешантанной певицы потушил папиросу. Я отнюдь не убежден, что это так и было, а не выдумывалось им, чтобы демонстрировать свою «широкую натуру».

Вдову Тихомирнову я встречал, когда ей было лет шестьдесят. Она тоже была из купеческой семьи, с весьма скромным образованием, но со здоровым природным умом, и по своим настроениям могла считаться «прогрессивной». Никаких признаков сопротивления радикальным тенденциям детей я в ней не замечал, и к их социалистическим знакомым она относилась вполне благосклонно. Впрочем, и старший сын поддерживал с этими знакомыми хорошие отношения. Он не был правым, просто был вне политики.

Все остальные дети, три сына и дочь, стали большевиками, хоть и не в равной мере активными. Не знаю, был ли второй сын, Николай Александрович, членом партии или только «сочувствующим» и несколько помогающим партийной (большевистской) организации. Его главным интересом была не политика, а театр. Он стал актером и, как я вспоминаю, ниже чем посредственным. Но благодаря своим деньгам, он все же мог играть в небольших провинциальных труппах даже главные роли — например, Треплева в чеховской «Чайке», и его театральный псевдоним был Треплев. В партийной работе принимала участие дочь Зинаида, но мое знакомство с ней было очень поверхностным. Следующим по возрасту был уже упомянутый мною Виктор Александрович. В то время я с ним почти не встречался. Он был арестован вскоре после того, как я познакомился с его семьей. Потом я встречался с ним уже в 1917 году и встречался как политический противник. Но я много слышал о нем от его друзей. Он, несомненно,

был искренне и фанатически убежденным большевиком того «второго» большевистского поколения, которое было беззаботно и без каких-либо сомнений предано Ленину. Еще будучи учеником реального училища, он проявил организационные способности, заняв руководящее положение в «революционной организации средних и высших школ», хотя и был моложе многих других. В начале он был, по свидетельству Аросева, «едва ли не единственным настоящим большевиком», но постепенно он очистил организацию от небольшевистских элементов (главным образом, повидимому, от социалистов-революционеров) и превратил то, что осталось, в большевистскую партийную группу. Не всякий увидит в этом проявление организационных способностей, но это была именно организационная активность большевистского типа.

Младший из сыновей, Герман Александрович, был в то время мальчиком, вероятно, 9-10 лет. Но с момента революции 1917 года он был активным большевиком. Таким образом, за исключением старшего брата, все это поколение купеческого рода Тихомирновых оказалось в рядах большевизма. И это не было таким уже исключительным явлением. Можно было бы привести много случаев, когда представители купеческих семей проявляли симпатии к революционным партиям — социал-демократам, главным образом большевикам, или социалистам-революционерам. На первый взгляд может показаться естественным такое объяснение этого явления, что как раньше было «кающееся дворянство», так затем появилось «кающееся купечество», и место «хождения в народ» заняло «хождение в рабочий класс». Но это только поверхностное сходство, сближающее явления не только не аналогичные, но по существу глубоко различные. У кающихся дворян было чувство вины привилегированного слоя по отношению к страдающему и угнетенному народу. У представителей купечества, отходивших от торговой деятельности их класса, аналогичного чувства вины не было. Если оно существовало, то лишь в очень редких, единичных случаях. Но я и этого не думаю. Конечно, это — глава социальной психологии, до сих пор не подвергшаяся достаточному изучению. И чем дальше, тем это изучение становится труднее. Я не претендую на то, чтобы писать эту главу. Все же существует значительное количество фактов, указывающих на характер процесса, проходившего тогда в части русского купечества. Не следует ли, например, вдуматься в такое явление, как меценатство, ши-

роко распространенное, в особенности, среди московского купечества (включая и промышленников)? О нем свидетельствует уже самое название Третьяковской Галлереи. У Щукина был домашний музей современной французской живописи — в то время самое богатое в мире собрание картин Матисса и Пикассо. К этому надо добавить еще, по крайней мере, собрания Морозова и Остроухова, который и сам был талантливым живописцем. В области театра такой пример, как семья Алексеевых, давшая Станиславского и с ним Московский Художественный театр. Одна из сестер Станиславского также была драматической артисткой. Другая была оперной певицей. Алексеевским фабричным делом занимался только брат Станиславского, Владимир Сергеевич, которого это очень тяготило, и время от времени он спасался в оперную режиссуру. Мне запомнились две строчки из сочиненного им шутливого стихотворения:

Увы! нет места для таланта
в душе иссохшей фабриканта.

Имена набегают одно за другим: Мамонтов, Зимин, Рябушинские, Маргарита Морозова. Укажу еще только на московско-казанских купцов Ушковых. Глава дела — Ушков-отец — был женат на пианистке. В его московском доме был музыкальный салон. Там сестра его жены познакомилась с Шаляпиным и вышла за него замуж. А одна из Ушковых стала женой Кусевицкого, получившего благодаря этому возможность создать собственный симфонический оркестр и основать музыкальное издательство. На основании таких особенно ярких примеров было бы рискованно делать широкие обобщения. Но среди людей купеческого происхождения и особенно среди тогдашнего младшего купеческого поколения можно было наблюдать немало — я готов сказать: сколько угодно — случаев утраты всякого интереса к торговой или промышленной деятельности и полной отчужденности от своей классовой среды. Если можно говорить об отсутствии «классового сознания», то не в том смысле, что оно еще не развились, а в том, что оно уже было отброшено. Но если эти люди купеческого происхождения не чувствовали себя купцами, то кем же они себя чувствовали?

Приглядимся еще раз к семье Тихомирновых. Она все же была исключительным явлением — тем, что почти целиком стала большевистской. Но, как я уже сказал, второй по воз-

расту брат, Николай Александрович, не стал партийным работником, как его сестра и младшие братья, а оставался «сочувствующим». Его честолюбием было стать видным артистом. Он хотел играть неврастеников и сам был неврастеником. Но совсем не потому, что он болезненно переживал внутреннюю раздвоенность из-за своего отрыва от купеческой среды. Его надрыв был результатом тщетных усилий занять в театре то место, которого он, по его собственному мнению, заслуживал. В этом отношении он, как актер, а не как «купец», был одним из очень многих. Не зная его происхождения, никто не подумал бы, что это купеческий сын, получивший от своего отца наследство в несколько сот тысяч рублей. Его бы считали интеллигентом. В то время, вероятно, сказали бы: ну, это типичный чеховский интеллигент.

Моя ученица, Екатерина Михайловна, хотела поступить в университет. Зачем ей это было нужно? Она, несомненно, тяготилась жизнью с таким человеком, каким был ее муж, и считала это замужество жестокой ошибкой. Меня нисколько не удивило, что она позднее с ним разошлась. Но университет ей был нужен не для этого. Сама из купеческой семьи, она была достаточно состоятельной, чтобы жить, не нуждаясь в заработке. Но она хотела учиться. Может-быть, ее желание поступить в университет было даже только предлогом, чтобы брать уроки. В университете или без университета, она хотела стать вполне образованным человеком, равноправным членом не купеческой среды, а более культурного, по обычной терминологии, «интеллигентского» общества, к которому она, очень способная и с живым умом, явно тяготела. Я помню, что занятия с ней меня самого увлекали, но никак не могу вспомнить, что же вышло из ее намерения поступить в университет.

Виктор Тихомирнов был с юных лет очень активным партийным работником. Был ярым большевиком, членом социал-демократической рабочей партии. Это можно считать «хождением в рабочий класс». Но это не было уходом из купцов в пролетарию, так как у него не было ни малейшей ассоциации с рабочей средой. Он также был в своем роде «типичным интеллигентом». Я говорю: в своем роде, так как он представлял собой особый и очень определенный тип интеллигента, а именно интеллигента большевистского, как этот тип сложился после революции 1905 года, с мыслью, скованной идеологическим догматизмом и некритическим подчинением авторитетам, каким был для большевиков Ленин. От купече-

ского происхождения у него оставалась только его доля в отцовском наследстве, которая и дала ему «соответственную материальную возможность», чтобы финансировать основание «Правды».

У актера Николая Тихомирнова, у стремящейся к знанию жены старшего брата и у ярого большевика Виктора мы находим три формы фактического и психологического выхода из купечества, трансформации «купцов» в «интеллигенты». Это были частные случаи происходившего в России процесса, выражавшегося в том, что наряду с интеллигенцией дворянской и разночинской формировалась и интеллигенция купеческая. В этом отношении семья Тихомирновых, исключением не была. Я лично встречал, кроме Тихомирновых, несколько таких «интеллигентов из купцов». И нельзя, конечно, не считать интеллигентской такую семью, как семья Алексеевых со Станиславским, его братом и сестрами (если не выделять фабрикантов в особую социальную категорию).

Это не значит, что в состав интеллигенции можно зачислять всех купеческих детей, потерявших интерес к отцовскому делу. Среди них были и такие, которые вообще ничем, кроме приятного времяпрепровождения, не интересовались. А с другой стороны, характерными интеллигентскими чертами отличались и некоторые из тех, которые продолжали, хотя бы и неохотно, заниматься семейным торговым или промышленным делом. О том, что такое интеллигенция, общего согласия нет. Нет общепринятого определения. Но во всяком случае обязательным при всех определениях признаком является наличие умственных, духовных или артистических интересов. У старшего из братьев Тихомирновых таких интересов не было, но они были у всех остальных членов этой семьи — в какой-то мере включая и мать. И как далеко это было от того купечества, с которым знакомили нас пьесы Островского. «Темное царство» было уже далеко не таким темным. Культурную эволюцию купечества, как и многие другие значительные социальные процессы, оборвала Октябрьская революция, остановившая к тому же не только самий процесс, но и его изучение. Русское купечество в его развитии и с существовавшими в нем различными тенденциями еще ждет своего историка, и не знаю, дождется ли. Вспоминая по поводу юбилея «Правды» о купеческой семье Тихомирновых, я думал, что такие воспоминания могут быть хотя бы вспомогательным материалом для исторического изучения.

Ю. Денике

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИЯХ В СССР

Тысячи причин довели сельское хозяйство СССР до его теперешнего состояния. Но все они сводятся к единственной основной: к тому, что, чем дальше, тем порочнее становится общая постановка земледелия и животноводства в советской деревне; колхозам и совхозам с каждым годом всё труднее выполнять возлагаемые на них задания, не нарушая элементарных правил здорового хозяйствования. Ибо вся агрокультурная политика послесталинских лет устремлена не вперед, как это принято думать, а далеко назад, и внедряет в жизнь не новое, только что установленное «современной наукой и передовым опытом», а старое, давно отброшенное в культурных странах. Если этого обычно не замечают, то главным образом потому, что одни не хотят, а другие не могут разобраться в действительном положении на сельскохозяйственном фронте, платя дань оптимистическим революционным предрасудкам или поддаваясь иллюзиям, создаваемым пропагандой.

Порочность общей постановки советского сельского хозяйства заключается, прежде всего, в захватном, хищническом характере преследуемых им всегда целей. Заботы власти более или менее целиком сводятся сейчас к тому, чтобы деревня не оставляла неиспользованным ни одного куска земли, и, ведя хозяйство, ни о чем другом не думала, кроме немедленного извлечения максимального количества продукции из обрабатываемой площади. Что надо охранять землю от истощения и как-то укреплять ее производительные силы, остается за пределами внимания власти (фактически, конеч-

но, а не на словах). Больше того: власть склонна считать это ненужным для достижения своих очередных хозяйствственно-политических целей, если не просто вредным. И вот, если до хрущевских реформ в деревне сохранялись еще в этом отношении кое-какие старые культурные навыки, то теперь они один за другим исчезают. Всё, чем предписывается сейчас деревне руководиться в работе, сводится — в идеальном пределе — к выполнению максими: «чего бы это ни стоило, извлекай из земли в этот момент всё, что только из нее можно извлечь с помощью современной техники, не оглядываясь назад и не думая о будущем.»

Насколько точно выражает эта максима основную суть заданий Кремля в области агркультуры, видно из отношения партийных верхов к общеизвестной системе мероприятий по освоению целинных и залежных земель.

Хрущев, несомненно, выразил не только свое личное мнение, когда заявил в ноябре прошлого года в Целинограде: «Когда посмотришь, что сделано на целине, проникаешься гордостью за нашу ленинскую партию, за наш исторический народ... Освоение целинных земель — великий трудовой подвиг советского народа; он будет жить в веках» («Правда», 25 ноября 1961 г.). Возможность легкого извлечения выгоды из заброшенной и как будто ни на что негодной земли принята партией, как откровение, и широчайшее использование этой возможности является сейчас осью советской агркультурной политики. За время с 1954 года по 1960 в Союзе освоено свыше 41 миллиона гектаров, и хотя больше осваивать как будто уже нечего (в последние два года в Казахстане кое-где распахивают даже «широкие дороги»), партия до сих пор не прекращает поисков свежих земель и вовлечения их в оборот. Ищет она их и находит не на одних только пустынных окраинах Союза, где захватное земледелие более или менее отвечает местным условиям, но и в областях старой сельскохозяйственной культуры, заставляя деревню вести борьбу со всякого рода пустопорожними и «малодоходными» (например, отводимыми под посевные травы) участками. Партия ведет всё это дело с неимоверным упорством и напряжением, не жалея средств и людей. То, что голый захват почвенных богатств нельзя безнаказанно практиковать на одной и той же территории сколько-нибудь долго, не смущает партию, при практической необъятности, как ей кажется, неосвоенных еще пахото-способных земель в Союзе и, значит,

возможности с места на место передвигать основной массив захватного земледелия по мере надобности. Освоенная к настоящему времени земля начинает уже обнаруживать признаки истощения, так что, например, в Казахстане к 1960 году пришлось выбросить из оборота свыше 1760 тысяч гектаров запаханной площади. И вот, как откликается на это Хрущев на январском пленуме 1961 года: «В ближайшие годы намечается дополнительно освоить в СССР до 8 миллионов гектаров целинных земель» («Экономика сельского хозяйства», 1961, стр. 7). При этом вот с чем он связывает выход из затруднений, переживаемых сельским хозяйством: «Благодаря ирrigации, будут введены в действие миллионы гектаров земель в Средней Азии, на юге Российской Федерации, на Украине и в других республиках и областях... Конечно, мы не отказываемся и от работ по мелиорации... на некоторых землях, где требуются не особенно большие вложения... Таких земель много в Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии, Российской Федерации, на Украине и в других республиках и областях... Большие возможности для увеличения производства продуктов сельского хозяйства, особенно риса, имеются на Дальнем Востоке» («Правда», 21 янв. 1961).

Еще более показательно отношение партийных верхов к земледелию нормального типа, покоящемуся на стремлении не только что-то брать от земли, но и возмещать земле взятое. Власть совершенно равнодушна к его судьбе. До такой степени, что спокойно наблюдает, как к рациональным элементам хозяйствования всё чаще и всё больше, в результате 30-летнего социалистического попечения, примешиваются элементы безрассудно-хищнического хозяйства.

Присмотримся хотя бы только к тому, как решается сейчас в СССР давно наболевший и поистине жуткий вопрос о введении в деревне «научно-обоснованных систем» хозяйствования и, в частности, рациональных севооборотов. Власть пальцем о палец не ударяет, чтобы устранить или хотя бы официально осудить повсеместный сейчас обычай — годами высевать на обрабатываемой площади одну и ту же культуру и бороться с другими фактами хищнического использования почвенных богатств. Наоборот, власть вынуждает деревню к систематическому нарушению правил здорового севооборота и поощряет в этом смысле хозяйственную распущенность. Ибо ведь ни одного из хозяйственных новшеств, декретируемых властью, чуть ли не ежегодно (главные из них: укрупнение

колхозов, повсеместное внедрение кукурузы, устранение из оборота чистых паров и посевных трав) нельзя осуществить иначе, как сломав сложившийся порядок смены возделываемых культур. А раз проведя то или иное новшество и соответственно изменив севооборот, нельзя на этом остановиться: за первым новшеством приходит второе, за вторым третье, и каждое отражается на севообороте по-своему; а кроме того, внедрение в жизнь каждого отдельного новшества производится в массе случаев не один, а несколько раз подряд: сначала как бы начерно, потом в «исправленном» виде; и каждый раз меняется севооборот.

Но мало этого. В последние годы власть отвергает самую необходимость соблюдать смену культур, и всякое усилие в этом направлении рассматривает, как тупой педантизм. Исключительно большое показательное значение имеет в этой связи заявление, сделанное В. Мацкевичем в июне 1960 года, в бытность его министром сельского хозяйства СССР, на все-союзном совещании специалистов сельского хозяйства. В. Мацкевич сказал: «Многие агрономы и научные работники, обосновывая преимущества того или другого севооборота, часто исходят лишь из агрономических соображений, которые не исчерпывают существа дела... Только тот севооборот может быть приемлем, который обеспечивает успешное выполнение задания (государства) на производство товарной продукции... Далеко не везде и не всегда целесообразна ежегодная смена культур на данном поле севооборота. Часто бывает так, что выгоднее и целесообразнее возделывать на данном поле одну культуру в течение ряда лет. По мере увеличения ресурсов удобрений, ядохимикатов и гибридов, роста технической оснащенности сельского хозяйства будет открываться всё больше возможностей для хозяйственного маневрирования в чередовании культур» («Экономика сельского хозяйства», 1960, № 8, стр. 9). В этих словах перед нами не только оправдание и своего рода узаконение систематического нарушения агротехнических правил в предполагаемых интересах государства, но и прямой призыв и в дальнейшем продолжать действовать так же.

Но порочны не одни только цели агрокультурной политики в СССР, но и методы проведения последней. Среди пестрой массы больших и малых перемен, спешно вносимых сейчас

в сельское хозяйство, трудно назвать хотя бы одну, которая не шла бы в той или иной мере против требований хозяйственной рациональности. Все они ведут либо к сужению и недовыполнению производственного плана, либо к непомерному, без нужды, расточению почвенных богатств. Все — в той или иной мере, отнимают у деревни возможность и желание выполнять возлагаемые на нее задания сколько-нибудь добросовестно. И содействуют проникновению в сельское хозяйство разлагающих сил, пораждаемых хищническим характером его целей, и подрывают сами по себе его жизнеспособность.

И этому не приходится удивляться.

В основе всех проводимых сейчас в СССР реформ лежит резко выраженный авантюризм. К чему бы ни прибегала власть для обеспечения деревне возможности, хотя бы только в течение ближайших лет, дать стране нужное количество продуктов, в каждом ее начинании и на каждом этапе этого начинания бросается в глаза азартность, ставка на авось, расчет на счастливую случайность.

В поисках скорейшего выхода из продовольственных и сырьевых затруднений власть всё время останавливает свой выбор на неиспробованных и непроверенных путях. Хуже того: на путях решительно осуждаемых специалистами; на путях, которые являются прямым вызовом общепринятым теоретическим взглядам и практическому опыту. Такой, и только такой смысл имеют ее последовательные ставки на освоение целины, на повсеместное внедрение кукурузы, на чуть ли не полное уничтожение чистых паров, на исключение из севооборота посевных трав, на отведение посевной площади под одни только высоко-доходные культуры, на безостановочное укрупнение и разукрупнение колхозов и т. д. Что же касается фактического использования каждого выбиравшего пути, то здесь всегда оказывается одно и то же.

Власть никогда не выясняет, как следует, и не намечает вперед, сколько-нибудь точно, состава основных технико-организационных мероприятий, необходимых для проведения той или другой реформы. В ее планах всегда оказываются проблемы, и часто первостепенной важности. Например, в плане освоения целины до сих пор остается без ответа вопрос об обеспечении освоемой земли рабочей силой; в кукурузном плане вопрос о том, как создать фактическую, а не бумажную только возможность разумного использования зеленой

массы кукурузы на корм скоту. Партийная власть никогда не приступает к делу, заранее заготовив достаточное количество требующихся средств производства и создав соответствующую организационную опору; острая перемежающаяся нужда то в одном, то в другом иногда первостепенно важном для дела, является постоянным спутником советского сельскохозяйственного, как и всякого другого, реформаторства; на целине она принимает подчас прямо трагическую форму. Власть никогда не начинает с проведения скромных опытов в целях проверки расчетов, полагаемых в его основу. Реформа обычно сразу охватывает огромную территорию и часто по одному шаблону проводится в районах, совсем не одинаковых по природным и хозяйственным условиям.

Проводя реформу, не считаются с тем, что полезное действие, приносимое одной части хозяйства, не шло в ущерб другим. Этим просчетом грешит кукурузная политика предписывающая обеспечивать «королеве полей» и лучшие земли, и сроки работ, и обильное удобрение, и первоклассные машины, и отборные силы, и максимально щадительный уход, между тем как все остальные культуры обрекаются на прозябанье.

Не задумываются над тем, какое влияние может оказать проводимое новшество на области, им непосредственно не охватываемые, но не могущие не отозваться на него, при неразрывной взаимной связанности отдельных сторон народного хозяйства. Особенно поражает это в целинной политике, где, в погоне за богатой добычей на диких окраинах, грубейшим образом нарушаются первостепенные жизненные интересы старопахотного земледелия, до сих пор остающегося основой всего русского сельского хозяйства (См. мою статью: «Издергки освоения целинных и залежных земель». «Вестник Института по изучению СССР», 1955, № 4);

Часто власть не сознает того, что ошибки и промахи вызываемые авантюристическим проведением тех или иных мероприятий, нельзя исправлять, не отказываясь целиком от всякого авантюризма. Грехи целинной кампании пытаются покрывать внедрением кукурузы; неприятности с кукурузой заглаживать объявлением войны травам и чистым парам и т. д.

Словом, нет буквально ни одной отрасли, в которой в СССР не делалась бы ставка на авось.

Авантюризм с такой силой пропитывает собой послесталинское агрокультурное реформаторство, что дает себя

знать на каждом шагу не только в живой реформаторской практике, но и в теории реформирования. Ставка на счастливую (и совершенно невероятную) случайность является осью, вокруг которой движется содержание всех и каждого из внушительных на вид, переполненных цифрами агрокультурных планов и расчетов. Это содержание всегда сводится к тому, что все средства достижения желательной цели (земля, орудия, семена и т. п.) оказываются налицо, в неограниченном количестве и первоклассного качества; что они сочетаются одно с другим идеальным образом и проводятся в идеальной организационной обстановке; что сроки и темпы работ оказываются оптимальными, и т. д. без конца. И это совсем не в порядке построения утопий, а в целях установления конкретных практических мер, которые надлежит власти принять немедленно, если она хочет добиться желательного объема производства и с избытком получить от «тружеников земледелия», все, что с них можно взять.

К чему в советской деревне приводит это сочетание хищничества с авантюризмом, сейчас более или менее общезвестно.

Основой всего агрокультурного творчества является ставка на какое-то неслыханное средство-талисман, способное в кратчайший срок круто поднять производительность сельского хозяйства и вывести страну из продовольственных и сырьевых затруднений. Ищут такое средство (формально — с помощью ученых, которым однако не верят, и к мнению которых редко прислушиваются) во всех мыслимых направлениях и с неистовым усердием. При первом же появлении хотя бы смутной надежды на то или иное еще не испробованное средство, немедленно бросаются пускать его в ход, ни перед чем не останавливаясь. Как только надежда обманывает, — а это является общим правилом в послесталинских агрокультурных нововведениях, — спешно делается налет на другую область, не в отмену обычно, а в добавление к только что сделанному, а отсюда на третью, и т. д. без конца. Сверху донизу все приходит в деревне в движение, сумбурное и все более ускоряющееся.

Я хотел бы только особо подчеркнуть три вещи, как самые главные.

1. Ломка старых порядков не является их совершенным уничтожением в области, постигаемой той или иной реформой. В какой-то части они продолжают существовать, сохраняя, а может быть даже еще разе выявляя на новом организационном фоне, свои порочные свойства. В то же время первое, что обычно обнаруживается при введении нового порядка, это непродуманность и непрактичность плана, лежащего в его основе, и необходимость немедленно же, находу в чем-то исправлять его. Роковым оказывается и то, что новый порядок всегда наспех вводится без сколько-нибудь достаточной технической и организационной подготовки; с обязательным хватанием через край, так как всегда требуется перевыполнить планы, и местные руководители хозяйства всегда стараются выс служиться перед начальством. Поэтому каждая новая реформа, в конечном счете не устраивает, а усиливает и осложняет хозяйственные затруднения, ибо к накопившимся уже затруднениям присоединяются новые.

2. Кидание от реформы к реформе, чем дальше, тем больше превращается в хаотическую бестолочь, не дающую спокойно работать. Обязательным спутником каждого начинаемого дела все в большей мере становится, кроме того, пропагандный гам, — дурманящих коммунистических заклинаний. Это не только не дает, как следует, всмотреться в обстановку и приспособиться к создаваемым условиям; не только не позволяет производить перестройку дела в достаточной мере обдуманно; не только ведет к огромным перерасходам и другим потерям, которых, при спокойной обстановке, легко было бы избежать. Что самое главное, это убийственно действует на психологию строителей. У административных и технических проводников реформ волей-неволей создается несерьезное отношение к делу; они начинают подходить к нему, как к чему-то вроде игры или обряда. В то же время, чем дальше, тем чаще и острее они начинают чувствовать, что добром такое строительство не может кончиться. Все чаще встречаются случаи, когда люди машут на всё рукой и действуют, как автоматы, ничем по существу не интересуясь в деле и с полным равнодушием к его судьбе.

3. Конкретные условия, в которых приходится сейчас работать в деревне, характеризуются в основном следующим. Возлагаемые на колхозы и совхозы задания делаются с каждым годом все более тяжелыми, и требуют для своего выполнения все большего количества труда и систематического

повышения его качества. Что особенно важно, в них каждый год включается что-то новое, непривычное. При остром недостатке рабочей силы основным залогом успеха всё в большей мере становится разумное распределение труда... И в то же время, если хаос и беспорядок проявляются где-нибудь в СССР с особой силой, то именно в пределах каждого отдельного колхоза и совхоза (кроме, конечно, показательных).* Сколько-нибудь определенного и агротехнически рационального порядка выполнения работ не только не соблюдается, но просто запрещается соблюдать («очередность» полевых кампаний считается одним из важнейших дисциплинарных преступлений, если она мешает производить работу, предписанную районным начальством в интересах скорейшего выполнения хлебосдачи и т. п.) Слепо бросаются от одной

* Вот характерная картина работы в колхозе из очерка В. Величко «Победа и надежды» («Октябрь», № 1, 1959 г. стр. 194-195): «...И вот в такую мирную и размеренную пору случился в колхозе сполох. Пронеслась по деревням, по бригадам легковая машина, пролетела и скрылась. А все поднялись, зашевелились, заметались. В разных местах слышались команды: «Всех! На поле! Срочно, разом!»

Что такое приключилось?.. Летят обрывчатые приказания вдогонку. «100 гектаров!.. И чтобы к вечеру было закончено! Доложить в райком и исполнком!»... Слышно, как Мормуль, комплексный бригадир, подбадривает, по-своему обычаю: — «Не то к прокурору!...»... Спешно мчатся грузовики на молочные фермы за доярками. И вот уже курится пыль на дороге, грузовики везут людей к месту, сворачивают по межнику к парам.

«Приступаем!», командует агроном. И начинается ручная посадка кукурузы, первобытная посадка каждого растения в отдельности. Зачем? Почему? Никто ничего не знает. Время посевов давно ушло, пора начинать первую культивацию кукурузы, какой же будет толк от этой новой посадки? Да и можно ли заниматься это поле сильной кукурузой, когда нынче же осеню на нем должна быть посажена рожь? Но команда дана, надо ее выполнять.

Через час приходит уточнение: нельзя занимать пары, предназначенные под рожь. Что же делать? Работа останавливается. Но вот следует поправка: занимать под кукурузу именно эти пары.

После посадки на семи гектарах работа неожиданно прекращается. Люди в полной растерянности, грузовики везут доярок обратно, на фермы...

...И снова все мирно и размеренно в колхозе.»

работы к другой, часто не докончив начатого и не доведя до конца начинаемого. В сутолоке и искусственно взвинчиваемом волнении работают плохо, особенно, когда приходится «осваивать» только что вводимые операции. Работают безответственно, поскольку предписывается нарушать то одно, то другое агротехническое правило. К плохой работе присоединяется плохая механизация дела и непрестанные перебои в доставлении всего необходимого для производства. А также грубое и часто нелепое администрирование районных властей.

Где же из всего этого выход?

Д. Иванцов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

В последнее время наш журнал потерял двух ценных сотрудников: С. Л. Бертенсона и С. А. Васильева. Ниже мы печатаем два некролога. РЕД.

С. Л. БЕРТЕНСОН

Еще одна большая утрата. 14 марта в Холливуде скончался Сергей Львович Бертенсон. Всем любящим русское искусство, особенно театральное, это имя говорит много.

Сергей Львович, посвятивший всю свою жизнь искусству, был не только знатоком театра, он был живой энциклопедией блестящего театрального прошлого. С. Л. родился в 1885 году в Финляндии и уже с детских лет был окружен атмосферой насыщенной любовью к искусству (мать его О. А. Скальковская была известной артисткой Мариинского театра, а дядя К. А. Скальковский выдающийся балетный критик). По окончании историко-филологического факультета С. Петербургского университета, С. Л. поступил на службу в министерство императорского двора, в отдел, ведавший материальным и хозяйственным наблюдением за императорскими театрами, дворцами и музеями. При Временном правительстве С. Л. заведовал постановочной частью Государственных Петербургских Театров, а затем с 1918 по 1928 г.г. служил в Московском Художественном Театре, где заведывал труппой и репертуаром и одновременно был заместителем директора музыкальной студии этого театра. В 1928 году он переселился в Холливуд и работал там в кинематографических студиях в качестве диалог-директора и технического консультанта.

Наряду со служебной работой С. Л. занимался литературной деятельностью. В России сотрудничал во многих крупных журналах, как автор статей по истории литературы и театра.

Перу его также принадлежат книги о Гоголе, Катенине и актере Сосницком, который был первым городничим в «Ревизоре» и Репетиловым в «Горе от ума» и провел на сцене Александринского театра шестьдесят лет, заслужив звание «Деда Русской Сцены». В Америке в сотрудничестве с Джей Лайда С. Л. выпустил на английском языке монографии о Мусоргском, и Рахманинове. Кроме того сотрудничал в американских журналах: «The Etude», «Music Quarterly», «Russian Review», «American East European and Slavic Quarterly». На русском языке он печатал свои статьи в «Новом Журнале», «Новом Русском Слове» и начиная с 1940 г. периодически печатал в газете «Русская Жизнь» воспоминания о театре, литературе, музыке. Очерки эти охватывали период с 1892 по 1925 г.г. и впоследствии в 1956 г. вышли отдельной книгой под заглавием «Вокруг искусства».

Сергей Львович прожил богатую впечатлениями и плодотворным трудом жизнь, постоянно находясь в тесном контакте с лучшими представителями искусства; со многими он был в постоянной переписке (многие письма пожертвованы С. Л. в Музей Русской культуры в Сан Франциско). С. Л. был незаменимым собеседником, его необычайная память точно удерживала мельчайшие подробности прошлого, и свою любовь к искусству он умел передавать слушателям. С его уходом из жизни русское искусство потеряло своего верного рыцаря, большого искусствоведа учившего любить и ценить наши великие культурные ценности. Мир праху его!

К. Аренский

С. А. ВАСИЛЬЕВ

Я знала С. А. Васильева почти сорок лет. Знала его сначала, как преданного мужа своей жены, прекрасной актрисы «Летучей Мыши» Тамары Дейкархановой. Но понадобилось немного времени, чтобы почувствовать и его собственную удивительную разносторонность. Сергей Александрович был на редкость образованный человек. Он прекрасно знал музыку, тонко чувствовал всякое искусство. Его знания русской и иностранной литературы были необыкновенно широки. Что же касается его профессии, то тут, казалось, не было конца его осведомленности. Я переводила многие его статьи о водной системе, по железнодорожному делу и т. д.

С. А. Васильев вырос в исключительно культурной, выдающейся семье старой России. Его дед был всемирно известный ученый, академик, языковед-китаист, профессор Казанского и Петербургского Университетов, основатель изучения Китая в России. Отец его был профессор Казанского Университета по кафедре математики, ученый ранга Эйнштейна, член Государственного Совета. Рано скончавшийся брат Сергея Александровича был тоже исключительно одаренный ученый-математик и поэт, близкий к Брюсову. Профессорский круг Казанского и Петербургского Университетов, это была та атмосфера, в которой рос С. А. Васильев.

Своей профессией С. А. избрал инженерное дело. Он окончил Институт Инженеров Путей сообщения в Петербурге. В молодости его интерес привлекли просторы Восточной Сибири, особенно район реки Лены. Здесь С. А. проделал большие изыскания. Я помню, с каким увлечением он рассказывал мне об этой своей сибирской жизни. Его доклад об исследовательской работе в Сибири был признан настолько важным, что был издан Академией Наук, и мне говорили, что даже теперь в Советской России, в кругах специалистов, этой работой С. А. еще пользуются.

После того как в России к власти пришли большевики, свергнув Временное Правительство, в котором С. А. занимал пост в министерстве путей сообщения, С. А. был вынужден покинуть Россию. Вместе с Тамарой Дейкархановой он недолго жил в Югославии, куда был приглашен для постройки мостов. Вскоре они переехали в Америку. И как только Васильевы обосновались здесь, оба они начали работу по своей специальности. Т. Дейкарханова играла и учила молодежь в своей студии драматического искусства. А С. А. работал в крупных американских предприятиях, таких как Гленн Мартин Эркрафт, Рипаблик Авиэшен и др. В то же самое время С. А. много писал. По-русски он печатался в «Новом Журнале» и в «Новом Русском Слове».

Когда С. А. вышел в отставку, он часто собирал группы учащейся молодежи и посещал с ней музеи, показывая, объясняя и заражая ее своей любовью к искусству и своими знаниями.

По-моему, немногие из вынужденных эмигрантов разных стран так легко и естественно вошли в американскую жизнь, как Васильевы. Блюда традиционные ценности старой русской

культуры С. А. сумел принять в себя и Новый Свет со всеми его несовершенствами и полюбить его. Своей работой в Америке С. А. Васильев как бы строил мост между культурой старой России и Новым Светом, где он пустил глубокие корни. И такие же глубокие корни дружбы он оставил в сердцах всех тех американцев, которые его знали.

Элизабет Рейнольдс Халгуд

БИБЛИОГРАФИЯ

THE PENGUIN BOOK OF RUSSIAN VERSE. *Introduced and edited by Dimitri Obolensky.* William Clowes & Sons Ltd. London. 1962.

Цель серии «Пингвин» — дать английскому читателю более-менее полное представление о поэзии главных европейских народов, по возможности, с древнейших времен до наших дней. В этой серии стихи печатаются в оригинале, т. е. на том языке, на котором они были написаны и к каждому стихотворению дается английский подстрочный перевод (в прозе). В серии «Пингвин» уже вышли книги испанской, французской, немецкой, итальянской поэзии. Теперь издана книга русской поэзии, со вступительной статьей и под редакцией Дмитрия Оболенского.

Эта, добросовестно и с любовью составленная, антология открывается образцами древне-русской поэзии — «Слово о полку Игореве», «Былины» и «Духовные стихи». Затем резкий переход к XVIII веку, к Ломоносову. Мне кажется, что составитель напрасно опустил «Повесть о горе-злосчастии», вирши Симеона Полоцкого, стихотворения Антиоха Кантемира и особенно Василия Тредьяковского. Ведь этим из антологии выпадает ряд звеньев единой цепи — переходный период от древне-русской поэзии к XVII веку и от XVII века к XVIII.

Поэзия XVIII века представлена в антологии хорошо, но вряд ли правильно — не включить стихотворений Хераскова, для своего времени поэта выдающегося. Что касается поэзии XIX столетия то она представлена полно наиболее популярными и наиболее совершенными стихотворениями лучших поэтов. Хотя, конечно, и этот раздел можно было бы дополнить стихами Озерова, Дмитриева, Карамзина, Рылеева, Дениса Давыдова, Ивана Никитина, Голенищева-Кутузова и др. Но дело тут наверное просто в размере книги.

Принцип отбора стихотворений этой антологии, в целом, надо признать удачным, но некоторые оговорки всё-таки хотелось бы сделать. Так, если уж Аполлона Григорьева представлять только одним стихотворением, то «Для себя мы не просим покоя», конечно же, глубже раскрывает поэта, чем помещенное в антологии запетое «О, говори хоть ты со мной».

Раздел русской поэзии, посвященный эпохе «серебряного века» в антологии — самый ценный. Но разделы, посвященные русской по-

революционной поэзии, несколько обеднены. Непонятно, почему в книге не нашлось места для Бориса Поплавского, Ирины Одоевцевой, Ивана Елагина, Николая Моршена, Игоря Чиннова? Неужели нельзя было поместить хотя бы по одному стихотворению каждого из этих поэтов? Говоря же о современной советской поэзии, непонятно почему составитель, удостаивая чести помещения в антологии стихов Маргариты Алигер и Александра Твардовского, отказал в этом гораздо более значительным поэтам, таким — как Леонид Мартынов, Андрей Вознесенский, Борис Слуцкий, Евгений Евтушенко.

Но не будем, однако, преувеличивать значение упущений и недостатков в этой, повторяю, в целом хорошо составленной антологией. Благодаря ей английский читатель, знающий русский язык, получит возможность совершить путешествие по русской поэзии и подняться на ее главные вершины. Надо быть признательным составителю антологии и за то, что Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Ахматова, Мандельштам, Пастернак представлены полно и хорошо, так что читатель получит верное представление о разных периодах их творчества.

Вступительная статья к антологии интересна. В целом — книга хорошая, полезная.

Вяч. Завалишин

TURGENEV IN ENGLISH. *A Checklist of Works by and about Him*. Complied by Rissa Yachnin and David H. Stam. With an Introductory Essay by Marc Slonim. New York. The New York Public Library, 1962.

Эта работа разделяется на две части. Первая содержит подробную библиографию произведений Тургенева, переведенных на английский язык: сюда входят и собрания сочинений, и отдельные издания. Второй отдел посвящен тем произведениям Тургенева, переведенным на английский язык, которые были напечатаны в периодических изданиях или же были включены в антологию. Этой работе предпослано содержательное вступление Марка Слонима.

Отмечая, что первый английский перевод «Записок охотника» появился в 1855 году, М. Слоним подробно останавливается на том, что в свое время было сделано Генри Джемсом для того, чтобы приблизить творчество Тургенева к английскому читателю. Кстати, именно Джемс назвал Тургенева в 1874 году «первым новеллистом наших дней». В своем вступлении М. Слоним дает сжатую, но интересную характеристику, как переводов Тургенева на английский язык, так и критической литературы о нем. М. Слоним подчеркивает, что в последнее время интерес английского читателя к творчеству Турге-

нева настолько возрос, что можно говорить как бы о «переоткрытии» его творчества. Он приводит интересные высказывания Вирджинии Вульф о том, что и в наше время произведения Тургенева сохранили свою эстетическую и психологическую ценность для английского читателя, а также дает исключительно высокую оценку исследования Эдмунда Вильсона (1958) о творчестве Тургенева в свете биографии писателя.

Тот, кто ознакомится с этим трудом о Тургеневе, не может не оценить большую, тщательную и кропотливую работу, проделанную его составителями Р. П. Яхниной и Д. Х. Стем. Здесь перед нами не только обстоятельный и точный указатель всех переводов произведений Тургенева на английский язык, но и того, что писали о Тургеневе по-английски в течение чуть ли не целого столетия. Такая работа необходима и ученым славистам, и изучающим русскую литературу студентам университетов Англии, Америки, Австралии, Канады. Она будет полезна и тем русским, которые интересуются вопросами международной связи литературы.

B. З-и

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемая редакция!

Не откажите в любезности напечатать в ближайшей книге «Нового Журнала» нижеследующее небольшое разъяснение:

В книге 67-ой «Нового Журнала» в отзыве Р. Б. Гуля о собрании сочинений Б. Л. Пастернака, три тома которого вышли под редакцией моей и Б. А. Филиппова, автор пишет: «Кстати надо отметить, что Пастернак знал об этом заграничном издании собрания его сочинений. Одобрял это. И даже читал корректурные гранки ‘значительного числа текстов’, как пишут редактора. Это использование редакторами его ‘собственноручных исправлений’, конечно, ценно». Покойный Б. Л. Пастернак действительно знал о предполагавшемся издании и как бы благословил его. Но то, что мы писали о чтении им корректурных гранок, относилось не к нашему изданию, а к тому не состоявшемуся в Москве изданию его избранных стихотворений, для которого им был написан «Автобиографический очерк». Эти корректурные листы, с некоторыми поправками и пометками Б. Л., находились в нашем распоряжении и были нами использованы. Наше же издание поступило в набор уже после смерти поэта, и он не только не видел гранок его, но и не знал окончательного его состава.

*С совершенным уважением
Глеб Струве*

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ
ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ
Поэма

Изд-во «Мост»

Цена 1 дол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
1943-1958
СТИХИ

Вступительная статья Романа Гуля

Издание «Нового Журнала»

Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати Л. Л. Домгер

Издание «Нового Журнала»

Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ
СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост»

Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ
АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост»

Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1—№ 9. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 центов пересылка), начиная с книги № 26 — 2 долл. 25 цент. (10 центов пересылка).

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1962 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня

